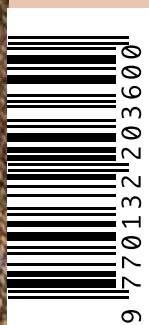
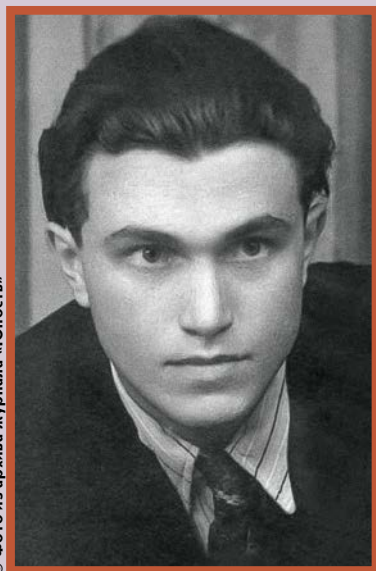




Владимир Толстой
Читайте на стр. 10



© Фото из архива журнала «Юность»



Наше всё
Василий АКСЕНОВ

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.



№ 3 (710) 2015

12+

МАРТ
ЮНОСТЬ · 2015

Василий Павлович Аксенов и «Юность» когда-то — очень давно — были одним целым. Его и звали здесь по-домашнему, почти любовно: кот Васька! Самые первые и самые свои лучшие рассказы, повести, романы Василий Павлович впервые опубликовал именно под обложкой, на которой чуть позже аксеновского дебюта будет красоваться знаменитая «девушка Красаускаса». А именно в 1958 году вышли рассказы «Факелы и дороги» и «Полторы врачебных единицы». Тут можно вспомнить и о «Звездном билете», но обратим внимание на другое.

В 1972 году совместно с О. Горчаковым и Г. Поженяном Аксенов написал роман-пародию на шпионский боевик «Джин Грин — неприкасаемый» под псевдонимом Гривадий Горпожакс. А в 1976-м перевел с английского замечательный роман Э. Л. Доктору «Рэгтайм». Кажется, что этой бесшабашности в языке Аксенов учился у Доктору!

Его миграция в сторону американской литературы неслучайна. И поэтому, а может, и вопреки этому, Аксенов, судя по его кошачьей повадке и увлечению джазом, всегда разный. Всегда неожиданный.

После оглушительного успеха в СССР он примеряет чесучовый пиджак диссидента и остается в Америке. И создает там, может быть, один из лучших своих эмигрантских романов «Остров Крым»: «Лучников поджал педаль газа, и его ярко-красный с торчащим хвостом спортивный зверь, рывкая турбиной, ринулся вперед, запетлял, меняя ряды, пока не выбрался из стада и не стал на огромной скорости уходить вверх по сверкающему на солнце горбу Восточного Фривея...

«Откуда все-таки взялось наше богатство?» — в тысячный раз спрашивал себя Лучников, глядя с фривея вниз на благодатную зеленую землю, где мелькали прямоугольные, треугольные, овальные, почковидные пятна плавательных «пулов» и где по выющимся местным дорогам медленно в больших «кадиллаках» ездил друг к другу в гости зажиточные яки. Аморально богатая страна...

Так кто же он — писатель, созданный «Юностью»: пророк в своем отечестве, бонвиван, либеральный конъюнктурщик? Невероятно, но факт, на форумах до сих пор идут бои с применением «тяжелых словес» и хакерских атак на противника по поводу того, какого периода Аксенов лучший, какого худший.

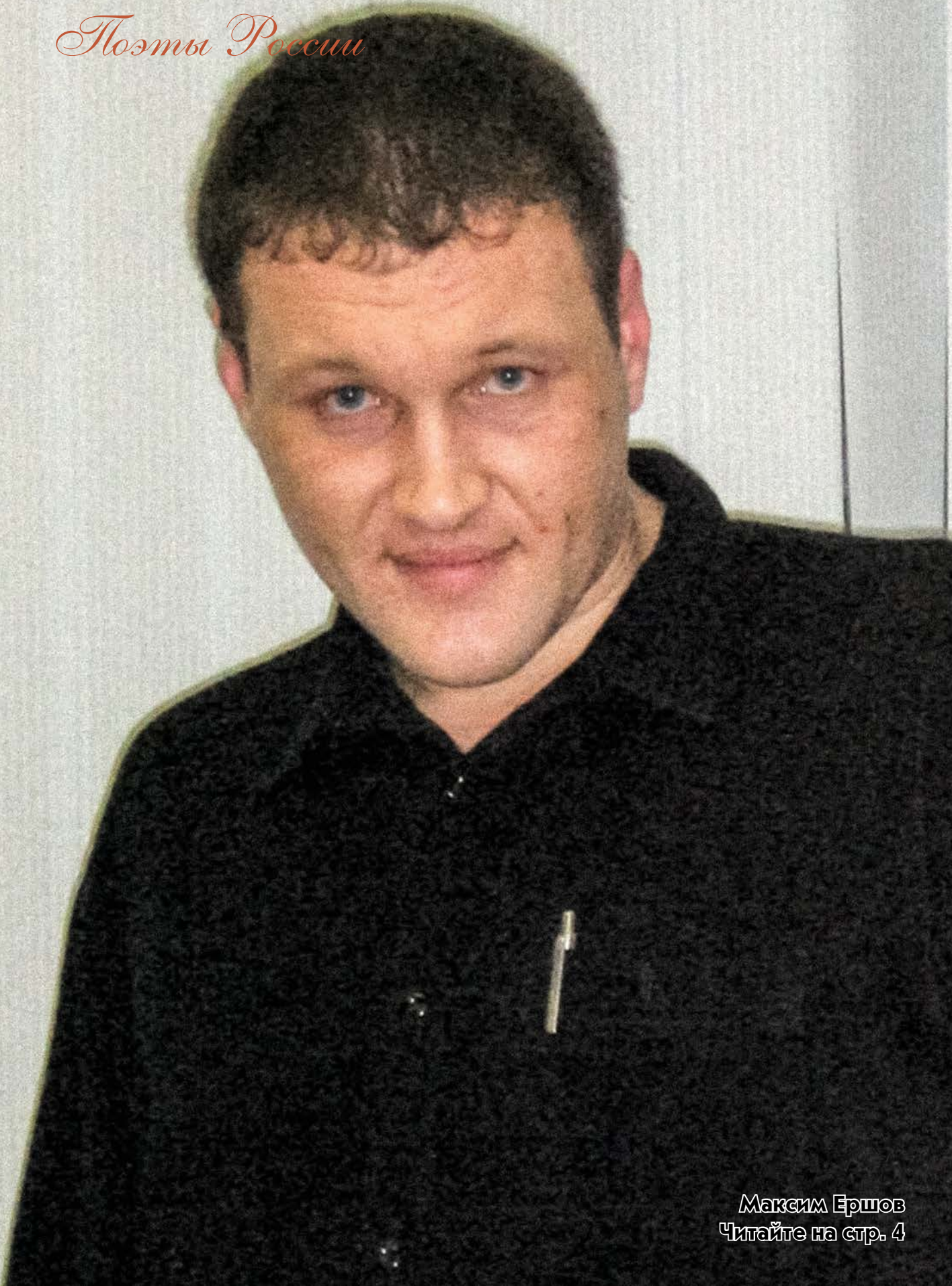
Не будем и мы выносить окончательный вердикт или, если хотите, ставить диагноз. Выбор за вами!

Но то, что Василий Павлович Аксенов — грандиозное событие в русской прозе, — бесспорно!

- Максим ЕРШОВ: «Ну и кто я тебе. Какой-то лох»
- Владимир ТОЛСТОЙ: «Фундаментальные литературные журналы — абсолютно уникальное явление»
- Как БРОДСКИЙ пытался экзаменовать Аннинского
- ЧЕХОВ обмолвился, что актер — это не профессия, это диагноз
- Финал романа Бориса ЕВСЕЕВА озадачивает
- Максим ГОРЬКИЙ — круглый сирота с одиннадцати лет
- Виктор ШИРОКОВ: «Умер Демис РУССОС. Хлад по коже»
- Трагедия исканий молодого человека в прозе Станислава АСЕЕВА
- Пресс-секретарь Всемирного клуба петербуржцев Тамара СКОБЛИКОВА-КУДРЯВЦЕВА рассказывает
- Слово «вкусняшка» вредно для мужчин
- На холмышу сидит жираф и парит яйца
- Французская любовь в прозе Хелью РЕБАНЕ
- И вновь американский прозаик Лоуэлл Ховард МОРРОУ (1870—1951) и продолжение его антиутопии «Омега, человек»
- В детективе — заговор
- В зеленом портфеле — домик для птиц
- Галка ГАЛКИНА: «Словом, прощельги эти, лингвисты с филолухами»
- Проказник ГЕО: «Запретили вдруг “Каштанку” за сплошной разгул и пьянку!»
- На стендах «Юности». Инна КАБЫШ: «Художника Пашу 183 назвали в честь Павла КОРЧАГИНА»

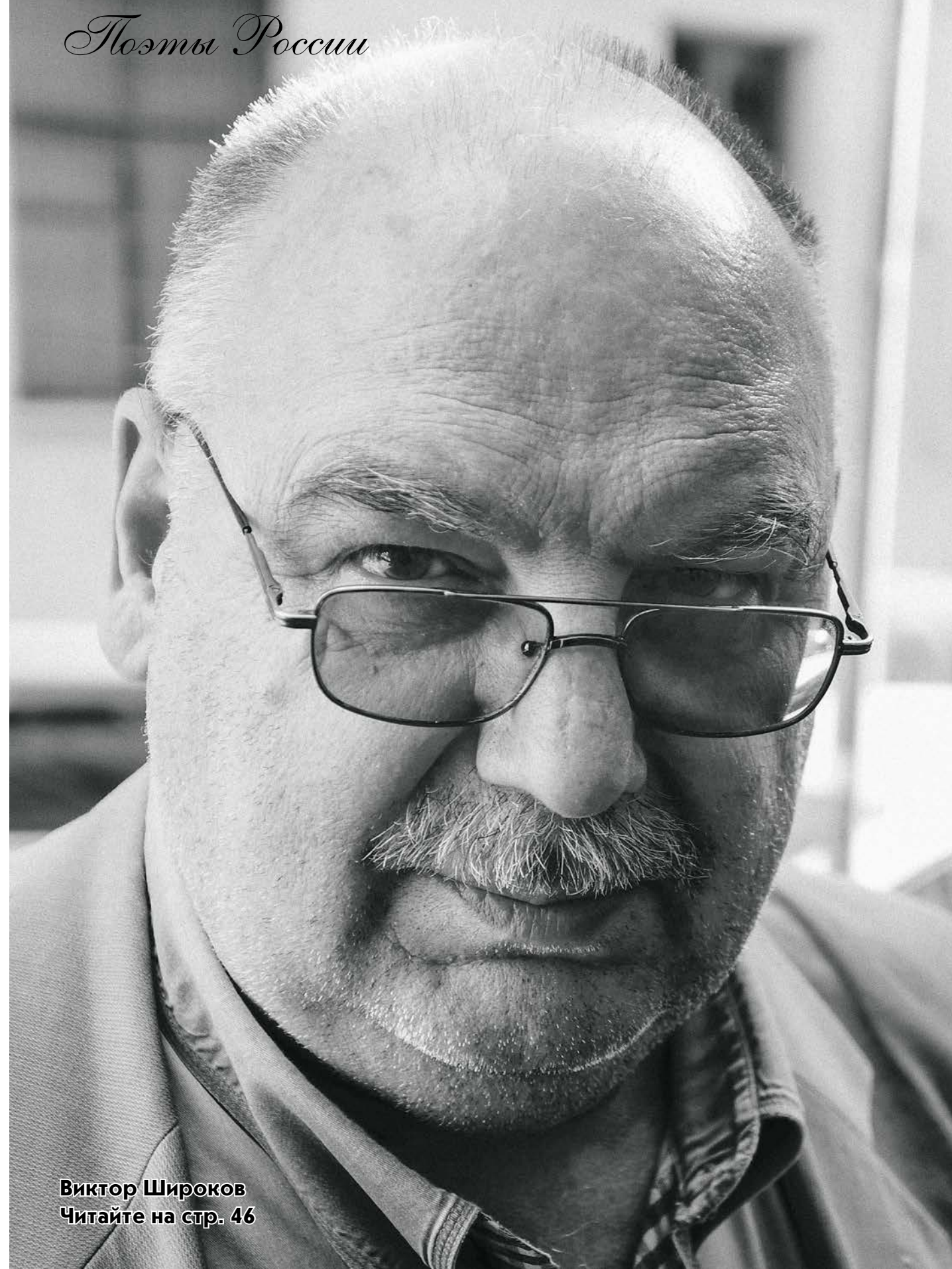


Поэты России



Максим Ершов
Читайте на стр. 4

Поэты России



Виктор Широков
Читайте на стр. 46

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Выходит с июня 1955 г.

№3 (710) 2015

«ЮНОСТЬ» © С. Краусаускас. 1962 г.



Главный редактор
Валерий ДУДАРЕВ

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: **unost-contact@mail.ru**

Наш сайт: **<http://unost.org>**

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>

Редакционный совет:

Ильдар АБУЗЯРОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Анна ГЕДЫМИН
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
Елена ИСАЕВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Елена САЗАНОВИЧ
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ
Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:

заведующая отделом образования и молодежной политики
Славяна БАКУНИНА
обозреватель
Платон БЕСЕДИН
главный художник
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ
заведующая отделом критики
Елена МАКСИМОВА
заведующий отделом культуры
Татьяна МАХОВА
заместитель главного редактора, заведующий отделами прозы и поэзии
Игорь МИХАЙЛОВ
заведующий отделом зарубежной литературы
Евгений НИКИТИН
главный консультант
Эмилия ПРОСКУРНИНА
консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ
ответственный секретарь
Светлана ШИПИЦИНА

В НОМЕРЕ:

Поэзия

- Максим ЕРШОВ 4
Виктор ШИРОКОВ 46

Проза

- Борис ЕВСЕЕВ
ОФИРСКИЙ СКВОРЕЦ Повесть. Окончание 20
Станислав АСЕЕВ
**МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН,
ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ** Роман-автобиография.
Продолжение 55
Хелью РЕБАНЕ
ПУБЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ Повесть. Продолжение 78

Прорывы духа

- ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ: «ПРАВО ХУДОЖНИКА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕРОЙ ЕГО ТАЛАНТА»**
Беседу вели Светлана Воскресенская и Валерий Дударев 10

Страницы Льва Аннинского

ЗАМЕТКИ НЕИСТОРИКА

- БРОДСКИЙ ПРИБОЙ. «ВОРЮГА
МНЕ МИЛЕЙ, ЧЕМ КРОВОПИЙЦА»** Продолжение 18

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

- СТАЛЬ ПРИЦЕЛА, ДРОЖЬ РУКИ** 19

100 книг, которые потрясли мир

- Елена САЗАНОВИЧ
МАКСИМ ГОРЬКИЙ. «НА ДНЕ» 42

Как жить

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

- ТАМАРА СКОБЛИКОВА-КУДРЯВЦЕВА:
«В ШКОЛЕ Я СИДЕЛА ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ
С ПРАВНУЧКОЙ ДОСТОЕВСКОГО»**
Беседу вели Максим Коршунов и Кристина Финогенова 70

Как беден наш язык!

ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ!

- Марианна ТАРАСЕНКО
**СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ:
ПОРЯДКОВЫЕ И ПРОСТО ПОРЯДОЧНЫЕ** 74

В СВОЕЙ СТРАНЕ Я СЛОВНО ИНОСТРАНЕЦ

- Мария СОЛОМАТИНА
**НА ХОЛМЫШУ СИДИТ ЖИРАФ
И ПАРИТ ЯЙЦА** 76

Заведующая редакцией
Лидия ЗЯБКИНА

Заведующий отделом информации
Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент
Екатерина КОРНЕЕНКОВА

Представитель в Санкт-Петербурге
Максим КОРШУНОВ

Редактор-корректор
Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление
Наталья ГОРЯЧЕНКОВА

Фотокорреспондент
Антон ШИПИЦИН

Главный бухгалтер
Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа
Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей
Ирина УШАКОВА

Интернет-версия
Максим ПОПОВ

Заведующая отделом распространения
Яна КУХЛИЕВА

Дежурные по редакции
Людмила ЛОГАЧЕВА
Татьяна СЕМЕНОВА
Татьяна ЧЕРЫГОВА

Координатор литературного
объединения
Марина КУЛАКОВА

Администратор
Зинаида ПОТАПОВА

Уноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Лоуэлл Ховард МОРРОУ

ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК Фантастическая повесть. Продолжение..... **85**

Творческий конкурс

Дарья БУРДИНА г. Москва **88**

Елена КЛИМОВА Истринский район Подмосковья..... **90**

Татьяна МЕДИЕВСКАЯ г. Москва **91**

Тамара АЛЕКСЕЕВА г. Липецк **99**

Виктория ЛЫСЕНКО Московская обл. **110**

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Валерий ЛАМЗОВ

ВИЗИТ КОРРЕКТОРА Продолжение **112**

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Александр БРЮХАНОВ

ПТИЧКУ ЖАЛКО **142**

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

СЕМЬ РАЗ ОТРЕЖЬ НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ! **144**

VERIORA VERIS

Проказник ГЕО, человек-альбатрос

ЭСКАЛАТОР **145**

На стендах «Юности»

Инна КАБЫШ

САША ПЛЮС ТАНЯ Продолжение..... **146**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел. / факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Авторы несут ответственность
за достоверность предоставленных
материалов. Мнения автора
и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в «Академиздатцентр
«Наука» РАН», ОП ПИК
«ВИНИТИ»–«Наука»

140014, Люберцы, Московская обл.,
Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 554-21-86

Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Максим ЕРШОВ

Максим Ершов родился в 1977 году. Окончил Сызранский политехнический техникум по специальности «техник-механик». Поэт, критик. Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», газете «День литературы». Лауреат журнала «Русское эхо» (Самара) за публикации в области литературоведения и публицистики. Член Союза писателей России. Живет в Сызрани.

ДОБРО-КРАСОТА-ИСТИНА

Богослов скажет: «В начале было Слово», настоящая поэзия — это комментарий к Библии и теодицея. Лингвист скажет, что поэзия — это процесс самоорганизации языка, который стремится приобрести качество физической сущности, — насколько достигает результата путник, идущий к горизонту. «Диалектика, — скажет он. — Процесс славен промежуточным продуктом». Метафизик и символист скажут нам, что поэзия — явление потустороннего, но один назовет ее эхом его, а другой, например, кривым

зеркалом. Неокантианец назовет ее трансцендентальной бурей. Психолог — пространством компенсации. Парень с района — чушью собачьей. И все будут по-своему правы.

Поэзия — это стремление оказаться и удержаться в поле треугольника добро-красота-истина на тоненьких крыльях ценностей, которые вручает поэту читатель. Если только читатель знает, что это и зачем. Если нет — поэзия становится общипанной курицей грантоведения, оставившей позади закатный свет и промозглый ветер...

* * *

Здравствуй, мальчик с ясными глазами!
Разве мы могли представить сами,
что такая ждет нас круговерть?
Ты такой наивный, добрый, дерзкий!
Через двадцать лет стихов и бедствий
как ты отыскал меня, ответь!

Мне теперь — при опыте и силе —
в те глаза печально-голубые
страшновато стало заглянуть.
Ты молчи. Но я прошу — останься!
Ты — мои любовь и постоянство,
всё, зачем пошли мы в этот путь...

ПЕРЕКРЕСТКИ

...И уже никогда в целом свете
не найдем мы такой красоты!
Перекрестки несчастные эти
давят грудь, как большие кресты.

Перекрестки забытые эти
нам сентябрь осеняет мечтой.
На планете печальных отметин
запевает родное ничто...

Здесь кого-то всегда не хватает
на озябшем и тусклом пути.
Намагничено сердце, и тянет —
покурить и идти. И идти.

Потому ты выходишь по новой.
Чуть качаясь, как свечка, идешь.
Одинокий, во фраке лиловом,
меж деревьев теряется дождь.

Только губы улыбкой и словом
согревают фонарную мглу.
Одинокий, во мраке лиловом,
я хотел бы стоять на углу.

Я бы ждал на пустом перекрестке,
где повалены тьмой фонари,
где в зрачках по отчетливой блестянке
оставляют машин «стопари».

* * *

В этом городе ждет меня женщина.
Больше не ждет никто.
Мне бы надо (с улыбкой шершня)
глянуть в зеркало, взять пальто,
брякнуть ключами весело,
крикнуть таксисту: стой!
И перед этой женщиной
выпасть, как лист резной...

Рассказать, что в поэзии чертовой
снова видел дощатый гроб,
что стволом она мне уперта
точно там, где целуют в лоб,
что живу, словно дождь, отскакивая —
превратив свою жизнь в сигнал,

а на сердце такая накипь...
будто я проиграл...

Мне бы надо пойти и сдать ся.
Но ведь ты
это красный свет —
в тишине,
на конечной станции...
Потому-то тебя и нет.

Потому и таксист не ловится,
ключи не смешно бренчат,
и хочет пальто на лестницу
свалиться, как тень с плеча...
Но родная моя! Приеду я,
как усталый заштатный дождь.
Чтоб и дальше ломать трагедию,
мне нужна твоих жилок дрожь.

КАФЕ

Надо ли столько лет душу терять, без шума?
Дрогнув под серый взгляд, сяду в твоей тиши...
Не торопи, устал. Чем-то похож на мула,
я об одном прошу: рядом со мной дыши.

В радужках глаз твоих окна находят полдень,
слов не искала ты: девочкам ни к чему.
Та же простая роль, только... шарнир... разболтан
и не идут понты к голосу твоему.

В кассе кагор и лед... Пусть не звонит он, ладно?
Пусть постоит трамвай, пусть подождет потоп...
Знаешь, грядет февраль. И пустота громадна.
Просто молчи, пока трону губами в лоб.

Скоро шагну опять. Здесь все дороги кривы,
наша простая смерть долго по ним плыла.
Я все храню тебя в образе юной примы...
Впрочем... ну вот и ты — тоже не поняла.

* * *

Ну и кто я тебе. Какой-то лох.
Что любовь — витаминов весенний стон?
Рассмеемся погромче, пока заглох
колокольный-то звон, человеческий звон.

Человек и не больше. Прости, не брат.
Я увидел стилет над твоим плечом!
Запыхавшийся каждый присесть бы рад,
задыхаясь, не думают ни о чем.

А спохватишься, шарить — кругом безнал!
Не поможет, считай — не считай до ста.
Может, просто захочется в небеса
в ту минуту, когда и Москва пуста...

Ты опять позабыла накрасить лак!
Если хочешь, цепочку на мне порви.
В этих пальчиках нежных и ветер слаб,
потому что в груди подрались орлы.

Не летай! Втихаря поцелуй меня —
человека, не больше. И пей тепло.
В миг, когда распускаются зеленя,
если хочешь любое разбей стекло.

Если надо, карябай у самых глаз,
все равно твой стилет растворю в груди...
Дурачина. Распутин. Булгаков. Мразь...
Остальное все сбудется впереди.

* * *

Я заржавленный столб
во степи,
где дожди и метели
мирадами нот
обрывают
мои провода.

Поезда просвистели
и птицы
давно пролетели,
телетайпы молчат —
овладела эфиром вода...

Почернелый торчун,
я контрастен
снегам и паденью,
а секунды кружат,
забывая
дыханье пространств...

И сияет звезда,
и тянусь я растянутой тенью
через рельсы —
туда, где аukaет гордая страсть.

Ирония. Бах

Под вечер так уkoлет печень,
так сердце схватит на бегу,
что вдруг пойму: «Пить стало нечем...
Все! Дальше — через не могу...»

С утра, сгибаясь возле стула
в пугливых поисках белья,
помыслю: «Двоечник сутулый...
Я... тот... богоподобный я!..»

И выпрямлюсь тогда устало,
и в зеркале овал лица
найду: «Да что со мною стало?..
Да что со мною без конца?»

Какой скандал! Какое зренье,
какой неласковый венец,
какая смута в поколенье,
какая жалость, наконец!

Замру...
И словно по заказу
шальной окутает волной:
сосед (храни его, заразу...)
врубает Баха за стеной!

И снова музыка нагрянет,
сказать, что:
1) я не так уж груб;
2) ирония — водица в кране;
3) но неизменна схема труб!..

* * *

Е. У.

Наверное, так крадется старость...
Ноктюрн сентиментальный льет,
и правды ей не нужно даром.
И горло схватывает лед...

А может, так приходит зрелость —
когда нет страха высоты,
когда сырое — разгорелось (!),
как свет от гаснущей звезды...

Должно быть, так проходит младость:
Когда «всё» кончилось ничьей,
судьба постельная не в радость
и ценишь вкус домашних щей...

А впрочем...
это просто юность...
до дна небес своих коснулась
и обернулась — улыбнулась:

— Я все равно тебя люблю!

ОТ РЕДАКЦИИ

Лев Толстой увенчал собой усилия двух древних родовых ветвей (одна из них идет от Индриса, другая — от Ярослава Мудрого) оплести кровеносной системой историю русской государственности. Плоды рода Толстого обильны. Потомок славной фамилии — Владимир Ильич — пытается продолжить неукоснительное стремление своего великого предка к поиску смысла быстротекущего литературного процесса.

В гармонизации пространства российской жизни и есть глубокий смысл деятельности рода Толстых.

Ростки этой деятельности произрастают как в родовом гнезде Толстых — Ясной Поляне, так и далеко за ее пределами. Например, Толстые, следуя заветам философии Льва Николаевича, установили культурные связи практически со всем миром.

А вот что написал Тонино Гуэрра, побывав в Ясной Поляне: «Летом 2006 года мы с женой были в Ясной Поляне, чтобы поклониться могиле

Толстого. Наше любопытство привело нас позже на железнодорожную станцию, откуда писатель отправился в свое последнее путешествие. Мы посетили привокзальный музей, который меня заворожил. Я стал разглядывать маленький фонарь, которым ночью по обыкновению пользовался станционный смотритель. Подумал, что слабые отблески света, исходящие от этого простого и скромного предмета, могли остановиться и осветить уходящие шаги благородной фигуры. У меня сразу же возникла идея использовать этот фонарь как модель для увеличенных и измененных образов. Так и родились фонари-пантерны Толстого, которые можно рассматривать как скульптуры. Они могли бы освещать сады или воды (если укрепить фонари на плотках)...»

Владимир Ильич и есть один из таких фонарей, который освещает в темноте путь всем заплывавшим.

Да будет свет!



Владимир ТОЛСТОЙ

NOTA BENE

Владимир Толстой — эссеист, журналист. Правнук Льва Толстого. Родился в 1962 году в селе Троицкое Московской области.

Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С 1988 года — член Союза журналистов СССР. С 1994-го — директор музея-усадьбы «Ясная Поляна». С 1997 года — председатель Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России, цель которого — объединение музеев российской провинции. Президент общероссийской общественной организации «Российский комитет Международного совета музеев». С 2009 года — президент ИКОМ России.

Председатель Общественной палаты Тульской области, член Общественной палаты Российской Федерации.

Организатор съездов потомков Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Совместно с другими членами семьи Толстых является учредителем фонда «Наследие Л. Н. Толстого». Учредитель ежегодных Международных писательских встреч в Ясной Поляне.

В 2012 году назначен советником Президента Российской Федерации.

Награжден орденом Дружбы. Лауреат премии Владимира Высоцкого. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Владимир Толстой: «Право художника определяется мерой его таланта»

— Владимир Ильич, первый вопрос — традиционный: нужны ли сегодня литературные журналы, какова их роль в обществе и сохранился ли спор между славянофилами и западниками, в котором главенствующая роль отводилась именно старейшим литературным журналам страны?

— Говоря о старейших литературных журналах России, я бы в первую очередь упомянул пушкинско-некрасовскую традицию. Фундаментальные литературные журналы — абсолютно уникальное явление. Причем по большей части специфически российское. Хотя есть, например, прекрасные литературные американские издания — толстые! Но они все равно по другому принципу делаются. А та роль, которую играли толстые литературные журналы в истории русской мысли, — совершенно особенная. Я убежден, что фундаментальные литературные журналы не потеряли своего значения и сегодня, хотя, конечно, тиражи несопоставимы с теми, которые были в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы прошлого века, когда был пик интереса к толстым журналам. У таких классических ежемесячников своя особенная миссия. Как правило, литературный журнал был местом дебютов. Сейчас же нередки случаи, когда автор дебютирует сразу книгой.

— Это нормально?

— Нет. Мне кажется, все-таки нужно пройти через... сито, через какой-то литературный процесс. Литературный процесс живет в литературном журнале и в спорах журналов между собой. Такое явление, как литературная критика, — это полностью журнальное явление. Это как бы... литературное анонсирование! Литературные споры могут быть в газетах, в блогах — где угодно, но настоящая литературная критика в своем главном замысле и предназначении — это именно журнальный жанр, жанр литературного журнала. Сначала появляется произведение, потом появляется вдумчивое и, может быть, дискуссионное мнение людей литературы о тексте, об авторе. И это, собственно, и создает процесс...

— И роль редактора в этом процессе не последняя.

— Действительно, очень многим молодым авторам именно редакторы помогли найти свой

стиль и выстроить творческий путь. Часто были даже такие тандемы автор — редактор, которые существовали на протяжении годов и десятилетий.

— В «Юности» долгие годы работала Мэри Лазаревна Озерова. Редактор от Бога. Она воевала в Великую Отечественную, в конце девяностых годов прошлого века тихо жила на пенсии. На ее похороны пришло человек десять, но среди них Василий Аксенов, Борис Васильев, Валерий Золотухин, Сергей Есин... Пришли все, кого она сделала подлинными писателями.

— Поэтому самое главное сочетание, которое я произношу, — литературный процесс. Литература — это не просто написать, напечатать, издать, продать. Для России, для русского читателя всегда в литературе гораздо более важны смыслы, чем коммерческая сторона. И обсуждались, и сшибались, и бились прежде всего точки зрения, позиции. И делились на условные лагеря, писательские сообщества не в силу того, что Вася дружит с Петей, а Аня с Фейей... Собственно писательские группы складывались именно в силу близости убеждений, взглядов на исторические события, на политическое устройство, на моральные проблемы. Это и создавало атмосферу не только в самой литературе, но и в обществе, потому что к этому активно подключались читатели. Если вспомнить те же шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия, то почта толстых журналов была гигантской: мешками приходили письма читателей, которые откликались, обсуждали прочитанное, через журналы выходили на авторов и писали им. То есть это целая была жизнь.

— Вы говорите именно о литературном процессе в том понимании, в каком он должен существовать. Это такое идеальное понимание. Но постмодернисты с Вами не согласились бы, потому что в Вашем суждении о литературном процессе предполагается наличие у автора таланта...

— Безусловно.

— ...а основной постулат постмодернистов — что никакого таланта нет, есть просто стечение обстоятельств, и не более того. То есть можно взять любой текст, его перетасовать, выхолостить, склеить определенную лексико-синтакси-

ческую модель... Для итогов таких манипуляций уже и термины подготовлены: метапроза, например. При этом можно продлить «Войну и мир», спокойно ее переписать, смоделировать нечто по мотивам с элементами современной игры. По этим же законам Толстого можно скрестить с Достоевским. А слово «талант» вообще нынче ругательное.

— В этом смысле я действительно человек старорежимных взглядов и в любом тексте прежде всего вижу художественные достоинства или недостатки. Язык и, конечно, то, что стоит за словом.

Кстати, у Валентина Григорьевича Распутина в свое время вышла замечательная публицистическая статья, которая называлась «Что в слове, что за словом?». Всегда в тексте видишь, что за словом. Мне очень важен особый смысл, который заложен автором. Из этого потаенного смысла вытекает, что писатель любит, что он ненавидит, что он поднимает...

А просто, так сказать, конструктор мне неинтересен. В постмодернистской литературе — кстати говоря, она ведь неоднородна, — тоже были и есть одаренные и яркие личности.

Поэтому попытка закамouflировать и спрятать за конструкцией отсутствие таланта — это то, что происходит и в других видах искусства. Скажем, в изобразительном искусстве, когда отсутствие школы и мастерства, своего почерка заменяется либо эпатажем, либо какой-то придуманной концепцией.

На самом деле все люди, ломавшие традиции, блестяще владели академическим стилем. Просто это был их творческий поиск. А дальше эпигоны, которые видят, что становится популярным, идут проторенным путем, доводя открытие до абсурда. Но все равно время все ставит на свои места.

— *Классическое понимание литературного процесса предполагает наличие таланта, предполагают и такое понятие, как «кто кого ввел в литературу».*

— Но самое главное, что предполагает все-таки честный, искренний, неконъюнктурный подход. Та же литературная критика может быть честной, а может — заказной. Она может кого-то потопить для того, чтобы поднять другого, чтобы увеличить тиражи продажи...

Когда теряются подлинность, объективность, чистота жанра, происходит духовная и языковая катастрофа. Задача бесталанных, коммерчески заточенных людей — смешать плохое, хорошее, замутить так, чтобы это не было понятно. Тогда на таком сером фоне можно либо продвигать бездарности, либо решать какие-то коммерческие задачи.

А решить подобные псевдолитературные задачи практически невозможно, когда в литературном пространстве присутствует то, что я называю чистой жанра, по гамбургскому счету.

Самые непримиримые идейные соперники признавали талант и даровитость друг друга. Они могли не соглашаться по существу, могли спорить о роли России в мировой истории или о влиянии — невлиянии Запада на наши внутренние процессы, могли спорить и на острые политические темы, но отдавали должное таланту своих литературных оппонентов. И в самом деле, и с той и с другой стороны были действительно большие таланты...

Поэтому в идеале, конечно, хотелось бы вернуться и воспринимать литературный процесс именно с такой точки зрения. Собственно, это мы пытаемся делать в рамках вручения литературной премии «Ясная Поляна». Создание этой премии — попытка ставить во главу угла только художественные достоинства.

— *Премия «Ясная Поляна» — одна из самых замечательных литературных премий. В самом названии воплотились и связь времен, и трепет перед классическими шедеврами, и даже стремление к прояснению текстовых реалий...*

— Надо сказать, еще и удивительная, уникальная для нашего времени история, когда финансовую часть премии дают компании, абсолютно не вмешивающиеся в процесс принятия решений. Меценаты просто поддерживают русскую литературу, доверяя жюри — группе авторитетных в литературе людей. Потрясающе интересные споры бывают при обсуждении произведений! Причем принципиальные споры о художественных достоинствах текстов. Аннинский с одной стороны, Золотусский — с другой, Курбатов — с третьей. Есть своя позиция у Павла Басинского...

Поэтому при таком обсуждении просто не может быть никакого сговора: «Давайте вот этих поддержим». Еще очень важная вещь: все-таки за «Ясной Поляной», безусловно, стоит имя Толстого. И Толстой определяет совершенно понятную нам линию в литературе, линию нравственности... У Льва Николаевича очень здоровая проза, у него невозможно найти ни одного законченного негодяя вообще...

— *Основная идея — человек текущий.*

— Да, и в персонажах, которых можно оценить как отрицательных, Толстой все равно всегда ищет что-то хорошее.

— Какой Толстой Вам ближе: ранний, поздний?

— Мне ближе Толстой ранний и средний. Я очень люблю ранние дневники Толстого — отдельное, потрясающее чтение. Для меня такая высшая точка, наверное, все-таки «Анна Каренина», и поразительна, конечно, его работа над «Хаджи Муратом», которая длилась практически до смерти...

— А композиция достаточно простая: вот она, идея, в самом начале, и вот иллюстрация к этой идее. То есть никакого формального конструирования нет.

— Вообще проза Толстого для меня есть волшебство. Я не знаю, как можно было написать «Анну Каренину»! В моем представлении это эталонное художественное произведение, где каждый персонаж обладает точно очерченным характером и поступает сообразно ему. Полифония характеров потрясающая! Причем когда читаешь второй, третий, десятый раз, открываешь какие-то новые горизонты. С огромным удовольствием всегда возвращаюсь, перечитываю...

Из более поздних произведений, например, считаю шедевром рассказ «Хозяин и работник». Люблю его очень поздние народные рассказы — такие, как «Чем люди живы?».

Толстого-публициста в какой-то момент начинаешь глубже осознавать, при этом не всегда соглашаясь с его религиозно-философскими идеями. Но мне по духу ближе, конечно, Толстой, художник, а не сокрушитель авторитетов.

— Владимир Ильич, кто из критиков, из интерпретаторов и исследователей Толстого ближе всех подошел к открытию художественной правды гения? Может быть, Константин Леонтьев?

— Мне, скорее, интересны споры Толстого со Страховым, его переписка с Фетом, вообще переписка. Совершенно потрясающая переписка с Александрой Андреевной Толстой, очень многое раскрывающая как раз в философско-религиозных взглядах. Мне интереснее всего не просто размышления о творчестве Толстого, а вот это живое столкновение. И в этом смысле переписка Толстого с его литературным окружением, на мой взгляд, — очень интересное явление.

— Давайте вернемся к «Ясной Поляне». Вы потратили, возможно, лучшие годы жизни на воссоздание, сохранение и прославление великого литературного заповедника — это действительно Ваше детище. Зачем нужно было уходить во власть, в кремлевские коридоры, где безумный ритм и жесточайший график?

— Дело в том, что в «Ясной Поляне» я директорствовал восемнадцать лет. Это очень много, это очень большой отрезок жизни. И действительно, многое удалось. Объединить семью, вернуть потомков Толстых, живущих в разных странах, собрать их снова в «Ясной Поляне». У нас было много проектов, которые рассчитаны на долгие годы. Мы вообще старались не делать никаких разовых историй — это неинтересно. То есть все, что происходило в «Ясной Поляне», создавалось с прицелом на то, что это будет жить долго!

Так почему же я оказался в кабинетах российской власти? Меня лично пригласил президент и попросил помочь — на фоне моей очень критичной оценки того, что происходило в культуре вообще и в литературе в частности. Ситуация была страшная...

— ...страшная. Чиновники девяностых годов прошлого века, например, считали: раз на Западе нет литературных журналов (хотя они там есть), и в России их быть не должно.

— Нельзя просто считать деньги, нельзя пятнадцать фундаментальных журналов страны заставлять приносить финансовую прибыль! Нельзя все мерить лишь деньгами. Так можно подлинную литературу уничтожить якобы за ненадобность...

Мы подошли к критической отметке в понимании роли культуры в обществе, и у меня возникло ощущение, что я должен попытаться что-то изменить. Я оппонировал власти в этом смысле всегда, я вообще самый жесткий критик того, как государство относилось к культуре, литературе. Я культуру понимаю достаточно широко. Я считаю, что, например, архитектура — важнейшая часть культуры, а не служанка строительного бизнеса, как это, собственно, стало у нас. Что образование вместе с воспитанием, с просветительской деятельностью — это важнейшая часть культуры, образование и культуру вообще нельзя отрывать друг от друга. У нас все растащено по каким-то очень узким ведомственным нишам. И вот была сверхидея попытаться постепенно изменить к этому отношение, убедить наше общество в том, что культура, словесность, родной язык — это важно. Язык играет важнейшую роль для консолидации общества, для того, чтобы мы могли чувствовать себя единой страной, единой культурой.

Конечно, я не мог просто бросить «Ясную Поляну» на произвол судьбы, поэтом я попросил министра культуры, с которым не был знаком, сохранить преемственность: предложил назначить Екатерину Александровну Толстую

директором. Я был абсолютно уверен в том, что в таком случае все наши начинания будут продолжены. Так и происходит, по счастью! Возможно, это правильное решение, потому что за два десятилетия моего руководства «Ясной Поляной» к каким-то вещам я поневоле привык, но кураж, конечно, никуда не делся, идей много. Но всегда хорошо, когда есть новый импульс, который не просто сохраняет традиции, а придает новый колорит.

Единственная для нас сложная проблема — мы вынуждены жить на два дома, то есть Катя с младшим сыном живут в «Ясной Поляне», а я лишь приезжаю туда. Естественно, стремлюсь туда каждый свободный день, в выходные. Именно поэтому я, особенно в субботу и в воскресенье, не хожу на какие-то спектакли, не езжу на уик-энды, на конференции... Просто это единственная возможность побыть с семьей, и в эти дни мы все собираемся в «Ясной Поляне». Старший сын сейчас рядом со мной, и младший, видимо, будет поступать в Москве.

— Раз Вы упомянули о спектаклях, все-таки напомним читателям, что Вы лауреат премии имени Владимира Высоцкого. Каково Ваше отношение к творчеству яркого поэта и меняется ли его образ со временем?

— Мне нравятся, если говорить о премии, идея и название «Своя колея» и то, что основатели награды выдерживают эту линию, находя людей из разных сфер жизни, которые остаются сами собой и защищают какую-то свою идею, свою правду, свое видение. Я именно этим очень дорожу в людях. Это и есть целеустремленность и верность своим идеалам, представлениям о добре и зле. Премия — одна из немногих, которая именно таких героев ищет, поэтому мне было приятно... Тем более что я всегда любил Высоцкого и как поэта, и как человека, поющего песни под гитару. Мне близки его одержимость, внутренняя свобода и очень тонкий дар. Высоцкий удивительным образом чувствует слово.

В поколении Высоцкого существовала целая плеяда творческих личностей, у которых проявлялась внутренняя художественная смелость. А какая мощная природная сила у Шукшина, у Астафьева! Вампилов — потрясающий, гениальный драматург...

— Тайна таланта. Мы же говорили именно о таланте. Откуда возникает эта тайна?

— Почему-то такие люди появляются плеядами, это же поколенческие явления, эти таланты

появлялись почти одновременно. Куда они сегодня деваются? Где утрачивается воспроизводство?

— *Может, это проблема государственная? Пушкин все-таки больше, чем поэт, в том плане, что он создавал великую русскую литературу, причем под надзором императора... И если говорить о том, кто создавал великую советскую литературу, то это будет Сталин. Например, несмотря на то, что он написал на повести Платонова «Впрок» рецензию в одно слово: «Сволочь», в лагерь гениального писателя все-таки не отправил. И никто не может понять, почему Мандельштама отправил, а Платонова — нет. Может, это особая логика тирана? Но он все равно создавал литературу, чтобы была не хуже, чем в девятнадцатом веке. И великая советская литература появилась — бесхитростная, глубокая, неповторимая. И она во времени рядом — рукой подать...*

— Главным в этой литературе было потрясающее сочетание такой, казалось, простоты с подлинными переживаниями. То есть все большие писатели даже позднего советского периода боль жизни пропускали через сердце, у них не было «головной» прозы — ни у Абрамова, ни у Астафьева, ни у Распутина, ни у Белова, ни у Леонида Бородин. Это люди страдавшие, многое пережившие. Это их роднит с девятнадцатым веком.

Многие замечательные прозаики того времени робко о себе судили на фоне Толстого, Достоевского. Они себя чувствовали маленькими, но их вела по жизни именно эта предельная искренность, достоверность, любовь к литературе, как и вера в то, что литература способна изменить человека. Они сами на себе это прочувствовали, они стали другими людьми благодаря литературе и писали, потому что искренне верили в то, что это важно, что это на душу влияет...

— Но они же еще и мучились выбором. Тот же Федор Александрович Абрамов выбирал: стать писателем или остаться преподавателем.

— Да и Шукшин метался. Никого из них литература особенно не кормила. Например, Лихоносов, когда писал «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» — а писал их лет семь, не меньше, — все это время жил в долг. И он получил очень скромный гонорар, который не покрыл того, что он назанимал. Он написал блистательную, на мой взгляд, книгу, с потрясающим юмором.

— А теперь очень важный для нашего журнала вопрос: с чего начинать читать молодому человеку? Как ему прийти если не к классике, то хотя бы

к добротной литературе? Один из государственных деятелей на вручении Горьковской премии заявил, что читать вообще вредно потому, что из молодежи, тратящей время на книги, вырастают книжные люди, не умеющие жить. Можно ли в наше время прожить без чтения? Девяностые годы прошлого века показали, что можно, но человек ли это — вот в чем вопрос.

— Я считаю, что у нас неправильно, преступно преподается литература в школе. Отчасти это уходит еще и в советское время — там, правда, был системный подход, сочинения... Но уже тогда в какой-то момент начался уклон в литературоведение. Какие вопросы сегодня выносятся на ЕГЭ по литературе? Чисто литературоведческие. Какой это жанр...

— ...какие элементы формы, содержания...

— Мне кажется, в младшей школе, в начальных классах нужно, чтобы учитель с учениками произведения просто читали и обсуждали, чтобы они друг другу читали.

— Чем и занималась гимназия девятнадцатого века...

— Да, Вы правы.

— У великого педагога и словесника Верещагина были работы о том, как читать Пушкина, например «Сказку о рыбаке и рыбке», в младших классах. Все существовало уже в Российской империи...

— Вот к этому надо возвращаться. Единственный способ — это увлечь. Сделать такую прививку с раннего детства. Ребенку, во-первых, должно быть интересно, во-вторых, это должно вызывать в нем какие-то чувства. На мой взгляд, совершенно чудовищны попытки, когда под видом защиты детей от вредной информации (под определение «вредная информация» попадают чуть ли не вся классическая литература) начинают изымать классику в библиотеках и школах. Псевдоювенальные деятели, чтобы не травмировать психику ребенка, скоро все сказки запретят, потому что в сказках живет Баба-яга, а это страшно и ребенку противопоказано. А толстовские детские рассказы из «Азбуки», из «Книги для чтения», где корова наелась стекла и умерла или мальчик косточку от сливы проглотил? На самом деле это единственные вещи, которые пробуждают в детях сочувствие, переживание, человеческие эмоции! Именно литература дает им ситуацию ярко, образно. Над литературой надо плакать, смеяться, она должна эмоционально тебя трогать, ты должен понимать, что это возможность сочувствия, твой театр, твой кинозал,

твое общение... Эти вопросы ты постесняешься задать учителю или родителям, а литература даст на них ответ. И Мопассан, и Куприн в своих самых проникновенных вещах повествуют как раз о том, что мучает подростков...

Но это сделано художественной силой, художественным образом, это не пошло. Писатель в этом смысле, безусловно, очень ответственная фигура. При правильном подходе любого ребенка можно увлечь литературой. Дальше ничего не нужно будет предпринимать. Как только человек понимает вкус литературы, он сам начинает ее искать. И не важно, как он это будет читать, на каком носителе, будет ли он скачивать себе на компьютер или читать электронную книгу. Важно, чтобы он искал правильные вещи. Ведь Интернет в равной степени может быть колоссальным богатством и абсолютным разрушителем.

— В Интернете другой язык.

— Но там можно найти все богатство мировой мысли и чувства. Конечно, надо понимать, что ты ищешь. А для этого должна быть основа. Вот это как раз задача школьных методик.

— Нужен ли единый учебник по литературе, на Ваш взгляд? Это поможет понять, что литература — особая система ценностей и трудный, подчас затуманенный путь с четким обозначением шедевральности некоторых произведений. Списки книг для чтения могут быть разными, но картина художественного пространства, литературной иерархии определенного временного периода — единой. Картина может и меняться. Например, в Российской империи Тютчев преподавался как второй поэт после Пушкина, а в Советском Союзе из Тютчева сделали лишь «певца природы» и записали во второстепенные поэты. Умом Россию не понять...

— Сложный и спорный вопрос. Как говорится, а судьбы кто? А автор кто? Очень важно, кто составит единый учебник литературы. То есть в любом случае он будет нести отпечаток предвзятости.

— Сегодня в литературе происходят странные, порой забавные вещи. Опять пытаются Пушкина заменить на корабле современности, например, Баратынским... Литературой века восемнадцатого нейтрализовать художественные достижения века девятнадцатого. Часто этим занимаются люди с приблизительным представлением об историческом развитии языка, литературных форм.

— Пушкина никем заменить не получится, потому что незачем. Пушкина никто не навязывал читателю. Это естественные процессы. На самом

деле не так уж важна иерархия. В русской литературе так называемый второй ряд, третий ряд писателей прекрасен.

— *И то, что сочинение вернули в школу, замечательно.*

— Я бился за это отчаянно. К счастью, это произошло, хотя пока немножко в усеченном виде...

— *Владимир Ильич, и заключительный вопрос, совершенно негосударственный. Ваше отношение к литературным анекдотам Даниила Хармса. «Лев Толстой очень любил детей, бывало, посадит его на коленки и гладит по голове...»*

— Такая вот форма подачи литературного мира... На самом деле это чрезвычайно тонкий и, я бы сказал, политический вопрос, потому что ирония и самоирония — очень важные вещи.

Глупо быть настолько серьезным и начинать видеть во всех и всем врага, подвох, стремиться все запретить. Это происходит именно из-за отсутствия способности к самоиронии и свободы понимать ироничное отношение к тебе. Вот этого нашему обществу сегодня тоже очень не хватает, потому что дурацкие запретительные законы, которые возникают, — с одной стороны, признак ханжества, с другой — закомплексованности и отсутствия внутренней свободы и широкого взгляда на мир.

Многим кажется: сегодня все, что им не нравится, нужно подавить, запретить. А ведь лучшие наши поэты и писатели славились именно внутренней свободой и широким горизонтом мировосприятия.

— *О Высоцком мы уже говорили...*

— Высоцкий, Рубцов, Есенин... Абсолютно разные, они расширили горизонт. Стремилась

убрать фальшивые рамки. И не нужно художника слова искусственно сужать, дайте читателю чувство вкуса и меры, человек сам разберется, что хорошо, что плохо. А пытаться навязать это сверху системой запретов — тупиковый путь, который дает абсолютно противоположный, обратный эффект.

— *В советское время хватало запретов, и были подпольная литература, самиздат... Мы это уже проходили.*

— Это как если объявляешь сухой закон — значит, начнут гнать самогон. Запрет — признак слабости, а не силы. Сильному государству не нужно строить жизнь на системе запретов. Сила как раз заключается в том, что ты не боишься, когда тебя критикуют или указывают на недостатки. Сильный всегда сам знает меру своих способностей и достоинства, поэтому и к Хармсу, и к Саше Черному я отношусь с уважением, но не могу сказать, что люблю этот жанр.

И совсем не люблю тот юмор, который сегодня на наших телеэкранах.

— *Это не юмор Тэффи, не юмор «Сатирикона»...*

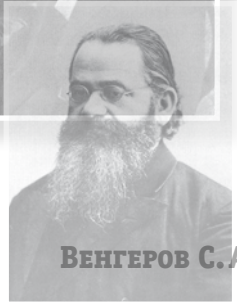
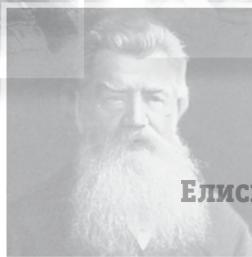
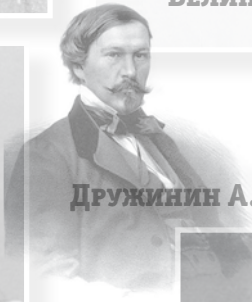
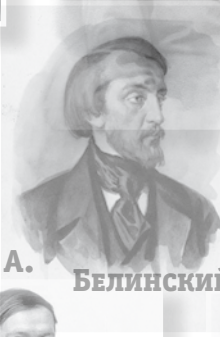
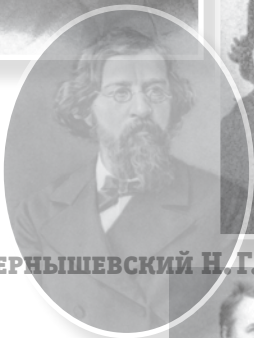
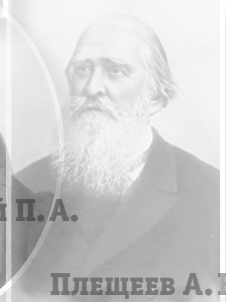
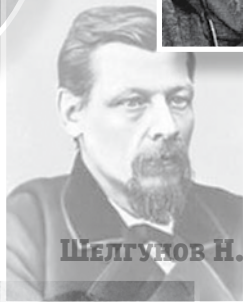
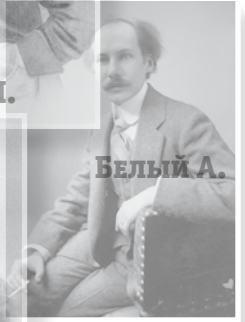
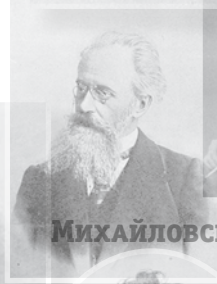
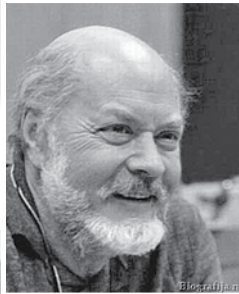
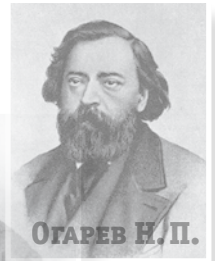
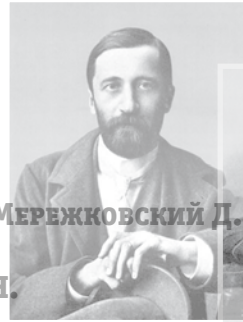
— Это не юмор Аверченко. И не юмор Зощенко. Это совсем другой уровень. Поэтому опять мы вернулись к тому, с чего начали: мера таланта. Если мера одаренности такая, как у Хармса и у Зощенко, позволительно высмеивать мещанство и ерничать, и иронизировать, и сатирически прикладывать... Но это право зависит от меры таланта. А когда так называемый юмор опускается до пошлых игр, становится грустно.

— *Как писал поэт, талант — единственная новость, которая всегда нова.*

— Это очень точно.

Беседу вели Светлана Воскресенская и Валерий Дударев

Страницы Льва Аннинского





Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год,
в № 1–12 за 2014 год, в № 1, 2 за 2015 год

БРОДСКИЙ ПРИБОЙ. «ВОРЮГА МНЕ МИЛЕЙ, ЧЕМ КРОВОПИЙЦА»

Тюремного срока «тунеядцу» дать не решились — отправили в деревню на «исправление». От стыда подальше — и выпустили пораньше. «Тунеядец» вернулся триумфатором. Его ждали в столицах. В том числе в столичном журнале «Знамя» (где я по-прежнему работал).

Но тут что-то перекошилось в моем восприятии событий. Одно дело — переживать душевный контакт со строчками, которые переписываешь для себя, пропуская через пальцы. И другое дело — стоять в шеренге поклонников, в очереди поздравителей, в строю соратников, приветствующих героя. Это у меня плохо получается.

А может, дело в том, что новые стихи Бродского, привезенные им из ссылки, меня несколько обескуражили... Нет, не те, что о деревне, ставшей на год местом наказания. А те, что о Римской империи, куда нырнула душа (в поисках компенсации?). Меня мало тронули «Письма римскому другу» — эти счета, перекинутые через тысячелетия. Честно сказать, мне не милы ворюги и кровопийцы ни Римской, ни нашей эпохи, потому что совмещаются эти роли чаще всего у одних и тех

же баловней судьбы; ворует баловень или нет — а крови попить обязательно постарается.

— Как тебе мои новые вещи? — спросил Бродский.

Мне бы смолчать, да сдуру брякнул, что прочел, но переписывать не буду.

Тут словно молнии сверкнули в его глазах из-под полуприкрытых век. Он выразительно покачал горловой: «Что мне с вами делать, не учи!» И произнес что-то про вещи в себе или еще что-то в этом духе. И спросил: «Помнишь, откуда?»

— Из Канта, — назвал я моего любимого философа.

— А поточнее источник?

Я аж поперхнулся: он еще и экзаменовать меня будет!

— Надо будет, назову и источник...

На этом наш разговор закончился.

Я подумал, что больше у нас встреч и объяснений не будет.

Ошибся. Через двадцать лет — встретились.

Но это уже другой сюжет...

Продолжение следует.



СТАЛЬ ПРИЦЕЛА, ДРОЖЬ РУКИ

Прославленный театральный режиссер Андрей Житинкин опубликовал в журнале «Дружба народов» свой роман. Объем — тридцать страниц. Название — «Житинский». Читается как прямая исповедь. Именно поэтому я помещаю отклик в «Заметках», вообще-то посвященных театру. Здесь — театр от лица режиссера, понимающего, что от сделанного режиссером — «не остается ни-че-го». «Чехов обмолвился, что актер — это не профессия, это диагноз. А режиссер? — спрашивает Житинский. И отвечает: — По-моему, приговор. Или хакакири в рапиде». Актеров хоть помнят — их приколы, прибабасы, розыгрыши и анекдоты.

Из сценической мурлы автор вытаскивает реальные человеческие отношения. Эротический экстаз. Садизм от любви. Виртуозный стёб. Вникнешь — и поймешь: «страшнее человека ничего нет». Или так: «в жизни нет ничего страшнее са-

мой жизни». Нынешняя мочилровка — это еще не настоящее безумие, до него еще надо дожить. А в прошлом — оно самое: залп «Авроры» — эрекция, штурм Зимнего — оргазм и т. д.

Отношение к этой реальности — изобличение. Клеймение. Или, как по-научному формулирует Житинкин-Житинский, стигматизация духа. Изобличает он — со стальной решимостью. Но я, читая, чувствую, что иногда загадочным образом рука его дрожит. А может, он сам подсказывает мне это ощущение, вспоминая малоизвестную подробность расстрела царской семьи в 1918 году.

«Когда выносили трупы на носилках из шинелей, чтобы побросать в машину, одна из княжон приподнялась, закрыла лицо и заплакала. Добивали ее штыками в дрожащих руках...»

В дрожащих... Штрих, от которого мое сердце застывает в отчаянии.



Борис ЕВСЕЕВ

Окончание. Начало в № 1, 2 за 2015 год

ОФИРСКИЙ СКВОРЕЦ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Настасьи Поповой

ГОВОРЯЩИЕ ПТИЦЫ, МЫЧАЩИЕ ЛЮДИ

Вавила Ханадей ехал в Дом Правительства жаловаться на жизнь. Порицать чужие пороки и выхвалять собственные достоинства, напоминать о разнице между людьми и птицами, а главное — о болезненном состоянии нетрудовой части российского населения говорить он ехал!

В Доме Правительства, в финансово-экономическом секторе, или, как втихаря его звал Вавила, в Исправдоме, — с ним поговорили любезно, но и по всей строгости закона.

— Как же ты это так мог, Вавилон Ипльчи?

— А что я? Я ничего...

— Так ведь ты у себя, сообщают, скворца говорящего прятешь. Птицу дорогую, птицу финансово подотчетную. И птица эта, нам докладывают, всякие дерзости произносит! К примеру, про Офирское царство. Словом, околесицу турусит... Тупому ясно: говорит птица именно то, чего не смеют публично высказать люди, которые ей потихоньку все это внушают. Теперь понимаешь, как ты неправ, Вавилон?

— Понимаю. Осознаю. Только нет у меня больше скворца. Нету-у!

— Куда ж это он подевался?

— В карты его продул.

— Так-так-так.

— Простите! Не повторится! Помогите найти, сам дико мучаюсь! — Пузенистый Ханадей

промокнул рыжеватые залысины всеми десятью пальцами, потом стряхнул оставшиеся капли пота на пол. Однако пот на ханадеевских пальцах все равно остался, и Вавила по-тихому обтер пальцы о полосатый пиджак. — Только один вопрос птице задам и сразу возвращу на пользу государству! Дворец для священной майны в Зоопарке выстрою!

— Зачем же в Зоопарке дворцы строить? Там и без того с метрами туго. Дворцы для птиц в других местах строить нужно. И чтоб в тех дворцах, в щебете и звоне, совместно с птицами серьезные финансовые личности могли отдыхать! Особенно те, кто потерпел по службе. А то ведь даже голову таким потерпевшим негде преклонить бывает. Ты об этом, Вавилон, подумал? Ну а в новом дворце и сады всякие могут появиться, и священной скворцу — ореол славы. Пускай себе про Офир в наших садах поет!

— Пока сады отрастут — век наш кончится, — вырвалось у Ханадея.

— А не тоскуй ты так безмерно, Вавилон.

— Что это вы всё — Вавилон да Вавилон... Вавила я!

— Что Вавилон, что Вавила — одна пустая сила. А насчет нового сада вот что: мы деревья из Аптекарского огорода повыдергаем — и в новую почву! Там, в Аптекарском, их многовато на пя-

тачке. А у нас будет еще одно крутое Сколково, только ботаническое... Так что не унывай!

— Я и не унываю, только мучаюсь страшно.

— Мучиться не стоит. И ерундить — тоже. А то мы можем подумать: не смыслит Вавила в строительстве дворцов ни уха, ни рыла.

— Да вы лучше послушайте, что скворец говорит! Может, и во дворцы свои брать его не захотите. Я запись принес.

— А не нужна нам твоя запись, мы и так все знаем.

— Знаете, да не все! Хотя на минуту, да включу!

И залился велосипедной трелью, а потом заговорил священный скворец: «Правит-тель медлит. Конец концов — близок! Имперских вольностей — всем! Каждый — цар-рь! Финансовых кровососов — на мус-сорку! Ип-потека! Расселина! Р-реституция! Петушар-ры, все петушар-ры!»

— Ты что за пленку приволок, дурак! Это же полный нафталин, лихие 90-е! Сам пропах и кабинет нам провонял! У нас теперь все другое, без всякой упырятины. А ну, вали отсюда со своими трелями!

* * *

Говорящие птицы были страстью ученого Торубарова. Поэтому как только он узнал про интерес к скворцу чучельника Голева, сразу же согласился помочь. План ученого был прост и по-своему живописен: выписать с острова Борнео подходящую самочку и приманить ею скрывающегося в дебрях Москвы священного скворца.

— Понимаете? Говорящие птицы они...

Здесь Торубаров стал, волнуясь и часто дыша, рассказывать про говорящих птиц. Про то, какие они покладистые, и про то, откуда у них в зобу разговор берется. Про птиц подражающих и птиц, говорящих самостоятельно, безо всякого подражания. А еще про таинственность возникновения в птичьей гортани человеческого звука.

— Тайна это тысячелетняя, тайна необъяснимая, — никак не мог успокоиться Никита Фомич.

Разузнав у Торубарова подробности, объявили сбор говорящих птиц.

Говорящих в России оказалось на тот день и час не так уж много.

Дальних тревожить не стали, решили заняться ими позже и лишь в случае резкой необходимости. А вот московских говорящих — тех скоренько собрали, стали внимательно прислушивать.

Птицы рассуждали о разном. Одним — вслед за их разборчивыми хозяевами — нравились иены и юани.

Другие сетовали на шкурников и подхалимов, плотно окруживших (некоторые птицы высвистывали еще не слишком четко: «нассега», «нассега») нынешнего правителя. Большую часть пернатых болтунов сразу отправили восвояси. А говоря откровенно, просто стали хватать охапками и выкидывать вместе с хозяевами всех этих переимчивых кенаров, чижики-пыжики и долдонистых попугаев!

А вот скворцов — тех оставили. Скворцы говорили о наболевшем.

— Мал-ло кор-рму.

— Сбербанк — жиреет!

— Нич-чего не ясно!

— Мир тр-реснул...

Ученые, с интересом птиц разглядывавшие, были значительно прозорливей и в своих мыслях последовательней:

— Академия — тю-тю.

— Передел собственности...

— Похороны Академии — что тут нового? А вот, говорят, в Новосибирске — четыре новеньких Нобея на сиротских койках ржавеют.

— Зарплата жалеют и смотрят косо!

Правоохранители, находившиеся тут же для контроля за птицами и особо говорливыми учеными, больше молчали, в научные споры не вступали.

Наконец, птицеведы дали правоохранителям доступные пояснения.

Главный птицевед Вострилов произнес «компактную речуху» (так он сам выразился) о мозге и безмозглости птиц, об их ограниченных умственных способностях и о гордыне хозяев, пытающихся выдать тупые выкрики за острый птичий ум.

Тут вмешался Никита Торубаров: да, мозг скворцов не представляет собой ничего сверхъестественного. Но вот гортань! Это же неисследованное чудо, коллеги! И механизм зарождения звука, и принцип возникновения слов в птичьей гортани так до сих пор и не изучен. Вот и будем изучать! А упрекать птиц за безмозглость опять-таки не будем. В дикой безмозглости можно скорей упрекнуть людей. Кстати, некоторые из присутствующих яйцеведов сами словно бы из пингвиньих яиц вылупились: ни аза в глаза не знают!

Речи и ответы на них были изумительно хороши. Но тратились, к сожалению, впустую: ни одной майны-самочки среди московских говорящих скворцов найдено не было! Не было, конечно, промеж временно интернированных птиц и скворца-говорюна из Зоопарка.

Это и ученый Вострилов, и ученый Торубаров определили сразу.

— Ну а раз так, об чем разговор, уважаемые деятели науки? Будем сами искать, а вас поздней побеспокоим.

Стали искать дальше. Правоохранители, в меру сил и со скидкой на орнитологическую безграмотность, проявляли усердие...

И все же первым отличился ученый Торубаров: в «Театре Клоунады и Перформанса» вроде бы обнаружился тот самый скворец!

КИРИЛЛА И ЧЕЛОВЕЕВ

Кирилла нежная, Кирилла солнечная — опять передумала. Решила ехать не на Каширку, не в Черниговский скит — отсидеться денек-другой у подруги решила. И уже от нее звонить по телефону, который был записан на обратной стороне пакетика, болтавшегося на шее у скворца. При этом отдавать скворца, так удачно названного Велодриммером, в чужие руки Кирилле ужасно не хотелось.

Бывший повеса, а теперь исследователь земли Офир и собеседник авантюриста Тревогина Володя Человеев напал на след скворца не враз. Однако все через того же ученого Торубарова, а позже через секретаря креативщиков Лазаря Подхомутникова, кивавшего на таксидермиста Голева, путь священной майны до «Театра Клоунады» прослежен им был.

Театр на звонки не отзывался. Тогда еще через одного знакомого была найдена мобилка Суходольской. Инженю сквозь слезы предположила: скворца унесла Кирюленция, иными словами — завлит Слуквина.

Тут разговор наполнился диким рыком, горестными мольбами, урчанием и треском. Труба Суходольской заглохла. Однако теперь найти номер завлита было делом нехитрым.

Первый звонок ничего не дал. Не было Слуквиной в сети — и баста!

Вдруг через час — дозвон. Чуть капризный, но, как опытному Человееву сразу же показалось, безобманный женский голос.

Потолковали. Встретиться с Кириллой Юрьевой договорились через два часа у ворот рынка «Каширский двор».

У входа было людно, и Володя не сразу уцепил взглядом миловидную, в песочном плаще золотоволосую женщину со вздутым кулем в руках.

— Там дальше — доски и садовые домики... Зайдем поглубже, спрячемся. Они нас там точно не найдут!

— Кто они-то?

— Ну те самые... Не знаю даже, как назвать их.

— Это вы чучельника так испугались?

— Что вы! Никакого чучельника я не знаю. Там артисты утырочные! Сами вроде из Театра Российской армии, а сами убивать пришли. Какой-то «Правый сектор», ей-богу. Актеру Чадову кишки выпустили! Митю Жоделета, нашего сценариста, колесовать обещали. Я-то убежала, а Митя, он, может, уже и колесован...

* * *

— В какой улице эта лахудра живет? — допрашивал зачем-то вернувшегося в ТЛИН чучельника Игнатий.

— Да я почем знаю? Вы у театральных спросите!

— Жить хочешь? Тогда узнай. До восхода луны даю тебе сроку. Заодно вину свою перед зверьми искупишь! Иначе мы тебя самого тырсой набьем! Сколько чучел сотворил, аспид? Не считал?

— Не аспид я. Таксидермистом быть, если хотите знать, высокое искусство. И тяжкий крест, между прочим. Я им — внутренности вынимаю, я им — проволоки в хвосты вставляю... А до потрошения? Я их кормлю, я их пою, мне тяжело, мне невыносимо горько, а они — урчат и гадают.

— Так ты еще и зверильницу содержишь?

— А то. У меня полный кругооборот зверей и птиц: от леса и клетки до охотничьего магазина и Дарвиновского музея. Сейчас подходящий товар по своей цене ни за что не купишь. Вот и содержу, вот и кормлю их, и режу!

— Молчи, аспид. А за поругание честного креста — отдельно ответишь.

* * *

В квартире на Каширке — квадратной, уютной — Кирилла и Володя наконец отдышались. Скворец пил воду и молчал. Лишь изредка с шумом раскрывал крылья. Чуть позже недовольной походкой прошел на кухню и там затих.

Кирилла слушала рассказ Человеева про страну Офир. Знакомы они были всего ничего, а казалось — целый год. Было приятно, было радостно. Вот только Иван Тревогин, про которого Володя полужнакомой девушке сразу же рассказал, вызвал у Кириллы чувства смешанные.

— Какой-то характер у этого Тревоги надувательский. Может, он, как говорил бедолага Чадов, обычный темнила!

— Кирилла, светлая вы моя! Так ведь часто одни только пролазы и темнили подмогой русскому духу были. Двигали они наш дух вперед, возды-

мали его ввысь, наполняли авантюрной и творческой энергией. А сами потом в сторонке отдыхали. Хорошо, если все ими сделанное доставалось святым. А то ведь чинушам! Ну а честные дурильщики и веселые прощелыги... На них только указывали пальцем или в лицо им плевали!

— И про вольности имперские — как-то странно. Все вокруг империю почем зря костерят, тюрьмой этносов зовут. А вы говорите — вольности.

— Да, златокожая, да! Но ведь империя нужна новая, небесная! И вообще правильной называть империю — Царством Простора!

Кирилле неудобно было сходить переодеться, и она слушала Володю в уличной, грязновато-пыльной одежде. «А могла бы в новеньком халатике сидеть», — недовольно передернула она плечами.

Тут застрекотала мобилка. Кирилла провела пальчиком по экрану.

И нарисовался в окошке актер неизвестного театра: страшный, в камуфляже, с бровями рыжими-волохатыми! Актер что-то немо орал. Кирилла, глядя на картинку, вздрогнула, непроизвольно включила звук.

— ...скворца отдашь — живи себе с Богом! Через два часа, как луна взойдет, — у Голосова оврага, на спуске... Не принесешь скворца — всему вашему позорищу конец. И тебе тоже. Мы из Тайной экспедиции, с нами, девка, шутить — на дыбе очнешься!

* * *

Через два часа Игнатий, Акимка и Савва, не дождавшись у оврага лахудры со скворцом, все в том же камуфляже, правда, заткнув за пояса придурочные свои малахаи, стучали ногами в дверь Кириллиной квартиры.

Взломав шкворнем замок, проникли внутрь. Искали скворца и его новую хозяйку тщательно, с неослабным рвением.

Ни скворец, ни лахудра найдены не были. Но вот перышко скворцово — оно Акимкой обнаружено было. И парсуна лахудры (саму лахудру мельком видели на театре) висела здесь же, отблескивая стеклами.

Стекла были мигмом расколоты, бокалы из шкафчика рассыпаны мелким дребезгом, стул разломан, цветы выброшены в окно.

Игнатий ушел на кухню. Савва ухватил зубами лежавшую на полу парсуну, выпавшую из стекол. Грызнул раз, другой. Картон был крепок.

— Отдай. — Акимка схватился за намалеванную лахудру, вырвал ее у Саввы.

— А как же Машка? — рассмеялся турок. — Или ты здесь собрался остаться, за лахудрой приударить решил? Не боишься Игнатия?

— Здесь не здесь, а хватит красоту пыточным делом мерить!

Акимка бережно согнул картонную парсуну вдвое, спрятал за пазухой.

Вернулся Игнатий. На губе его повисла колбасная кожурка, из волос торчал рыжий зонтик укропа.

— Упредил, чучельник! Настучал по мобилке. Кабы в живых его не оставили, наш был бы скворец!

— Поймаем — в чучельный вертеп его. Пузо древесным опилом набьем и помереть не дадим сразу...

ОВРАГ, ТУМАН, РАССЕЛИНА

Голосов овраг пользовался на Москве славой аховой, славой мутной. Не то чтобы слава эта была совсем ни к черту — скорей, была она завлекательно-отталкивающей.

Простой народец дудел, как в одну дуду: в овраге без следа исчезают ни в чем не повинные люди! И вовсе не по чьей-то злой воле или преступному умыслу — от необъяснимых явлений.

Продвинутая публика, ясен перец, твердила иное: в овраге исчезают не только мужчины и женщины — туда скатываются и там пропадают уродливые общественные явления, неразрубленные узлы истории, пустые промежутки культуры и отсохшие ветви технического прогресса!

Прогоревшие биржевики и проигравшиеся прокуроры — те выражались куда конкретней: якобы сгинула навсегда в Голосовом ельциниада 90-х, а вместе с ней — далекая коллективизация, провалилась глубоко под землю партия коммунистов (ее самая боевая часть), а за нею партия ПАРНАС, пропало страх сколько рэп-поэтов, без счету рок-див и до хрена плохо распетых ромал из отеля «Советский». Вкупе с ними якобы давно отошел в небытие тихоумный Михаил Горбачев и уволок с собой вниз всеми теперь позабытый, а когда-то превозносимый до небес унисон флейтисток Большого театра под управлением маэстро Реабилитанского.

Слышались и слегка диссонирующие, даже горько-надрывные нотки: будто бы все нанотехнологии господина Чубайса не стоят и грамма земли, которую можно добывать из глубин Голосова оврага. Упорно судачили и про то, что главное в Голосовом не он сам, а таинственная расселина, в которую некие горячие сердца давно пытаются проникнуть пытливыми умами.

Саму расселину рисовали красками макабрическими и скверно пахнущими: вроде бы там, на глубине (но уже восточней, не под благословенным Коломенским, под загазованной Капотней), отвисалось на распялках и отстаивалось в каменных сосудах все наихудшее, чему ни в Москве, ни в Московской области, ни даже на тысячу верст вокруг места решительно не было. Все «испанские сапоги», все плети и батоги, все железные кляпы и колодки, а также горы доносов и громады обманов, все обезьяньи ужимки чинуш, державших на весу зубами, как мелкаячеистые авоськи, свое дикое чванство, все бараньи почесывания и визги олигократов — хранились, по словам пытливых умов (они же — «черные археологи»), в предметно-вещественном виде именно там, в расселине. Говорили так:

— В расселине складировуются только характерные вещи и последствия совершенных дел. И все это в сжатом, спрессованном виде. А людей там — ни души!

— Как без людей? Люди есть. Только они в стиснутом виде под землей обретаются. Их, как пивные банки, плющат и дисками в щели вставляют!

Расселина обрастала пословицами, топорщилась поговорками:

— Молодо-зелено, ждет тебя расселина.

— Наша жизнь рассельная, а у них — кисельная!

— Баба моя — как та расселина: что в щель ни опусти — все примет.

Но были, конечно, и чисто научные высказывания.

— Ваша расселина — просто столбняк Вселенной! — утверждал доктор орнитологии Вострилов, который после неудач с птичьим вопросом стал яростно вгрызаться в природу оврагов и круч.

Правда, существовали в расселине, по утверждению пытливых «черных», и светлые, праздничные уголки. Достойный, не отягощенный дурными делами «провальник» бывал в таком светлом уголке окружен именно теми временами российской истории, которые ему до безумия нравились. Был в расселине угол Елизаветы Петровны и угол Лавра Корнилова, был детсадовский уголок Егора Гайдара и угол канцлера Горчакова, зеленел клин Руси Черноморской и шумело ветрами побережье Руси Поморской. А для желающих взблескивал никелированными фарами, свинченными с иностранных авто, угол Ильича Брежнева...

Но утверждения утверждениями, а случались в Голосовом и пропажи, зафиксированные документально!

К примеру, еще в 1571 году пропала в овраге сотня крымско-османских всадников, состоявших

на службе у хана Девлет-Гирея. В аккурат перед петровскими казнями пропало три десятка стрельцов. Позже, уже в 30-х годах XX века, пропали сразу несколько милиционеров: но эти не все вместе, а поодиночке, и на протяжении трех лет.

И если относительно всадников Гирея и антипетровских стрельцов существовали только отголоски дознаний, проведенных по приказу царя Алексея Михайловича, и более поздние устные предания, то пропажи милиционеров были закреплены протокольно.

Никуда нельзя было спрятать и заметку в «Московских ведомостях» от 9 июля 1832 года. В ней сообщалось про двух крестьян, еще в 1811 году пустившихся в путь из деревни Дьяково в деревню Садовники и присевших отдохнуть на край Девина камня. Накрытые зеленоватым туманом крестьяне исчезли и только летом 1832 года объявились в Дьякове вновь.

Именно в 1832 году были впервые увязаны меж собой два явления: исчезновение людей и зеленоватый туман, неожиданно поднимавшийся из глубин Голосова оврага. Было также ясно осознано явление третье: близ расселины случаются не только исчезновения, но и неожиданные возвращения...

Овраг, туман, расселина! Нерушимостью и железным своим порядком эта триада больше всего и терзала.

Но была и еще одна напасть. По временам из оврага, который многие века так и звался — Голос-овраг, доносились бормотания, крики. Их прозвали голосами земли. Голоса эти слышали и запомнили многие: земля под оврагом иногда словно шелестела сухими губами, а потом бормотала грубовато-отрывистыми голосами, в которых угадывалась немецкая или голландская речь. Иногда — с изящными польско-литовскими вкраплениями. Причем, как настаивали те, кто склонялся над самым родником или прикладывал ухо к Девину камню, голосов было много, и звучали они всем скопом, отчего фразы наслаивались одна на другую.

Голоса тревожили не так, как исчезновения. Исчезновения — не так, как возвращения. По мысли диакона Кантожного, который не только профессорствовал, но и был секретарем Археологического собрания, в этих-то возвращениях, в этих, как он выражался, рекуперациях, и состоял главный соблазн!

— Ну пропали они себе и пропали, — говорил отец-археограф, — так нет же, возвращаются. А ты не возвращайся, коли под землю провалился, а ты не возвращайся совсем!

Случаи возвращения — как с сотней Девлет-Гирея и крестьянами села Дьякова — были редкими. Чаще пропадали бесследно.

Не так давно, в 1958-м, четверо сотрудников госбезопасности растворились в Голосовом без следа. Их-то нельзя было выкинуть из истории, потому что связаны они были с секретным делом Павки Дрозда, предателя из зондеркоманды: его, его близ оврага ловили!

Случались безвозвратные пропажи и среди высшего состава МВД. Те пропадали странно: в сопровождении пьяного варьяканья и разгульных воплей. Сперва думали, в овраге — малина. Но все оказалось сложней и хуже.

Мертвая пустота и скупая паутина обнаруживались при поверхностных осмотрах расселины! А опускавшихся глубже и уходивших восточней ждали тяжкие обмороки и помрачения ума.

Одним из «черных археологов» было оставлено описание расселины. Настоящую фамилию его до сих пор скрывают в клинике неврозов имени Соловьева, а псевдоним он выбрал необычный: Рулет Штрудель.

Штрудель писал: «Паутина странного, мшисто-коричневого цвета. Висит узкими клоками и пучками. Как грязные сталактиты. В пучках — крохотные вещи: пузырьки, прищепки, булавки для галстуков. Часто попадают наперстки в крохотных дырочках. Все эти вещи тихо и явно размножаются. Но места занимают мало. Однако главней дырочных наперстков — кристаллы! Кристаллы ненависти и любви, кристаллы пороков и счастья. Они растут, не уничтожаются! Среди этих кристаллов возникают захватывающие сюжеты: свадьбы, погребения, защиты докторских диссертаций. И вот когда вихрь кристаллов достигает плотности жгута или столба — вдруг надвигается тень. Живая, великая тень! Это в тех местах большая неожиданность. Кстати, в расселине не холодно, скорее жарко. Вот Тень и обволакивает своей прохладой все выросшие кристаллы, вбирает их в себя... Вобрав — уносится. Все начинается по новой.

В расселине всю дорогу кажется: сор и мелкотня жизни — это все, что от человека остается. Остальное пожирается временем. Все, да не все! И это тоже становится в Расселине явным! Есть, оказывается, Большое время и есть время Малое. Здесь как раз Малое, ничтожное время и закреплено! Многие из нас, те, кто попал в Расселину и кто там уже давно находится, — угодили в Малое время. словно в капкан! Внизу становится ясно и другое: в это Малое время, в эту Расселину, иногда чуть не пол-России проваливалось! А Боль-

шое время, равное и тождественное Пространству, где-то вдали о ту пору путешествовало!

Еще кое-что. Здесь становится ясно: каждый человек в этой общей Расселине попадает в расселину личную, узко-крохотную. Сам человек уходит, рассыпается в прах. А вот мысли его — какой-то прозрачной смолой, вроде канифоли, отвердевают. Правда, за все время в Расселине я одну только крупную, ворочавшуюся мамонтом, мысль и наблюдал: принадлежала она Большому времени и Большому (у нас наверху — Великому) Петру. А о чем та мысль — этого выдавать нельзя».

Мысли Штруделя были названы бредом.

В расселину стали спускаться в космических скафандрах. Не помогало: те же обмороки, те же сумеречные состояния ума. Спускаться прекратили. Правда, кое-кто все еще заполошно вскрикивал: «Зовите зеленых! Они помогут. Они покажут этой живоглотской расселине кузькину мать!» Боевой клич «Зови зеленых!» близ Голосова оврага, говорят, впервые и родился.

Что защитники нетронутой природы настроены решительно, испытали той весной на собственной шкуре многие. Правда, тут случился казус: с десяток московских зеленых, вкупе со своей предводительницей Тиной Подцероб, слетевшись в один из мартовских дней к Голосову оврагу, попытались в расселину проникнуть. Но тут — облом. Не приняла зеленых расселина! С шипением и криками вытолкнула всю группу назад! А госпожа Подцероб, которую многие за глаза звали Тиной Болотной и которая без всякого оврага красила ногти зеленой краской, приобрела после неудачной попытки еще и несмываемый цвет лица: изумрудно-экстазный, а на скулах — почечно-хвойный! И это уж навсегда: ну не соскребалась зелень с мраморных щечек!

Дела об исчезновениях под разными предлогами (времена-то были разными, и предлоги, ясен пень, тоже) стали прекращать.

Об одном из таких дел Человееву, смеясь, рассказала Дзета, когда он невзначай спросил ее, не было ли в истории криминалистики дела под названием «Веня Офирский». Дзета неожиданно подтвердила: да, было. И о пропавших милиционерах, вошедших в «Криминальную историю России», рассказала доходчиво. И про то, что некоторых из растаявших в зеленоватом тумане искали очень плотно, потому как одним из таких дел в 1952 году заинтересовался тиран Сталин, который, правда, почти тут же и умер.

— Офирская земля ему, видите ли, в расселине почудилась! За метрополитен он, видите ли, беспокоился!..

Холодно молчали неолитические чудища — Девин-камень и Гусь-камень, тихо тремолировал узкий ручей, застенчиво улыбались православные священники, в горячей мольбе воздымали глаза к небу служители ислама, посмеивались в завитые бороды мудрые раввины.

Все напрасно! Происшествия в Голосовом происходили, а разгадки им не было. Лишь зеленца тумана, испокон веку предвоявшая исчезновения, по временам слоилась над оврагом. Вопреки правилам природы, зеленца эта не оседала вниз: шатучими пластами поднималась вверх и, минуя стоящую на горбу церковь Иоанна Предтечи, уходила к древнему Дьякову городищу.

Но вот когда зеленца уходила — зажигало над Голосовым купола и устремляло колокольни ввысь непостижимое в своей красе Коломенское, рядом, близ Дьякова городища, разрасталась роща черной ольхи, проступали на дне оврага древние юрские глины, и подземные надъярские воды слетали с крутых спусков маленькими дерзкими падунцами!

* * *

Два часа назад, сразу после видеозвонка, Кирилла без слов побежала переодеваться. А вот Человеев — тот медлил. Отдавать скворца он не хотел и уже знал: несмотря на угрозы — не отдаст! При этом чувствовал и другое: прошло только два часа, а уже стала прикипать к нему сердцем Кирилла!

«Поднаторел я с женщинами, это верно. Правда, и надоедают уже. Не они сами. Надоедает для каждой новой пассии особую историю выдумывать... Так ведь только выдумками их и беру!»

Мысли эти Володю смущали: «Куда мне сейчас с ними двумя: с птицей и бабой? В театр? Там дураков гуще, чем грибов на опушке. К тетке Михайлине в город Чехов? А ну как не доберемся, разыскники по дороге перехватят? Пытать будут, оборотни... Вот интересно, какие пытки были в ходу в восемнадцатом веке? Некоторые ведь запретили. И запрет неукоснительно, как пишут, соблюдался. Даже Шешковский больше страдал, чем пытал...»

Тут Володя пожалел, что они с Кириллой не у него дома и не могут вместе пролистать, а потом, облегченно вздохнув, отодвинуть в сторону редкую книгу «Дела Тайного приказа»...

«Нет, кое-где еще и в конце века восемнадцатого пытали. Не от звериной жестокости, а так... от куража справедливости! Правда, такой кураж далеко завести мог. Императрица Екатерина была веселой, просвещение вокруг цвело, а сапожки

испанские на ноги всё надевали. И главное, "рогатку" с шипами острыми на шее замком застегивали!»

Володя нашел на столе ручку, какой-то конверт и стал рисовать поразившую его «рогатку» с острыми, длинными шипами-иглами. Сбоку пририсовал железный кляп. В комнате запахло остывающим железом...

Кириллы все не было. До указанного Тайной экспедицией времени оставалось часа полтора, не больше. Володя отбросил ручку, задумался.

«...Но тогда где только пыточных "рогаток" с шипами и железных кляпов не было? Европа, она с виду чинная, а копни поглубже... В восемнадцатом веке еретиков все еще жгли! И снова, как когда-то, благочестивые европейские старушки хворост в костры подбрасывали...»

Кирилла, переодетая в мужской костюм — легкий расстегнутый пиджак, приятные серые брючки на подтяжках, — вернулась. Человеев первым делом уставился на ее шею: глубокая ранка от «рогатки» с запекшейся черной кровью почудилась ему чуть ниже золотого завитка, под самым ухом! «Отдам скворца, отдам заразу!» — крикнул про себя Володя.

— ...так я готова.

* * *

Кирилла нежная, Кирилла златокожая чуть капризно, с печалинкой улыбается, и Володя Человеев, бывший повеса, а теперь пылливый исследователь земли Офир, поступает наперекор собственным мыслям и обстоятельствам: вместо того, чтобы завернуть скворца в павловопосадский платок и бежать с ним к оврагу, по привычке говорит:

— А готова, так и начнем...

Кирилла сразу все понимает и внутренне со всем соглашается, но на всяк про всяк вскидывает бровку и смущенно сует пальчик в петельку пиджака. Пальчик вздрагивает, бывший повеса пиджак с Кириллы снимает, скидывает вниз лямки подтяжек и, мурлыча: «Так ты у нас мальчик? Мальчик ты у нас?» — переносит собравшуюся в овраг на оттоманку.

Володя так увлечен шеей и нежной филейной частью — вовсе не мальчиковой, кругло-упругой, — что забывает все остальное.

Кирилла осторожно помогает ему. И почти тут же бывший повеса вскрикивает от наслаждения, впервые почувствовав в плотской любви не одну только забаву и липкий блудняк, а мощное ствольное движение и могучий рывок, переводящий жизнь в состояние вертикального взлета с мгно-

венной потерей собственного веса и всей тяжести земных забот.

Скворец сзади легонько долбит клювом Володины икры, покрикивает:

— Кр-рой ее, тюха-матюх-ха! Кр-рой!..

Комната Кириллы переворачивается перед глазами раз и другой, потолок сменяется полом, оттоманка — напольным ковром. Замолкает скворец, выпускающий из себя теперь одно тихое велосипедное журчание.

Но журчание лишь усиливает страсть!..

Узкий беловатый ручей, бегущий по дну Голосова оврага, уже настиг, уже несет их. Воды становится больше, но вода при этом сужается, делается синей, глубже. Утопают в ручье, а затем выныривают сперва одно, за ним другое тело, слабо ойкает одна, за ней другая душа. Любовь запирает дух! Зависают на краях оттоманки, замирают на выступах кресел, а чуть позже мягко шлепаются в травы изрисованного молниями хамаданского ковра слившиеся в новую сущность душетела. Надвигается полусон...

— Р-раз, два, встали! Тр-ри, четыре-ре, вперед! — бережно рвет тишину скворец, и Человек, блаженно улыбаясь, подносит к лицу подхваченные с ночного столика часы, но Кирилла качает головой, закрывает глаза, и лишь через полчаса, кое-как покидав вещи в пакеты и усадив скворца в неплотно завязанный сидор, выскакивают они на улицу, сразу замечая: стемнело!

ГОЛОСА ЗЕМЛИ

— Обдурили, бесовы дети! Час указанный не соблюли. В доме их не застали, и тут нет!.. Ты, Савва, и ты, Акимка, вы оба в Питер через расселину вертайтесь. Не выдержать вам здесь более.

— Страшновато, Игнатий Филиппыч. Вдруг заплутаем?

— Ничего вам не станется. Захотите в жизнь всамделишную вернуться — так небось дорогу найдете.

— Может, нам по-теперешнему, на выкспрессе?

— Он вас куда надо и завезет! Только не в наш Питер благословенный! А в Питер нонешний. Видал я по дороге картинку: башней уродской всю небесную красоту изрыли, Петропавловки не видать, и стены вокруг похабенью измалевали. Близ Адмиралтейства — Жоделет калякал — отхожее место устроили. Так что — вихрем в расселину!.. Да кланяйтесь господину обер-секретарю в ноги, умоляйте, чтоб Степан Иванович государыне передал: иные вольности теперь на Москве! Из старинных устоев почти ничего не осталось. Ни тебе смерт-

ной казни, ни строгих отческих взысканий. А все вольности призрачного царства — суета и тлен, булга и бахвальство!.. Да про Ваньку Тревогу не забудьте господину обер-секретарю доложить: многому он, подлец, научил скворца. Тот, ясен пень, и болтает. Так вы проситесь вслед за Ванькой в Тобольск! Чтoб присмотр неослабный за ним иметь, других птиц не давать учить ему. А скворца, Тревогой подученного, я все одно выслежу и поймаю. А не поймаю — голову ему отстрелю...

— Я, други, про иное хочу спросить. — Акимка смял, а потом выпустил из кулака клок белой, так и не отросшей по-настоящему бородачки. — Никак я в толк не возьму: как случилось, что мы в расселине этой больше чем на два века застряли? Она, расселина, в поощрение или за грехи нам дана?

— Тут не сомневайся: за грехи. Сам посуди. Все в расселине идет как и прежде шло. Старое время там торжествует. Оно, конечно, старое время — время законное. Но только все в том времени сжато, все в оковах! Сами помните: в расселине одно движение сделать — год проходит. Одну мысль десять лет обдумываешь. Извела меня та медлительность! Я муж быстрый: посадил кого на мушку, полголовы снес — и был таков. А чихнуть? А до ветру сходить? День, ночь и еще день мы на это тратили. Капля по руке часами долгими ползла! Мучительной и скупой расселина времен оказалось! Иное дело здесь в недостоверном царстве: все вьется и ввысь закручивается. А в расселине — все каменное, ужимающее тискама, на дно времен опускающее! Все кишки мне расселина вымотала, жилы на сто верст растянула. Да еще голоса в ней! Людей нет, а голоса есть. Што за голоса без тел, я вас спрошу?

— Голоса земли, сказывают.

— Ну, пускай голоса земли. Што меняется? Все одно гадко, пусто там. А поверх расселины порядки новые, приманчивые. Правда, голова от них колесом, виски шкворнем пробило и язык свербит! Но ведь приманили...

— Кого приманят — того непременно убьют, — плюнул со зла себе под ноги Игнатий.

— Ты не сердчай на нас, Игнатий. Туго тебе одному тут придется. Народ, гляди ты, какой шкуродерский! Ирод на ироде сидит, иродом погоняет. Но я про другое. Говорили знающие люди: есть еще одно царство! Сокрытое! Меж Российской империей, расселиной и теперешним призрачным царством. Там скупердяйской медленности нет. Там дела радостные! Помыслы высокие и тела тонкие! Только где оно, это сокрытое царство?

— И ты туда ж! И тебя баснями про Офир смалил кто-то! Не Фрол ли?



— Фрол не Фрол, а прокатился камешком по расселине слух такой. А мы что ж? Любопытны мы ко всему сокрытому. Но про здешнее московское призрачное царство мне, Игнатий, еще любопытней!

— А вот тут скажу тебе, Савва: не призрачное оно. Отраженное! Люди сведущие сказывали: перед войной либо перед большими несчастьями то, что после нас будет, имеет способ в воде либо в воздухе отражаться! Царство это в водах Невы, а затем в Москве-реке и отразилось. Ваньку Тревогу вместе со скворцом к себе и притянуло.

— То-то и оно. Приманчиво годок-другой в отраженном царстве пожить. В далекие воды глянуть. Может, и назад не захочется...

— А чего тут интересного? — долго молчавший Акимка вдруг заговорил без остановки. — Слова по-русски не скажут, угостить как надо не угостят, Бога смиренно не помянут. Один дикий спех да телеги железные. И народ показушничает без меры. Взять хоть Иону Толстоуха, коему ты, Савва, кончик носа отсек. Неужто при матушке-государыне дали б ему таким большим делом начальствовать? Да ни в жизнь!

Акимка перевел дух, скинул камуфляжную плащ-палатку, остался в кафтане, в тесных портах и сразу продолжил:

— А отец диакон, коего здесь, в Коломенском, вчера встретили? Не про Господа Бога, про зад свой широкий он помышляет!

— Так ведь тот диакон — расстрига. Потому про зад и помышляет.

— Молчи, Савва, хоть и расстрига, а не можно так! — Акимка замахал на Савву руками.

— У Бога всего много, должен быть и такой диакон, — заметил Игнатий и округлил губы, словно готовясь, как в балагане, выпустить изо рта огонь.

— Мож, оно и так, а мож, и нет. — Савва набычился. — Ты, Игнатий, уговаривай нас, да знай же меру. Нам, когда вернемся, кару принять придется. Скворца-то священного Шешковский не простит. А до государыни не достучаться. Вот ты нас поперед себя в Питер и посылаешь.

— Государыня добра, может, и нас, и Ваньку Тревогу простила б... Словом, ты, Савва, как знаешь. Хочешь здесь, с Игнатием, за скворцом бегай. А я всю расселину пройду, господину оберсекретарю в ноги бухнусь!

— Не решил я покуда. Выдам тебе тайное: лучше здесь питанным быть, чем там в раболепии коснеть, лучше благоденствия и вольности имперские самим измысливать, чем у Шешковского их вымалывать!

— Вольнодумец ты, Савва!

— Молкните вы оба. — Рыжебровый Игнатий пошевелил плечом, вслед за Акимкой скинул армейский камуфляж.

В голевской треснувшей по швам замшевой курточке, в полосатых штанах, с рыжими бровями и черной, театральной ножницами неровно остриженной бородкой, стал он внезапно походить на лекаря Бомелия, каким того выставляли на картинке перед входом в балаган. Только, в отличие от Бомелия, был литвин огромен, был свиреп...

Игнатий ступил вперед, хрустнул костями. Савва и Аким попятнулись.

— Все, умолкаем. А только, — костистый Савва краем губ улыбнулся, — гляди ты, как одежонка чучельника к тебе приросла. Как бы в нашу расселину, в наше царство низших тебе, Игнатий, вход не закрыли!

— Умные люди царство низших расселиной времен зовут. Ну, словно бы все царства-государства дальше проехали, а те, что в расселину упали, подлинную старину хранят. Ну хватит. Заболтался я. Снова туман зеленцой берется. Оба бегом к расселине! Да глядите мне: никаких слухов про нынешнюю Москву там не распускать! Особенно ты, Савва, остерегайся.

Игнатий резко выдохнул, повязал вокруг головы цветастую бандану, накинул поверх чучельниковой одежонки камуфляжную куртку, быстро взбежал по лесенке, зашагал в сторону подземки.

Пробравшись меж двух неолитических камней, Савва и Акимка вошли в пласт чуть колыхавшегося бледно-лиственного тумана.

Игнатий оглянулся: волосы стражников тоже слегка позеленели, мягко волнуясь, как под водой, поднялись вверх, кафтаны взялись лазурью. Шаг, другой — оба исчезли в расселине, обозначившей себя на миг, подобно зигзагу лиловой молнии. Игнатий двинулся дальше...

— Стой, падалище! Назад!

Минуты через три послышались скрежет, шум борьбы, и угрюмо лыбящийся Савва, чуть пошатываясь, снова вступил в овраг. На миг выставилась из расселины голова Акимки.

Он крикнул: «За все на правилке ответишь!», кинул в Савву камнем, попал, Савва споткнулся, но все ж таки, скрежетнув зубами и держась за бок, побежал от расселины прочь.

Зеленца накрыла Акимку с головой, а Савва кинулся совсем не в ту сторону, в которую двинул Игнатий: по дну оврага вдоль ручья, лишь недавно проломившего ледяную корку, заспешил он в сторону Москвы-реки!

Игнатий борьбы и криков не слышал, бегства Саввы тоже видеть не мог: слишком далеко от неолитических камней был уже. Приостановившись, он вынул мобилку, с омерзением провел пальцем по черному экрану.

Высветилось личико Кириллы. Рядом с ней мелькнул какой-то мужик.

— Ты что ж это, лахудра, обманным делом занимаешься? С полубовником спозналась, думаешь, он защитит? Зачем не пришли? Скворец с вами или как?

— С нами... Разминулись мы, — еле вымолвила Кирилла.

— Ждите дома. Скоро буду. Ослушаетесь — обоих кончу!

Кирилла в страхе отключилась.

Жирно плюя, в гнев срывая и никак не изловчась содрать туго повязанную красно-зеленую бандану, громадный Игнатий в несколько прыжков скакнул на проспект Андропова, выбросил руку вперед.

Старый, с прогнившими боками «мерин» тормознул, сдал чуть назад...

У лахудры ждала Игнатия неожиданность: сядая, но еще молодящаяся соседка подошла на лестнице, ужатым шепотом спросила:

— Кирюльницу ищите?

— А хотя б ее.

— Так она со своим хахалем на Курский только что ускакала. На Украину они собрались. И птицу краденую с собой забрали. Быстрей! Еще успеете! Да прижмите их там хорошенько! Поезд номер...

Игнатий стремглав кинулся вниз.

ПО ГРАНИЦЕ РАЗУМА

За час до перепугавшего насмерть звонка и за двадцать минут до последнего посещения Игнатия, не добравшись до Голосова оврага и решив не ждать, пока стражники перережут горло, Кирилла, крепко ухватив Человеева за руку, снова вернулась на Каширку. На выходе из метро Володя оглянулся: недавно отстроенный дворец Алексея Михайловича темнел зеленью крыш, манил островерхими башенками. «Чудо, а не дворец! Хорошо, что отстроили. Одно дело воображать восьмое чудо света, другое — увидеть!»

В квартире, не обращая внимания на оставленный непрошеными гостями бедлам, еще раз переребрали вещи в пакетах, напоили скворца, дали ему мороженой клюквы, размочили сухарь.

— Куда теперь? — Кирилла обреченно глянула на Володю. — Через двадцать минут сюда рыжебровый зайвится.

— Не знаю. Может, за границу, может, в глублинку нашу...

Володя плюхнулся в кресло, прикрыл глаза.

Тут сознание Человеева было опять потревожено: Ванька!

Тревога заговорил тихо, заговорил вкрадчиво. Губы его блестели, как сахарные.

— Не боишься — в Офир?

— Ничуть.

— А ты, может, в расселину хочешь? Петровский либо елизаветинский уклад тебя манит?

— В Офир! В Офирское царство отведи, Тревога.

— Не знаю, получится ли. Время на дворе сам видишь какое...

— Ты же по границе разума звал пройти!

— По границе разума в Офир только и можно добраться... И хорошо б повесть про такое наше совместное путешествие написать. Пойми, Человеев! Судьба есть сюжет. Исполнение судьбы — повесть. Замысел судьбы принадлежит Богу. Исполнение — человеку. Вот и надо, чтоб из нашей совместной повести стало ясно: с отнятием у русских и у малороссов-украинцев их сходства и братства навсегда будет отнята у тех и у других часть души. Не усекновение главы! Усекновение души, если не опомнитесь, ждет их и вас!

— Ты иллюзия, Тревога. И слова твои лишние. У нас сейчас обо всем об этом по-другому лучшие умы судят. Исчезни! А дорогу скворец подскажет.

— Гонишь меньшака кровного? Смотри, жалеть будешь.

— Тут еще разобраться надо, кто ты мне. Но на сегодняшний день меня больше другое беспокоит: как лихо вы, украинцы, нас и нашу империю громите!

— На сегодняшний день меня больше всего беспокоит, как вы сами себя и свою империю уничтожаете!

Тая на языке колким сахарным леденцом, Тревога исчез.

Человеев дал скворцу мороженой клюквы, вспушил ему перья.

— Ну, скворушка, как нам жить дальше? Вот и масленица кончается...

Скворец, наклевавшийся мерзлых ягод, молчал.

— Всё, конец! — тихо выкрикнула Кирилла. — Тут остаюсь я. Пускай зарежут. Надоело! Бери скворца, вали вон...

— Не горячись, Кирюль.

— Как мне не горячиться, когда сейчас этот рыжий-волохатый сюда заявится? И с ним еще двое. Кишки выпустят, скворца котам скормят...

— Не скор-рм! Не скор-рм! Петушар-ры! Все петушар-ры!

— О. Заговорил немой. Куда нам теперь, птица?

— На Курс-с... На Курс-ский!

— А там чего? На «Винзавод», что ли, пешком топтать?

Кирилла в сердцах швырнула на оттоманку павловопосадский, с красными бусинами платок.

— Н-не Вин-нз! На Курррсс! В Кор-рсунь! В Крым-м!...

Вмиг обесточив разоренную квартиру, через чердак перебежали в другой подъезд, поймали такси до Курского. Пospели вовремя.

— Я этот поезд с детства знаю, — еще в такси покрикивал Володя, — хотя лет двадцать на нем уже не ездил. Правда, он через Украину...

— Нам-то чего бояться?

— Даже по касательной русскому человеку теперь через укров ехать опасно. Но, может, проскочим.

— А дальше-то что?

— Через Краснодар в Керчь, на паром и в Херсонес, в Корсунь. А там скворец укажет. Карточка кредитная в кармане. Денег года на два хватит!

Поезд оказался тем самым, южным. Кирилла забралась с ногами на лежак: купе было пустым, вагон тоже. Пустыми были и мартовские поля, страшноватыми, ничем не наполненными казались стволы деревьев. Пустело и разваливалось на куски городское и пригородное пространство, мутная тревога заливала поля, огороды...

Война еще только готовилась, зрела. Но кое-какие ее признаки уже явно проступали в природе. Трещали кирпичные стены, рушились без чьих-либо прикосновений трехметровые заборы. Синий продолговатый глаз одного из мелькнувших озер почти целиком затянуло кровавое веко. Тявкали на холмах отощавшие за зиму лисицы, плодородные, наполненные водой и снегом тучи рвались в клочки, теряли напор, силу. Две луны, промерзшие по краям, побелевшие от гнева и позванивающие от злости, выступив с правой стороны, поплыли, не пропадая, рядом с поездом...

Скворец притих. Глядя в окно, притихла и Кирилла. Легонько щелкнув птицу по клюву, она скинула пиджак, прижалась спиной к Человееву.

Священный скворец тоже почуял перемену в нынешних своих хозяевах, стал покрикивать, сперва невнятно, потом ясней, ясней. Чувствовалось: скворец силится что-то понять и выговорить. Наконец, подпустив велосипедных трелей, крикнул певуче:

— Все с-спокойно. Правитель — др-ремлет! Адский огонь спит-т!

Плотно нависла ночь. Ближе к утру поезд оставил за собой станцию Грязи, затем Сапожок и Козлов-Тамбовский. Здесь, в Козлове, на одной из стрелок состав поменял направление, взял восточней, затем снова западней.

Поезд летел по Дикому Полю. Желтые томящие душу огоньки на выставившихся из тьмы курганах нехотя сопровождали его. Проследовали две таможни. Колеса — лихорадочней, прерыви-

стей — застучали по чужой территории. Не дойдя до одного из полустанков, поезд остановился.

Молчание было полным, все спали. Вдруг скворец тихо гаркнул:

— Офиртутт! Офир-р — тут! Сходим-м!

— Здесь же Украина, дурак. Через три часа опять граница, снова Россия.

— По гр-ранице разума... По границе разума н-надо! Скор-рей!

Прячась от проводников, сошли. Было еще темно.

Никого на крохотном полустанке не оказалось, в единственном станционном окне горел вполнакала красноватый свет, где-то запевали и никак не могли кончить вечернюю песню: «Ой, у лузі червона калина...»

Суеты времен вдруг не стало, разлилось спокойствие.

— Где ж Офир? — Кирилла близоруко сощурилась. — Чужая страна, илюдейнидуши... Ивпрямь: по границе разума идти придется!

КИНОТЕАТР ПОМЫСЛОВ. МОРАНА И ЖІВА

Помаленьку стало светать. Насыпью спустились в овраг, добежали перелеском до небольшой возвышенности. Тут — неожиданность.

Засияли колотым сахаром невысокие горы, загудели в сотни стволов леса, зазвенел по камням синий, с буровой глубиной ручей.

— Цар-рству — мир-р! — заорал в четверть крика скворец.

Остановились. Вокруг — зацвело. Март здесь уже кончился. Сразу настали апрель и май. Даже июнь выгоревшим на солнце цветастым рукавом, казалось, вдали махнул.

Шевеля зубцами верхушек, выступила гребнем молодая, насквозь проглядываемая лесопосадка. За посадкой блеснул рассветными стеклами небольшой городок, а может, это было заново отстроенное село.

Тихо ступая, подтянулись ближе.

У околицы, выстроившись в ряд, стояли коровы. На бурых шеях медленно болтались серебряные колокольцы. Некоторые из коров, примостясь бочком, ерзали в громадных, надетых на пни кавалерийских седлах.

В самом селе по магазинам ходили лошади. Бережно и высоко поднимали они копыта, опускали их бесшумно и без всякого стука.

Слоны передвигали хоботами фарфоровую посуду в раскрытых настезь просторных лавках. Посуда не гремела, не билась.

Пятиногие собаки восседали на широких, изукрашенных резьбой французских стульях. Стулья при этом оставались сухими, чистыми.

Кошки качались в гамаках. Хвосты их сквозь ячейки свисали вниз, как у обезьян. Из ворот крестьянского рая то и дело выезжали джипы, перевитые колосьями. Крестьянки издали кланялись кошкам.

Громадные, выше человеческого роста головы сахарной свеклы истекали тягучим соком. Краснобокие абрикосы мясисто шлепались на землю, катились к ногам легко одетых людей, вставших позади зверья.

Чуть левей, в небольшой ложбинке, горел коштер из денег: гривны, евро, рубли, доллары, перуанские песо и латышские латы — нежно-весело вздымало их пламя, обкручивал чуть горчащий дым.

Невдалеке от костра люди с бородами гладили и сжимали узловатыми, крестьянскими, но при этом добела отмытыми пальцами живой пузырчатый воздух. Что воздух жив, было ясно благодаря летевшим из-под пальцев смешкам и звончкам: то ли женским, то ли детским.

А вот домашних животных — всех этих тупо-печальных кур, индюков и баранов, предназначенных для еды, — нигде видно не было.

Вообще люди и звери в этой обители блаженных были связаны как-то необычно: не любовь к поеданию и не ожидание быть употребленными в пищу их соединяло — ожидание чего-то нового, небывалого.

— Балаган идиллий какой-то. Киносъемки, Володь?

— Не киносъемки и не балаган, Кирюк! Скорей всего, осуществление наших тайных желаний и чаяний. Связь меж биообъектами и явлениями, лишенная принудилки и привычной кормежной цепочки, тут наблюдается. Ты это... Замри, дивись!

— Ага. Сейчас.

Подошел лесной слон. Он оказался невелик. Нежно обхватив Кириллу за талию, слон приподнял, а потом поставил ее на место. Почесав хоботом Володину спину, отошел в сторону.

Тут же выскочил прятавшийся за горбочком некто лысо-чернявый. Волосы на голове у него росли пучками: черный пучок — прогалина, еще один пучок — прогалина снова.

— Икченъдж, икченъдж, — не заговорил, прямо таки запел обернутый в цветное рядно лысо-чернявый, — все, что у вас есть, меняю на камешки!

— Нечего нам менять. Не видишь? Пустые мы...

Чем-то с утра раздраженная Кирилла развернулась, чтобы балаган идиллий навсегда покинуть. Не тут-то было! Упав на четвереньки, лысо-черня-

вый бежал, вскидывая ногу, как собака, вокруг нее, запричитал сильней:

— Есть-есть-есть! Я, африкантроп, я хорошую цену дам!

— Вам-то самому что необходимо?

— Мисли-мисли-мисли! Все худшее, все гаденькое, что в мозгу у вас хранится — мне! И побыстрее, пока вас тут до нитки не обобрали.

— Как же я тебе мысли отдам, чудака-человек? — Володя развел руками.

— С частичками! С частичками рвоты! Вот и рвотный корень. Вы за кустик, дорогой мой, сходите. Наложите там кучу покруче, а потом, глядя на нее, слегка поблюйте. Я рвоту вашу бесценную соберу и, протестировав, на современных носителях информации представлю. А за это, вот вам! — Африкантроп скинул ботинок, встряхнул его. Из ботинка выкатился громадный, тускло сверкнувший желтоватый камень в оправе.

Кирилла ахнула и, как показалось Володе, даже стала осторожно подносить два пальца ко рту. Вдруг из молодой лесопосадки выскочил босой мужик в розовом спортивном костюме и в широком черном цилиндре, какие носили в XIX веке московские степенные трубочисты.

— Вон оно, где он, наш юдольник! Вот он, африкантроп бесовский!

— А где я? Нет меня, нет!

Лысый юдольник все так же на четвереньках сиганул в подрост.

— Кулон бы оставил! — крикнула ему вслед Кирилла. — Я тебе за него такие помыслы отворю — хоть стой, хоть падай!

— Фу... Кирибеич, — забоялся открытия тайных помыслов Володя.

— А ничего, ничего. Дурных помыслов стыдиться — ни в жисть от них не отворотиться. Ты люби, детуня, свои помыслы гаденькими, люби их тошными! Глядь — посветлеют, глядь — меняться станут.

— Что ж получается? Если я хочу этого лысо-чернявого, эту цыганскую морду изничтожить, я должна такой помысел любить?

— Про цыганскую морду — это зря. Цыгане — мастевые люди. И помысел твой другим был. Вот зверя позову — враз на скрытый помысел укажет!

— Не надо звать. Лучше объясни, почему ты босой, а в цилиндре? И говоришь странно. Вы что здесь — духоборы? Или как это... молокане? Так наш Володя — не Лев Толстой. Денег у него в загашнике — ого-го. И отдавать он их никому не собирается.

— Не духоборы мы, детуня. Служители обмена. Только обмен у нас не такой, как у этого

змееныша черно-лысого. Обмен — кристально чистый! Ты нам дурной помысел, мы тебе — неистрепанную мыслишку о вечном.

— Ну так вот тебе мой помысел, получи! Я вчера хотела забить на все...

— Опять врешь, детуня.

— У тебя детектор лжи, что ли, в кармане? Может, покажешь на досуге? — перешла на полушепот Кирилла.

— Брось, Кирюль...

— Я, Володя, помыслы дурные из себя выдергиваю, мысль неистрепанную взамен получить желаю. Не мешай мне!

— Будешь ерничать — вообще ни черта не получишь. Сейчас главное, детуня, тебе от злой иронии отказаться.

— Чем же я тогда жить буду, босопляс ты бабахнутый! У нас на театре, если не ерничать, не перемывать кости, не паскудить, — дня просуществовать невозможно! И в Москве великой, в Москве златоглавой многие думают: без ерничанья — и жить незачем. Вот я дрянную мысль тебе сообщу, пустой помысел отдам — тогда с чем останусь? Чем на рынке бытия — как вопит наша элита — расчет вести буду? Одной голой правдой с миром не расквитаться! А за неуплату — порвут!

— С прозрачной пустотой, с шумом берез в голове останешься.

— А ты, значит, учитель. Ты, значит, учить меня будешь...

— Духолоб я и духоделатель. Не переиначиваю дух — доделываю его. В общем: не духоборы мы, не плотники! Но сожалений горьких нет. Мы, детуня, духомонтажники! По-киношному, монтажеры духовных кадров. Ненужные куски пленки изымаем, нужные в мозги ваши клеиваем.

— Так здесь все-таки киношку снимают! Как в 90-е? Кооперативную?

— Ну, считай, что киношку, считай, что кооперативную. Режиссер у нас — ого-го! Дает сыграть на фоне вечной тени! — Розовый угольщик засмеялся.

— Что за режиссер? Кто вы вообще такие? Кому территориально принадлежите: России, Украине? — насторожился Володя.

— Про режиссера тебе знать ни к чему. А кто мы такие... У нас тут кинодеревня была, для совместного производства. Мировая! Только кинули нас. Сами по себе теперь существуем. Такой вот у нас киностресс... А в смысле принадлежности — межгосударственное пограничье у нас.

В слух заползла далекая, со странным набором слов, песенка.

«Цыпленики, good nice, мусять жить!» — упоенно повторил из подростка африкантроп.

— А песенка с исковерканными словами тут зачем?

— Гимн это наш, — потупился мужик в цилиндре.

— Что ж, получше гимномузыки не могли для села своего найти? Гимн-то ваш анархо-босаяцкий!

— Анархия есть переход к истинной свободе. Анархия — есть...

— Кто звал меня? Я здесь!

Рослая девка с торчащими в стороны грудями и жмаканой тряпкой, влипшей в бедра, чем-то напомнившая Человееву Оксану Осиповну Крышталль, выскочила вперед.

— Так вот вы чем тут занимаетесь! — крикнула в сердцах Кирилла. — Философию разводите, а сами баб за деревьями прячете! Стоит отвернуться, баба на колени — скок!

— Умри, профура! Издохни, тварь! Я Анархия, что хочу, то и творю.

— Да у вас тут хуже, чем у Ионы Толстодухова. Я думала, здесь незримое царство. А у вас...

— А у нас — Кинотеатр помыслов. С кинопрокатом замыслов, между прочим! И деревня наша новенькая, но всеми властями забытая, в документах похоже названа: Напрасные Помыслы. Но сейчас тут не киносъёмки! Переход от Напрасных Помыслов к обнаружению Тайных Замыслов сейчас тут осуществляется! Нас бросили, вот мы киношку в жизнь и переместили! Хотите — участвуйте. Вот, глядите: помысел, сгинь!

Анархия, ойкнув, шмякнулась в подрост.

— Как же это так удается? Кинообразы в реальность перемещать?

— Новые технологии, лазерные штучки и все такое прочее. Умельцы-то остались. Но вы, я вижу, не готовы обменять дурные помыслы на помыслы высокие. Хватаетесь сдуру за какое-то незримое царство. Ладно, пускай вас всякая дрянь пока утешает. Как разрушать начнет — сразу откинете. Идите лучше по киноселу прошвырнитесь. Как с экскурсией, что ли...

— Киносело! Экскур-рс-с! — Все это время молчавший скворец спорхнул с Володиного плеча на землю, двинул спиной вперед на экскурсию.

Но прежде чем успели ступить за скворцом, вышла из перелеска орловская лошадь в проплешинах, догнала Кириллу, лизнула в бедро.

— Помысел указала! — хохотнул в подросте африкантроп.

— И правда, киностресс какой-то, — проглотила слезу Кирилла.

— Да уж, киностресс, — согласилась лошадь, роняя дымящиеся яблоки.

— Бр-р-р людей обижать, коб-была! — крикнул скворец.

Двинулись в село, лошадь — следом. Тут провало Володю:

— Я понял, Кирюль! Здесь через новые кино-технологии отработанные помыслы показывают. Кинолечение здесь! Золото, власть над миром, всю тысячелетнюю ветошь и рвань, которую мы в себе сладко лелеем, здесь собирают. Но эту ветошь многовековую здесь же и уничтожают. Для этого духообмен организовали.

— А может, здесь тоже что-то вроде расселины?

— Р-расселина — отстой! Р-расселина — не Офир-р!

— А скворец-то прав, Кирюль. Только здесь про Офир и расселину никто ничего не знает. Хотя дело делают правильное. Лишь бы их тут не разгромили наши или укры. А насчет расселины я только сейчас понял: она отстойник истории! Там один кто-то эволюционирует, а остальные спят мертвым сном. Сжатость пустоты там и лжеиерархия. А тут — киноочищение и, вполне возможно, преддверие Офира. Начали с киношки, а проявилась целокупность мира, каким он был Всевышним задуман, — перешел на шепот Человеев. — Люди, звери, птицы — все здесь неразъемно!

— Ну, прямо «Мосголливуныхарьковфильм» какой-то. Ладно, идем...

Золото древнего Офира сияло в слитках и высилось столбцами, устилало полы и подвалы села. На золотых пеньках сидели совы с закрытыми глазами. На платиновых сундуках раскрывали крылья трехсотлетние вóроны.

Золота было много. Но уже притрушивали его соломой и посыпали серым речным песком чьи-то заботливые руки: чтоб не дурило мозги, не мутило глаз!

Между золотом и деревьями шатались проявленные сны. Один из них вдруг обернулся явью. Вышел из лесопосадки чучельник с вплетенными в красную бороду жемчужными шариками, потирая руки, сказал:

— Второй день вас догоняю. Догнал и не жалею. Кино тут — зашибись! Лошадку за сколько уступите? Шкура-то, шкура какая! И скворца приобрету. Человек я со средствами, не поскоплюсь. Ну, вспомнил меня, скворчина?

— Такс-сидермист хр-ренов! Петушар-ра!

— Ты вот как со мной? Думаешь, не продадут тебя? Ошибочка! Я вам сейчас тут царство чучел

устрою!.. Мне мама в детстве птичку подарила и ножичек в придачу к ней дала, — пропел чучельник и, вынув из кармана скальпель, шагнул к скворцу.

Скворец заполошно крикнул, скальпель блеснул, блеск этот, как луч от лазерной указки, попал чучельнику в глаз, тот вскинул руки, рыча от боли и ненависти, шатнулся в противоположную от скворца сторону.

Двинулись в киносело. Сбоку и сзади, едва уследимо — это Кирилла увидела, обернувшись, — маленькими смерчами вздымались столбцы прогретой солнцем пыли. А может, это вздымались помыслы...

Чуть в стороне от столбцов, то прячась в посадке, то припадая близ кустов к земле, крались две женщины. Они были очень разными и когда не прятались — тихо дрались.

Одна — худая, в померанцевом платье, с черным серпом луны на животе и кривым жатвенным ножом в руках, — всю дорогу нападала на другую. Та, белолицая, дородная, с колосьями волос до пояса, пока уступала, но чувствовалось: это недолго.

Идти и оглядываться было неудобно. Кирилла даже хотела попросить Человева пронести ее чуток на руках, чтобы пристальней смотреть назад.

Вдруг крикнула кукушка. Скворец встрепенулся. Кирилла обернулась.

Женщина с черной луной на померанцевом платье будто только этого и ждала: она жутко осклабилась, медленно, всей пятерней, не боясь крови и сукровицы, потянула за щеки и вмиг содрала желтоватое свое лицо.

Оголился серый безглазый череп. Чуть повременив, женщина швырнула лицо в пыль. Солнце зашло за тучу, враз потемнело, померанцевая взмахнула жатвенным ножом с зазубринами...

Посыпались стеклышки и кристаллы, раздался смех. Смеялась белолицая со спелыми колосьями волос.

От ее смеха женщина-череп скривилась, выронила жатвенный нож, тот упал в пыль, глубоко в нее зарылся, затерялся. Череп, сухо хрустнув, обломился с шейного позвонка, тоже упал на проселок. Померанцевая села прямо в пыль, подгребла к себе череп, попыталась приладить его к торчащему косо шейному позвонку...

«Это не кино! Это... Морана и Жива!» — ахнула про себя Кирилла.

Тут вспомнилось: с месяц назад Митя Жоделет притащил в ТЛИН старинные офорты для очередной клоунады. Две картинке прочно врезались в

память: на них были изображены языческие существа. Одно из женских существ, злое и доставучее, держало под мышкой собственную патлатую голову, другой рукой вздымая со свистом жутко искривленный жатвенный нож. Второе существо — подбреей, поговорчивей, с волосьями-колосьями — сладко улыбалось.

Под одним офортом значилось — «Морана». Под другим — «Жива». Тогда же подумалось: вот такую бы Морану на Толстоуха напустить!

Женские существа несколько дней кряду терзали воображение, потом рассыпались в прах. «И — на тебе! Где уцепили, где насели! К войне они, что ли, привиделись?» Кирилла на ходу прижалась плечом к Человеву и тут же про себя вскрикнула: «Эти бабы — не я! Не хочу воевать! Не буду никого жатвенным ножом резать-сечь!.. А может... Может, хочется мне войны?»

Не выдержав, снова обернулась: Мораны и Живы — след простыл!

Вместо них уплотнилось нечто иное. На двух молоденьких дубах, качая своей тяжестью их неокрепшие ветви, сидели две птицы — Птица-Тревогин и Птица-Человева. Головы птиц, их лицевые диски были сильно схожи с человеческими. Тревогин слегка напоминал филина. Человева — скворца-альбиноса. Но особенно поразили Кириллу пальцы рук, отросшие у птиц вместо кончиков перьев. А еще — розовые коготки ног, терзавшие кору. Птица-Тревогин и Птица-Человева слов не говорили, они, казалось, собрались перелететь на одно громадное дерево и усесться рядом на его могучих ветвях. Но никак не могли решить, кто полетит первый...

Кричавшая все это время кукушка смолкла. Кирилла зажмурилась.

Открыв глаза, увидела: ни Ваньки, ни Володи на молоденьких дубах нет. Морана и Жива тоже исчезли, бегут следом лишь две собаки — белая и черная.

Кукушка внезапно крикнула снова.

«Покрестить бы тебя, дуру», — с неожиданным восторгом подумала про кукушку Кирилла.

Помыслы и голоса постепенно сгнули, проклюнулась в небе первая звезда, блеснули в глазах коров слезы, серебристой изнанкой затрепетали тихошумные березовые листья.

— Как в раю...

— Кр-раше, кр-раше, — заорал священный скворец. — Не р-рай, не ад! Преддверие Нового Офир-ра! Простор-р есть воля! Воля есть простор-р!

— Я такому покоряюсь царству, — проговорил Человева.

— Зачем все произошло, зачем все это было, Володь?

— Наверное, чтобы ты ТЛИН свой поганый забыла.

— И скворец говорит странно: Ветхий Офир, Новый Офир. Не расселина, а преддверие... В книгах ничего этого нет.

— Ты его особо не слушай, Кирюль. Скворец — он читать не умеет, в школах не учился, ЕГЭ не сдавал.

— В книгах вр-р-ранье! ЕГЭ — от-тстой! Чинодралы — бжезикалы!

— И не вранье вовсе. Это у тебя в голове мешанина. Понял, дурак?

Скворец обиженно смолк.

— Может, отсюда до самого Херсонеса незримое царство тянется?

— Эх, Кирюш! Тысячу лет это царство ищем! То Рюриков, то Романовых, то Лениных-Троцких нам на царство сажают. А того не знают: нужно такое царство, где каждый сам себе царь. А и всего-то для обретения этого царства нужно от властных помыслов отказаться, легкими не только душой, но и телом стать. Такое птичье-человечье, летучее царство самое приманчивое для русского человека и есть! Вот только где оно — пока никто не толком понял. Ни князь Щербатов, ни Ванька Тревогин.

* * *

Возвращались из Напрасных Помыслов ночью, нашли частника. До границы с Россией оставалось всего ничего. Вспоминали мелькнувшие час назад Святые Горы.

Выостренный четырьмя контурами белокаменный Успенский мужской монастырь приманил к себе. Хотели заехать, водитель отсоветовал.

— Бля лавры неспокойно... Можуть захопыты вас.

Неспокойствие Святых Гор Володя объяснил неожиданно:

— Тут недалеко, в Северском Донце, утонул когда-то отец Ваньки Тревогина. И самого Тревогу я здесь, пожалуй, оставлю. Все нутро мне истерзал своими историйками. Пора мне и с ним, и с веком восемнадцатым прощаться. Отец его, между прочим, иконописец был, а сам Ванька — фантазер и летатель. Вот оба и пропали не за понюшку табаку... Останови на минуту, выйду.

Кругом сладко мерцала, шевелилась, рвалась и опять соединялась в дрожащее месиво мартовско-апрельская предрассветная мгла. Своими сутолочными движениями она навевала мысли о

где-то давно идущей тихой и скрытой войне. Но и явная, открытая война была близко, рядом! Она осыпалась комьями только что вырытых противотанковых рвов, на юг и на восток пробегали единичные пока бэтээры.

Война еще только набирала обороты и потому казалась быстрой, нестрашной, по временам — справедливой и даже благодатной.

«Война, войнушка... Иссохнет она или, наоборот, распушит свой чертополох?»

Володя почувствовал: мышцы лица его стала неожиданно раздвигать блаженная, не к месту явившаяся улыбка. Сладко втянув в себя воздух, он тихохонько в черно-зеленые поля гаркнул:

— Прощай, Иван! Прощай, Тревога!

— Поехали быстрее! — крикнула, опуская стекло, Кирилла.

Но прежде чем Володя сел в машину, Кирилла еще раз оглянулась на Северский Донец. Реки почти не было видно.

Зато близ берега, под тридцатиметровым, вывернувшим корни наружу осокорем сквозь утреннюю мглу угадывался человек: большеголовый, узкоплечий, со взбитыми кверху, словно бы скрепленными лаком густыми волосами.

Кирилла беззвучно отворила дверь, вышла в сторону, противоположную той, где стоял Человек, сделала несколько шагов по направлению к черному тополю: страшно захотелось втянуть в себя запах муравьиного меда, потрогать жесткую, с глубокими бороздками, наверняка уже чуть прогретую кору. Однако вместо муравьиного меда резанул по глазам острый смрад плывущего на юг весеннего речного сора, вобравшего в себя запахи всех опрелостей, еще какой-то бродильный уксусный душок...

Человека, задиравшего голову вверх, из-за которого Кирилла во мглу утреннюю и окунулась, теперь видно не было, наверное, пересел ближе к берегу. Но бормотания его были слышны хорошо: «Тяжко мне, муторно... И после смерти не уймусь никак! Здесь я — предатель, на севере — чужой! Хотел Офирского царства — получил раскуроченную Новороссию: отвергаемую друзьями, теснимую врагами...»

Кирилла вернулась к машине. Володя сидящего у реки не заметил. Поэтому про последнее явление Тревоги и его непонятные речи Кирилла Человеку рассказывать не стала. Усевшись рядом с водителем, Володя еще сильнее повеселел, сказал всем и никому:

— Где-то война, и тут же, рядом, — иконопись, лавра, пещеры. В общем, стукнулись лбами противоположности, аж искры летят! Потом опять

разбегутся в стороны. И встанет, яшень пень, вопрос: либо на войну, либо в пещеры. На войну оно, конечно, поосанистей будет. Но и в пещерах существовать можно.

— Ты сперва на мне женись, полную жизнь отживи, а после на войну собирайся, — надула губки Кирилла. — А пещеры — они и в Черниговском скиту есть.

— И то верно. Так, скворчина?

Скворец промолчал.

КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ И КРАСНЫЙ ХУТОР

Перед самой границей, когда отпускали частника, пропал скворец.

Кирилла занервничала. Володя успокоил:

— Вернется. Подождем его на нашей стороне. Он к жэдэ вокзалам и к станциям привык, туда прилетит.

Человеков дал какому-то кряжистому укрупгранцу денег. Границу перешли в необорудованном месте безо всяких приключений.

* * *

Литвин Игнатий брел по Сыромятническому переулку. До Курского оставалось всего ничего, таксист высадил почти рядом. Но никак ему было не дойти до железных возков! Волохатые брови, потеряв привычную проволочную жесткость, обвисли вниз. Игнатия шатнуло, он остановился.

Позвонил Савва. В голосе слышалось лукавство:

— Мы в расселине, а ты как, Игнатий Филиппыч?

— У Курского я. На украины наши собрался.

— Што за поезд?

— Тебе кака разница? За номером 22.

— Да просто любопытствую. Ну, прощевай, начальник...

Тут в переулке подкатилась к Игнатию еще одна лахудра:

— Мужик, ширнуться хочешь?

— Это как же?

— Фу-у... Село! Идем, узнаешь!

— Далеко ли идти, милая?

— Да тут рядом. Кафе «Сирень» знаешь?

— Трактир, што ль?

— Пускай — трактир. Я тебе там такую сирень в нос пуцу — «черемухи» полицейской не захочешь!

Игнатий, с трудом передвигая ноги, с каждым шагом теряя силы, а с ними и понимание происходящего, побрел за черноволосой лахудрой. Но внезапно, у дерева, лег на землю. На губах высту-

пила пузырящаяся, хорошо различимая в бликах неона зеленоватая пена.

— Да ты, я вижу, уже ширнул. Лады, отдохни здесь... А я побегла. Шири мне, шири!

* * *

Степан Иванович Шешковский глядел на Акимку как на гниду в чужих волосах. Отвращению и неприязни не было границ. Но виду обер-секретаря Тайной экспедиции не подавал.

— Где скворец? Вдругорядь тебя спрашиваю, пакостник.

— Пропал скворушка, в зеленом тумане растворился. Да и позабыл он все слова про Офир. Проел ему, видно, мозги туман этот.

— Что еще за туман зеленый?

— Мне почем знать? Муть какая-то болотная...

— Болотная, говоришь? Дерзким ты стал, Акимка. Месяца не прошло, а ты... — Голос обер-секретаря, сухой, перхающий, наполнился гневной влагой.

— Какой там месяц! — Акимка хотел выкрикнуть про двести тридцать годов, проведенных в расселине, про медленность и кишкотность времени, про голоса, живущие отдельно от людей, но удержался, сунул в рот костяшки пальцев.

— А сотоварищи где? Где Игнатий и Савва? Утопил в болоте?

— Савва в недостоверной Москве остался. Понравилось ему там, подлецу.

Тонкий, с прямоугольным кончиком нос Шешковского дернулся раз, дернулся другой. Обер-секретарь откинулся в кресле. Стол с лазуритовым прибором и только что вынутым ножом для резки бумаг отдалился.

За последний месяц Степан Иванович сильно преуспел в одном разыском деле, про Игнатия со товарищи старался не вспоминать, потому как сам по приказу императрицы должен был вскорости выехать для допроса старухи Пассековой в Москву. Заниматься в одно и то же время допросом Наталии Пассек, урожденной Шаховской, проверять всю ее болтовню в княжеском имении Шарاپово, что в верховьях Лопасни, и думать при этом про сгинувших где-то неподалеку Игнатия и Савву было ему не с руки.

Утешало одно: ежели и вправду в недостоверном царстве Игнатий и Савва затерялись, значит, встретиться в Москве белокаменной, в Москве доподлинной им не суждено!

Шешковский встряхнул головой. Кончики парика при этом даже не дрогнули.

— Говори далее. Что Игнатий?

— Игнатий — человек верный. Меня сюда ото-слал, а сам обещал скворца найти и выпотрошить для Кунсткамеры. С чучельником уже догово-рился.

— Для Кунсткамеры, говоришь? А я ведь велел в Питер скворца живым и невредимым доставить!

— Да надоел он всем! Самого нет, а крики слышны. Но только другую пургу теперь скворец гонит. В основном про тех, кто ныне призрачным царством правит.

— Пургу, говоришь? Словес новых понабрался, думаешь меня ими с толку сбить?

— Да ни боже мой...

— Молкни, каверза. Хотя нет. Отвечай: чучель-ник тоже недостоверный?

— Достоверней некуда. Такая гнусь, ваше вы-сокопревосходительство! И ругается отвратно: чмошник и чепушило, мол, ты, Акимка. А какое я ему чепушило? Кроме прочего, спешу донести: обещал тот чучельник Голев из правителя тамош-него пугалище огородное сделать. Да жидковат вроде...

— Кто жидковат: правитель или чучельник?

— Вестимо, чучельник...

— Как того чучельника сыскать?

— В Нижнем Кисловском переулке обретается...

— Что еще про неосязаемую Москву сообщить можешь?

— На ощупь-то она ох как осязается: айфоны всякие и телеги железные. Под землей на коле-сах — возки крытые. Шумят, спасу нет! А вот духу молодецкого на Москве не хватает.

— Ты на Москву не клевети зря. Дело говори, дело!

— Не успел я, ваше превосходительство, про все дознаться. А только из встреченных мною лю-дей половина ни во что не верит. Вторая половина верит во все заморское. Один только неистрачен-ный временем человек попался... И того порешил Савва.

— Что за человек?

— Лицедей Чадов. Сказал: за Россию-матушку и живот положить не жаль. Ну, его свои ж и об-смеяли. А Савва ему напоследок кишки выпустил. Живоглот он, Савва...

— Про расселину поточней скажи.

— Здесь пытай меня не пытай — ничего толком не скажу. Ума моего не хватит. Тихоадская оби-тель какая-то! Вот про расселину сейчас говорю, а в голову остолбенение лезет. Столбняк времен в той расселине существует! Так птичник один сказал. Историю там до дрожи сжимают. И пау-тина железными нитями лицо опутывает, а высунь язык — вмиг исколет!

Из тайной комнаты, соединенной с кабине-том Шешковского, послышался сдавленный стон. Акимка упал на колени:

— Отпустите, Христа ради, Степан Иванович! Век Бога за вас молить буду! Не выдержу я кресла пыточного...

— Тише, тише, сердешный, людей мне тут пе-реполошишь. Дом у меня пристойный, а про крес-ло врут, негодяи! Ты с коленок-то встань, продол-жай про расселину.

— Время там вязкое и людей ненавидящее: не убивает — засасывает. А лучше б сразу убило! Потому как вокруг — голоса. Сами по себе, без тел существующие, пустые, изнурительные. И го-лосов тех — тьма тьмущая! Их в ларцы и коробки дьявольские мохнатые руки сажает, а после по полкам раскидывают. Вот и вся расселина... Мне бы на Пряжку в гошпиталь! Устал я оживать после медленной смерти.

— Про дьявольские руки для красного словца сказал?

— По-другому — изъяснить не могу. А только не такие там дьяволы, как их в церквах малюют. Виду не имеют, зато тень и голос у каждого.

— И каковы тени? — Шешковский позволил себе усмехнуться: ересь порет, врёт и не заикает-ся Акимка. Ну, с враньем-то бороться легко. Это правда с трудом оборима!

— ...тени змеинные и голоса шипящие. Всюду словно бы феатр смертной тени! Тени сёл по стенам расселины мелькают, города и дороги, птицы же-лезные. Мелькнут и улетят. Нету в них веществен-ности. Все, что там движется, — невещественно! Зато все, что не движется, — хоть на зуб, хоть на вес попробовать можно. Уж кладовка так кладов-ка! Нож, коим царевича Димитрия зарезали! Клет-ка, в которой Емельку Пугача возили. Отравы в склянках, какими позднейших правителей травили...

— Клетку, говоришь, видел? Откуда знаешь, что в ней Пугача возили? Изобразить на листе смо-жешь? Ты, помнится, чертежному делу учился.

Через несколько минут Акимка, пытая и не умея враз отдышаться, протянул Шешковскому плотный лист.

— Та самая... Не соврал. Я сам к этой клетке, к дверце ее, загогулину когда-то приделал. Что ж мне с тобой, многознающим, делать? Тоже в клет-ку или в Тобольск?

— В Тобольск, ваше превосходительство! Я и за Тревогой прослежу, и чернильницу ему от сору очищу, и...

— А под одеждой что прячешь? Я ведь сразу заметил.

— Так, ничего, — потупился Акимка.

— Врешь. Правды всей не говоришь, Аким. А мне как обер-секретарю Тайной экспедиции, сам понимаешь, знать ее до зарезу надо. Поэтому в Тобольск другие поскачут. А ты... Послужил ты славно, теперь и отдохнуть тебе время, — ласково вымолвил Степан Иванович и вдруг, дойдя на одном слове до визгу, крикнул: — Вот и отдохнешь на крес-с-сле! Гей, Левонтий!

Бочком влез Левонтий-немтырь. Огромные ножищи были обуты в сафьяновые ловкие сапожки, цветная кацавейка как та душа — нараспашку. Но глаза едучие, злые.

— Ы-а-а, — замычал Левонтий.

— Перекинулся, гад! Ваньку Тревогу обдурил! — кинулся Акимка на Левонтия, укусил в плечо.

Немтырь стерпел, ослабился, подхватил Акимку, как щеня, под мышку, понес в тайную комнату. По дороге из-за пазухи у Акимки выпал небольшой малеванный красками портрет. Степан Иванович подошел, коротко глянул: «Круглолица, златоволоса, глянуть бы, что у нее пониже шейки...»

Раздался Акимкин вопль. Шешковский прослезился. Однако, прочитав акафист Иисусу Сладчайшему, сердце быстро успокоил: дело есть дело!

* * *

Той же ночью, но уже не с Курского, а совсем с другого вокзала, в вагоне второго класса летел через весенние места костистый турчин в пиратской цветной бандане. На крюке — камуфляжная куртка, на коленях — вертлявая бабенка.

— Тут останусь, не вернусь к царице! — кричал, набулькивая себе полный стакан «Немировской», костистый турчин. — Вот те крест, останусь!

— Брось ты ее! Со мной какую хошь царицу забудешь. Кто она тебе, Савва Матвеич, жена, начальница?

— Владычица!

— А и дурак же ты, Савва! Ну прямо балбес натуральный! Бабы — они владычицами не бывают. Так, на часок, на минутку...

— Все одно тут останусь. — Опынев, Савва сорвал бандану: лоб голый, в затылочной ямке коротким мхом волосы зеленеют, голова набок клонится. — Каки там скворцы! Включай айпад, баба! Порнушку в коробочке смотреть будем. Какой, на хрен, Офир! Отпад, отпад мне нужен!

— Ох и ненасытный ты, Савва Матвеич, ох и рукастый. А ну, приברי руки, байстрик! Я сама включу. От приедем у Снегиревку, я тебе там такое видео покажу — оупеешь...



* * *

Скворец вернулся почти сразу, как пересекли границу. Правда, потом еще на полдня отлетал куда-то. Вечером ходил по голой клумбе, куда только что завезли свежий чернозем, перекрикивался с другим скворцом. Утром снова исчез.

— Сегодня Прощеное воскресенье. Второй



день мы здесь. И назвали же станцию: Красный Хутор. Холодно, вся дрожу, народ кругом подозрительный...

— На украинской стороне, в Казачьей Лопани, лучше было? Вот и скворец вернулся.

— Там я особо не рассматривалась. А здесь... Контрабандисты, мешочники. И запах невытых

тел. Он же стеной стоит! В гостиницу ты не хочешь. Денег полный карман, а сидим в грязи, как нищие. Очнись, Володя! Сейчас от народа подальше надо: порвут! И скворцу ты со своими вопросами надоел. Видишь? По чернозему ходит, с другим скворцом перекрикивается. И не похоже, что второй скворец — самка...

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сухой, как прошлогодний черно-розовый осино-
вый лист, встал ребром темноватый день. Галдеж
мешочников перерос в драку. Шустрый подро-
сток, подпрыгнув, врезал по физиономии здоро-
венному детине. Тот ответил. Заголосила баба с
дитенком. Совсем рядом взвился и загудел густой
шмелиный басок. Кирилла встrepенулась. Показа-
лось: среди мешочников, шмыгая кончиком криво
пришитого носа, мелькнул Иона Толстодух.

Кирилла привстала — Иона пропал. Баба
смоклала. Потасовка кончилась.

— Опять с утра какой-то сухой туман. Туман-
ная в этом году весна. А мешочники... Их не бой-
ся. Тут хлеб их. Меня другое терзает. Прогнал я
Ваньку Тревогу, как муху надоедливую, он меня
и послушался, навсегда сгинул! Сперва радовался,
думал, ушел из меня прожектер и надувала — хо-
рошо, весело будет. Разные ведь у нас характеры:
у меня — быстрый, суворовский, у него — степ-
ной, мечтательный. Вот я и думал: конфликт меж
нами зреет — необходим он и неизбежен. А те-
перь вижу — почвы для адской резни между нами
и нет! И характер мой словно бы ополовинился.
Скрытая и неразработанная часть его — сейчас
ясно вижу — мечтательная, поющая. А у Ваньки
скрытая часть характера — к быстроте и весело-
сти, к военной трубе льнет! Нужно мне теперь
нового Тревогу, нового выдумщика для утешения
души искать... Что, опять лаяться будешь? Так ведь
Прощеное воскресенье сегодня. Ладно, лайся, но
только тихо. Видишь? Стихи сочиняю...

Володя и впрямь уже второй день сочинял сти-
хи. Стихи не давались. Человека решил плюнуть,
отлупить Кириллу или лучше — поймать и принести
на станцию скворца за пазухой.

Вдруг на бумагу скакнули четыре строчки. За
ними еще, еще. Он показал написанное Кирилле,
та, не читая, смяла листок, кинула в урну.

— И правильно, чего бумажки копить. Я и так
помню:

Птицы ходят по земле.
Люди по небу летают.
Рыбаки кричат во мгле.
Рыбам чудо предвещают.

Ветхий мир и вкось и вдырь
Рвет, крошит себя на части,
Войны, беды и несчастья
Скоро лопнут, как волдырь.

Воля, вольный мир без скреп!
Без кровавых вожделений

И без яростных стремлений
Повязать всем черный креп.

Там, где Русь, — там и Офир!
Душетел и слов круженье,
И на всех одно стремленье:
Расколоть смертей кумир...

— Мир ветхий — вдыр-рь! Офир-р... Офир-
рон-н!

Тихий скверет вернувшегося скворца ободрил
Володю.

— Слышишь? И скворцу нравится. А ты кук-
сишься. Я и не думал, само вырвалось: где мы —
там Офир! Не ветхозаветный! Новый Офир, без
золота, без слез! Ты пойми: у птиц — нет веры.
Птицам надо ее дать. У человека — нет крыльев.
Крылья человеку нужно вернуть! Потому как без
них, без крохотных крыльев, мы своих грядущих
душетел — не учуем! И только когда людская
повадка с птичьей соединятся — ветхий мир рух-
нет. И мы... Мы...

— И куда нам теперь с такими дурацкими мыс-
лями деваться? Порешат ведь, раздавят! В Москве
разыскники Тайной экспедиции шуруют. Здесь —
контрабандисты с ширевом в рукавах!

— Разыскатели — они из расселины выступили.
Туда и уйдут. Может, и нет их уже в Москве. А на
электричке этой харьковской мы не поедem, опас-
но. Идем на трассу, оттуда в Белгород, а там...
Ты ведь в Черниговский скит хотела? Туда и отпра-
вимся. Потом — в Тобольск, а там снова в Москву.
Царство духа, как его ни называй — Офир ли, Рос-
сия ли небесная, — здесь!

— Вер-рно! Где Р-россия — там Офир-р! Не бу-
дет Р-россии — Офир-ру конец! Простор-р есть
воля! Воля есть простор-р!

Скворец спрыгнул с Володиного плеча и, те-
перь уже никому не подражая, свою собствен-
ную семенящую походку двинулся с переполнен-
ной станции вон.

Через час выглянуло солнце. Туман почти рас-
сеялся. Издалека, с небольшого пригорка, в спе-
циальный военный бинокль можно было увидеть:
идут по направлению к трассе мужик и баба, чуть
в стороне от них вьются змейки остатного жест-
коватого тумана, напоминающие контурами то
взбитые букли старинного парика, то завитки жел-
товатой собачьей шерсти.

Вслед за мужиком и бабой шел сильно устав-
ший, но все равно не желающий отставать от лю-
дей крупный, чуть растрепанный красноклювый и
синеперый скворец.

* * *

Два «подкидыша», два снайпера, хорошо замаскированные в ветвях густохвойной меловой сосны, росшей в километре от станции Казачья Лопань, просматривали через границу окрестности российского Красного Хутора. Зверски скучая, дразнили друг друга.

— Listen to my, Banji! When pigs flay? (Надорванный, сиповатый голос.)

— Тебя же просили говорить по-русски. (Голос округлый, маслянистый.)

— О'кей. Видишь тех двоих? Бабенку и парня? Левей, метров восемьсот отсюда.

— Ты просто живорез, Кристо! Зачем только согласился рядом с тобой в «гнездо» сесть? Мне ведь говорили: ты в Ираке по этой части отличился.

— Какой Ирак, Бэнджи! Мэйдан у меня за спиной. Но не в этом дело. Я хотел у тебя спросить: в родинку у бабенки за ухом отсюда попадешь?

— Сказано тебе: никакой стрельбы. Только прикинем, и все.

— А чуть подальше — птица. Минут тридцать за ними уже топает. Не странно тебе это? Я не пойму, у них что — птица ученая? The education bird?

— Когда снайперов вычисляют — им тут же конец. Тебе приказали: говорить только по-русски. В крайнем случае — по-хохлацки. Того, кто нам нужен, сегодня нет и не будет. Просто прикинем, что и как...

— Ты бы сам про снайперов помолчал. Называл бы их как-то иначе. Как это у русских? «Кукушки», что ли?

— Оно и видно: «кукушняк» у тебя напрочь слетел. Учил бы лучше современный русский сленг, пригодится.

— Уговорил, Леха Боханский... Коротше кажучи: була птица вчена, стала птица пэчена. — Кристо поправил оптику. — «Винторез», dammit. Никак не привыкну к этим русским винтовкам.

— А мне «Винторез» нравится. Завихрение пороховых газов небольшое. Глушитель весь ствол охватывает. Но сегодня — без выстрелов!

— Руки чешутся, Бэнджи.

— У тебя какой патрон в стволе, СП-5?

— Как говорят здешние, обижаешь, начальник! Бронебойный, СП-6.

— Так я и думал. Ты где-то здесь видишь танки, броню?

— Уймись, Бэнджи, на таком расстоянии — это все равно что дробью по воробьям. Глянул бы лучше на зайцев. Они там, у тебя за спиной... Я их сегодня в ложбине видел. — Сиповатый голос внезапно смолк.

Шпокнул выстрел, за ним еще один.

Кирилла упала на оба колена, как подрубленная. Володя тут же подхватил ее.

— Я — ничего, там... глянь. — Кирилла мотнула рукой вбок.

Володя обернулся: горстка перьев, оторванная и слегка пульсирующая лапка, красно-черный, жутко расплавленный клюв — все, что осталось от священного скворца, дымясь, шевелилось в небольшой, свежевскопанной ямке.

— Офир-р, Офир-рон! Сквор-р — знает где!.. Конец концов отсрочен! Ид-дем скор-рей! — молодым, еще слабо разработанным и оттого диковатым голосом в роще черной ольхи, в десяти шагах от Володи и Кириллы, крикнула незнакомая птица.

2014



Елена САЗАНОВИЧ

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член Союза писателей России, член Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор международного аналитического журнала «Геополитика».

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков «Лучшая книга 2008—2010 годов»; Союза писателей России «Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного литературного журнала TRAFIKA (Прага — Нью-Йорк).

Наряду с другими известными писателями и деятелями культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-ежегоднике «Женщины Москвы».



«Юность» продолжает развивать новую рубрику — «100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, что продолжаются споры вокруг предложения Владимира Путина о списке 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы. Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые почитать еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо больше. Но на эту сотню книг обратить внимание стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей.

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем вместе составить список 100 книг, которые потрясли мир и которые необходимо прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших писем! Всем спасибо за первые отклики!

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. «НА ДНЕ»

«Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них...» Он умер летом. Рано утром. Когда много солнца. Даже если ветер. Когда много тепла. Даже если дождь. Лето не отменяет смерть. Как жаль, что нет такого закона — отменить летом смерть. Ведь в «солнечный день не спрашивают — отчего светло...». Он был очень светлым человеком, взявшим такой горький псевдоним — Горький. Хотя мог остаться и Алексеем Максимовичем Пешковым. И все же — Максим Горький.

Может, потому, что была горька его судьба? Круглый сирота с одиннадцати лет. Посыльный при обувном магазине, посудник на пароходах, чертежник. Это его «Детство». И — странник. По донским степям, по Украине до Дуная. Через Крым и Северный Кавказ — в Тифлис. Чтобы быть «В людях». Пропаганда среди рабочих и крестьян,

участие в революционных кружках, написание прокламаций против самодержавия. Ссылка в Арзамас. И снова — «пусть сильнее грянет буря». За участие в революции 1905 года — Петропавловская крепость. Благодаря протесту русской и мировой общественности — освобождение и вынужденная эмиграция в Америку, в «Страну желтого дьявола». Наконец, амнистия и работа в большевистских газетах «Звезда» и «Правда». Это его «Мои университеты»... Писатель-самоучка стал величайшим, уникальным писателем своего времени, писателем от Бога. Он стал одним из образованнейших интеллигентов своего времени, он перечитал тысячи книг, статей заметок, обладая фантастической памятью...

Судьба его была горька? Как и у всей России. Пожалуй, псевдоним он взял от имени всей России. И тем самым низко поклонился в ноги всей России. Униженной и раздавленной. С очень горь-

кой судьбой. Где «все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего...». Где все люди были «На дне». И вся Россия поклонилась Горькому в ноги, потому что он когда-то сказал: «Настало время нужды в героическом». И, конечно, «Человек — это звучит гордо». А не горько. Даже если мы имеем теперь миллионы поводов для сомнений. Тогда, в летнее утро, в другой, советской стране уже никто не сомневался, что есть «Человек» человечества. И всегда будет.

Два дня страна прощалась с «буревестником революции» в Колонном зале Дома союзов. Два дня страна плакала. Торжественно сменялся почетный караул. В день похорон гроб к месту погребения несли Сталин и Молотов. И за ними — море людей с опущенными головами. В «Лето». И за ними «Мужик» и «Горемыка Павел». И за ними «Фома Гордеев» и Артамоновы, и Клим Самгин и «Макар Чудра». И еще «Трое». А также «Дед Архип и Ленка». И, конечно, «Челкаш» и «Старуха Изергиль». И даже «Мещане», и даже «Варвары», и даже «Враги». Но были и «Дачники», и «Дети солнца», «Егор Булычев и другие». И без сомнений, без сомнений гордо шла «Мать». И кто-то воодушевленно рассказывал «Сказки об Италии». А где-то высоко-высоко, от самого неба, в унисон звучали «Песня о Буревестнике» и «Песня о Соколе», и растворялась их романтично-бунтарская мелодия по всей Красной площади, по всей огромной стране. Эхом отзываясь во всем мире. А впереди похоронной процессии, безусловно, шел Данко, «высоко держа горящее сердце» писателя «и освещая им путь людям». И «оно пылало, как солнце». А замыкали траурную процессию люди, которые могли оказаться «На дне», но не оказались. В том числе благодаря Горькому.

Горький был единственным из советских писателей, который захоронен в Кремлевской стене. Редкая слава. Редкая... Не потому ли, что он пять раз номинировался на Нобелевскую премию. Не потому ли, что стал основателем социалистического реализма — литературного течения, уникального и неповторимого, увы, как и страна. И вообще — лидером новой литературы. С народным званием — Великий пролетарский писатель. Не потому ли, что Совет народных комиссаров СССР отметил литературные заслуги Горького особым актом, избрав в Коммунистическую академию. Или потому, что он вел активную общественно-организаторскую работу, основав большое количество печатных изданий и книжных серий, среди которых «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «История гражданской войны», «История фабрик и заводов». Или потому, что в 1934 году под председательством Горького проходил Первый Всесоюзный съезд советских писателей, сыгравший ключевую роль в образовании Союза советских писателей. Или потому, что по инициативе Горького был основан Литературный институт, затем названный его именем...

Да мало ли почему. Заслуг Горького перед Родиной не перечислить. И это вполне справедливо. Но не в них дело. Не только в них. Просто однажды Горький в своей, пожалуй, лучшей пьесе «На дне» сказал: «Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — человек за все платит сам, и потому он — свободен!.. Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Человек! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Человек! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!»

И все же псевдоним — горький... А у нас теперь так много появилось сладеньких псевдонимов. Но от них душе читателя почему-то становится только горше. И все больше людей, внимая сладеньким речам сладенькой интеллигенции, оказываются «На дне».

Мы все можем оказаться на дне. В любой день, в любую погоду. Драма Горького «На дне» была написана более ста десяти лет назад. Но ее возраст так ничего и не отменил. Не отменил дно. И людей на нем. Поэтому пьеса имела такой ошеломляющий, феноменальный успех. И с феноменальным успехом обошла все театры (а потом и кинотеатры) мира. Пьеса в одночасье разбила все границы. Уравнивала все социальные сословия. Она стала воистину интернациональной пьесой. Каждый может оказаться на дне. И Барон, и Актер. И содержатель ночлежки. И слесарь. И торговка. И картузник. И сапожник. И полицейский. И богоугодный странник. «Без имени нет человека». Впрочем, далеко не только... На самом дне в любой стране могут оказаться и принц, и шоумен. И хозяин казино, и священнослужитель. И владелец супермаркета, и генерал. И даже президент, например, Украины или США. А что тут такого? Есть народная мудрость (а народ никогда не ошибается): от тюрьмы и сумы не зарекайся. От этого никто не застрахован. Нет такой страховки. Даже за миллиард долларов. Даже если взорвать полмира. Одним жестом, легко в любом уголке земного шара можно английский пиджак запросто поменять на

тряпье или арестантскую робу. А то и вовсе — на петлю. Это на земле все неравны. А под землей очень даже. Как и «На дне».

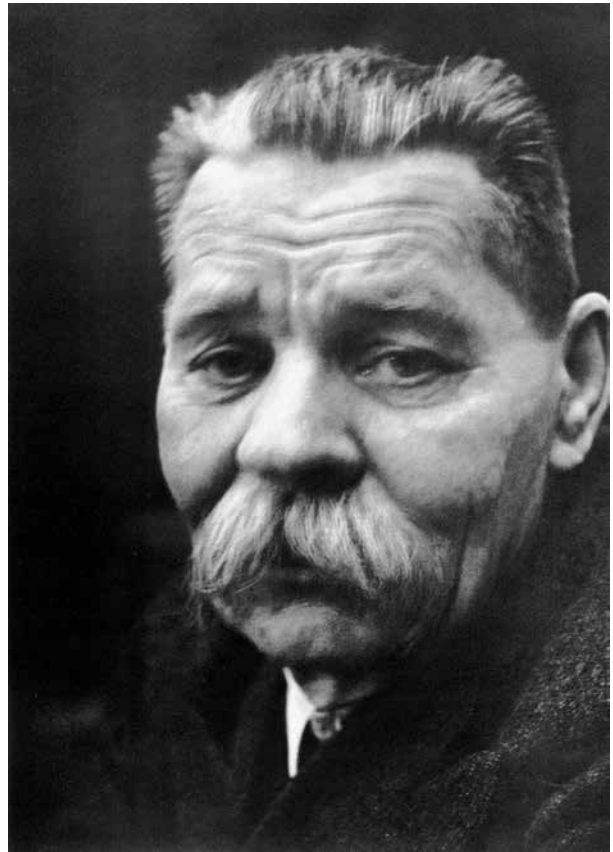
Горький не ошибся. Его пьеса выстрелила метко. И попала в весь мир. И в его гниющие философии, точнее — антифилософии. И в его сладенькие лживенькие идеи, точнее — безыдейности. Максим Горький, этот идеологический романтик, написал настолько обнаженную пьесу, довел ее до такой степени реализма, что реализм превратился в нечто особое, нечто уникальное. Чуть ли не в авангардизм. А авангард редко у кого получается — он по себе слишком искусственен. Настоящий авангард рождается только из настоящего реализма. И это доступно только гениям...

Это пьеса о горькой правде. И о сладкой лжи. Они борются, впрочем, не так уж отчаянно. И побеждает ложь. Все как всегда. В пьесе все врут, чтобы спастись. «Видно, вранье-то... приятнее правды...» Горький смотрит на своих персонажей со стороны. Иногда кажется, он никому не сочувствует. Потому что они принимают это «расписание жизни». И истине предпочитают утешительную ложь. Потому что «безумству храбрых» предпочитают «мудрость кротких».

«К л е щ : Какая — правда? Где — правда? (Трепет лет руками лохмотья на себе.) Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанища... пристанища нету! Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне — правду? Жить — дьявол — жить нельзя... вот она — правда!..»

Что ж — тогда ложь. И ее явление в образе Луки. Не святого Луки. А Луки лукавого. Вот он, акцент — не путать настоящую религию с религиозным лукавством. Эх, как сладенько журчит Лука о «земле праведной». Просто вот есть, и все, этакая «праведная земля» с «хорошими людьми». И это журчание как-то принижает людей, парализует их волю к борьбе, гипнотизирует на смирение. Увы, но смирение обрекает на дно. Без усилий, моральных, физических, идейных, со дна не выбраться. А Лука все журчит и журчит. И ему поверили. А кто-то настолько поверил, что взял и повесился. Когда понял: нет такой «праведной земли», нет. И не было. Иллюзии убивают. Правда тоже часто убивает. Но если ее принимаешь, то во всяком случае есть шанс самому убить зло.

Ложь Луки «во спасение» приближает жителей ночлежки к неизбежной трагедии. И эта трагедия разгорается именно тогда, когда они свято уверовали в тепленькие стариковские сказочки. Поверили в любовь, в работу, в прекрасную землю. И во



обще, что на этой земле можно еще излечиться. Ружье, заряженное ложью, выстрелило. Ваську Пепла ждет каторга за убийство Костылева. Во имя любви. Наташу наверняка ждет психиатрическая лечебница. А Актер просто удавился. Слишком много мечтал под елейные проповеди несвятого Луки. «Эх... испортил песню... дур-рак!» И во имя чего? А старикашка просто смылся, ловко разыграв очередную трагедию и умыв руки... И был ли мальчик? И куда он теперь подается со своим приторным язычком? (Типун ему на язык.) Со своей котомочкой да чайничком?

Как-то в середине пьесы Пепел спросил его: «Куда теперь?» Лука: «В хохлы... Слышал я — открыли там новую веру... поглядеть надо... да!..» Вот он и поглядит. Может, мать, потерявшую детей в Донбассе под обстрелами неонацистов, успокоит. Мол, ничего, ты терпи. Им на небушке, деткам твоим, хорошо будет. С хлебушком. Лучше, чем здесь. Может, слезливынко поглядит старик на сгоревший Дом профсоюзов в Одессе, перекрестится: «На все воля Божья...» А может, и вовсе прожурчит ополченцам свою старую песенку о чудесной земле, где живут «хорошие люди». Пусть они сложат оружие, плюнут на все и пойдут,

отыщут этот райский уголок. И заживут долго и счастливо. Можно и Ване из Донецка что-нибудь тепленькое промурлыкать. Мол, простить всех врагов надо и смириться...

Максим Горький в свое время странствовал по Украине. Дружил со многими украинскими писателями. Помогал печататься многим украинским авторам в русских переводах, содействовал изданию «Кобзаря» Тараса Шевченко, а в юности организовал в селе Мануйловка на Полтавщине хор и самодеятельный украинский театр, даже сам исполнял роли в пьесе «Мартын Боруля». Он даже знал украинский язык. Он дружил с Михаилом Коцюбинским. И когда классик украинской литературы умер, Горький написал: «Смертен человек, народ бессмертен. Глубокий мой поклон народу Украины».

Что бы он написал теперь? Или же, встретив на руинах городов и поселков Новороссии своего старенького умильного персонажа — лука-

вого Луку, — просто хорошенько ему бы врезал? И процитировал себя же: «Рожденный ползать — летать не может». Ползи, лукавый Лука, и дальше по миру... А всей киевской хунте, разжигающей войну против собственного народа, продекларировал из «Легенды о Марко»: «А вы на земле проживете, / Как черви слепые живут: / Ни сказок о вас не расскажут, / Ни песен про вас не споют...»

Как-то Ромен Роллан написал своему лучшему другу Максиму Горькому: «Вы были словно высокая арка, переброшенная между двумя мирами — прошлым и будущим, а также между Россией и Западом». Прошлое и будущее — для бессмертных писателей. Потому что они сумели познать настоящее. Потому что только они своим творчеством смогли разрушить границы между Россией и Западом. Это, безусловно, про Горького. Как, безусловно, и еще про 99 писателей, которые потрясли мир.


Виктор ШИРОКОВ

Виктор Широков родился в 1945 году. Поэт, переводчик, литературный критик. Публикуется как поэт с 1964 года. Первая публикация стихотворений в журнале «Юность» состоялась сорок пять лет назад.

Автор восемнадцати стихотворных книг, шести книг прозы и более тридцати книг переводов мировой поэзии. Переводил с английского стихотворения Р. Киплинга, О. Уайльда, Д. Китса, Р. Бернса, Э. Паунда, А. Хаусмана, В. Набокова, Х. Крейна, Э. Дикинсон и других.

В 1977 году был приглашен в «Литературную газету», где работал сначала старшим редактором отдела литератур народов СССР, потом — старшим редактором отдела литературных публикаций редакции «ЛГ» до конца 1981 года.

С 2001 по 2004 год снова в «Литературной газете», главный редактор редакции книжных изданий «ЛГ».

Член Союза писателей России. Лауреат премии имени Валентина Катаева (2002) за прозу. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Н. Заболоцкого (2004) за книгу стихотворений «Иглы мглы».

СОВЕСТЬ ЯЗЫКА

Поэзия — протей, ее можно почувствовать и прочувствовать, но трудно обозначить и вогнать в определенные параметры. Блестящий В. В. Маяковский обмолвился: «Пресволочнейшая штукавина: существует, и ни в зуб ногой!» Великий А. С. Пушкин утверждал: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв».

Сегодня, если и вспомнят про вдохновенье, то молитвы очно и заочно отвергнуты, а сладкие звуки оставлены разве что поэтам-песенникам.

В юности я нередко сочинял стихи о стихах, стихи о поэтах и, как оказалось, сегодня пребываю все в той же позиции. Емкая поэтическая формула всегда нагляднее развернутого эссе.

В последнем альманахе «День поэзии» опубликовано мое стихотворение «Мечта», начинающееся: «Поэзия, греческой губкой в присосках ты мне не была... Отражая нападки, я вырос, как Слуцкий, в пыли и в обносках, хотя и размахивал чистой тетрадкой».

Здесь четко обозначены границы ученичества, преодоления и преемственности.

Сегодня поэзия для меня не только возможность самовыражения, но и огромный нравственный императив. Позвольте в завершение привести полностью недавний сонет «Совесть»:

Поэзия пережила века.
Стихи мы знаем и Афин и Рима.
И каждая волшебная строка
поистине, друзья, неповторима.
Смешно — жизнь человека коротка
и с долгожитием книжным несравнима;
и грустно — то, что создала рука,
создателя пережило без грима.
Поэзия всегда летит, легка,
и в то же время образна и зрима.
Вот так плывут по небу облака,
не очернит их даже струйка дыма.
Поэзия, ты — совесть языка,
понятна, хоть с трудом переводима.

Виктор Широков

ПЕРЕМОГА ВЕСНЫ

Я готов рассказать без опаски,
невзирая на снежную пыль,
что кончается зимняя сказка,
что начнется весенняя быль.

Что не надо уже о минувшем
вообще ничего вспоминать;
люди будут отныне, проснувшись,
танцевать, танцевать, танцевать.

Мы пройдем по остывшему следу,
что оставила ночью судьба,
наблюдая агонию снега,
наблюдая агонию льда.

Настроенье у нас боевито,
мы готовы пройти пол-Земли;
небо с солнышком жовто-блакитны,
но свидомых оставим вдали.

Здесь бы вставить одну из пословиц,
как нельзя обойтись без зверья;
хватит нам уже междоусобиц,
перемога нужна нам своя.

Пусть наступит всеобщее счастье,
радость женщин, детей и мужчин;
мы простим неразумных отчасти,
даже тост мы поддержим: чин-чин.

И не надо уже о минувшем
вообще ничего вспоминать;
люди будут отныне, проснувшись,
танцевать, танцевать, танцевать.

БЕРЕТ

Воспоминаний мутная вода
дрожит, как струны в дедовском рояле...
В широкополых шляпах никогда
ровесники мои не щеголяли.

Чтоб все припомнить, надо много сил,
ведь в памяти давно дыра сквозная...
До школы тубетейку я носил,
а почему, увы, и сам не знаю.

Потом явилась кепочек пора,
запомнил козырёчек из резины,
в блатной замес легко пошла игра:
зуб золотой и пиво в магазине.

Летела жизнь стремглав. Осьмнадцать лет.
Студент. Любовь. Заканчивалось лето,
когда примерил роковой берет...
Художники не могут без берета.

Тогда еще не ведал, что пою,
когда судьба вдруг к свету потянулась;
с беретом фотографию мою
читателям явил журналчик «Юность».

Я головных уборов относил
с тех пор не счесть, увы, каких и сколько.
Понятно, что берет всех больше мил,
но не надену и его с наскока.

В душе не сдался вьюнош удалой,
он не стыдится вылезть попугаем.
Шагаю с непокрытой головой.
Седой и лысый, девушек пугая.

Что ж, чувства мной не пущены в распыл,
и головной убор не брошен на пол...
Не страшно, что я шляпу не носил,
зато и жизнь как будто не прошляпил.

Поиски

Мальчиком я логику искал
в разных человеческих поступках,
но встречал лишь яростный оскал
теток с повредившимся рассудком.

Юношей я логику искал
в самых разных философских книгах,
но итог всегда был очень мал,
оставались истины в веригах.

Будучи мужчиной молодым,
логику искал в житейских лужах,
то стрезва, а то и пьяным в дым,
но опять ее не обнаружил.

Пожилым я логику ищу,
вновь жизнеустройства разбирая,

и уже нисколько не грущу
в ожиданье ада или рая.

Мне сейчас с вершины лет видней:
не бывает логика безличной,
в ней отражено течение дней,
а души стремленье безразлично.

Ставит время четкую печать,
поиски не проведешь заочно...
Если бы пришлось мне вновь начать,
я бы ошибался так же точно.

Вопросы

Человечество к неясной цели
тянется и с каждым днем сильней...
Почему так люди озверели
и порой животные добрей?

У меня вопросов вереницы
мозг буравят, истину тая.
Почему летят на зиму птицы
непреренно в теплые края?

Раньше мы представить не могли бы,
что исход узнаем наперед.
Почему молчат упорно рыбы
о своих проблемах круглый год?

Ведь и мы таим свои вопросы,
хоть не соглашаемся с бедой.
Тают приполярные торосы,
и земля сменяется водой.

Если б камни говорить умели,
рассказали бы они скорей,
почему так люди озверели
и порой животные добрей.

Это раньше жили мы, играя
и легко мечтая невпопад.
Кончен бал. Нас выгнали из рая,
и сейчас, где мы, там сущий ад.

СТАКАН ВОДЫ

Опять стою, как истукан
в музейном зале.
А где же тот воды стакан,
Что обещали?

Я столько жил. Я столько ждал.
Я столько верил.
Стакан дадут или бокал?
Я глазом мерил.

И вот заслуженный уют.
Народ смеется.
Стакан воды мне подают.
А мне не пьется.

ПАРАДОКС

Вроде мы помирились с немцами,
но война не какой-то бокс...
Для меня юбилей Освенцима —
это нравственный парадокс.

СОЧЕЛЬНИК

Тепло мне. На кухне царит благодать.
Морозный сочельник в столице опять.

Не верится, что лишь неделю назад
лил дождь, таял снег и туманился взгляд.

Как тихо в округе и тихо в Кремле!
Что слышит Россия в предутренней мгле?

Не пенье метели, не снежный обвал,
а то, что младенец в Марии взыграл.

Он к свету стремится, Он выйдет на свет,
чтоб стать обещаьем духовных побед.

И люди затеют справлять торжество —
ведь праздник светлейший для них Рождество.

И время уже по-другому бежит,
покуда Младенец в яслях возлежит.

Земля не меняет природный покров,
пока Он лежит в ожиданье волхвов.

Что времени мера пред ликом Его?
Лишь чистая вера дороже всего.

Я этою верой был в детстве согрет.
Доныне тепло мне и в семьдесят лет.

Тепло мне. Господня светла благодать.
Морозный сочельник в России опять.

Рождество

Жизнь часто тянется убого,
но все меняет волшебство —
приходит день рожденья Бога,
зовется просто — Рождество.

Когда услышишь эту фразу,
свет солнца ослепит глаза;
в душе возникнет радость сразу,
и заглушить ее нельзя.

Родился Бог... Пока он — мальчик,
и чудо, может, только в том,
что день рождения обманчив,
ведь должно погибать Христом.

Пускай сегодня скудный ужин,
родители и три волхва,
но согревает в эту стужу
живая радость Рождества.

Заката отблески скупые
сплотят притихшие дворы,
то Дух Святой явил впервые
новорожденные дары.

На небе звезды тихо гасли.
Остался в прошлом Новый год.
И словно обнимает ясли
животных верных хоровод.

Какое теплое дыханье!
Как мысль мелькнувшая быстра!
И нежное благоуханье
вблизи горящего костра.

Остался праздник без развязки.
Лишь ветер режущий суров.
Младенец смотрит без опаски.
Он ко всему уже готов.

КРЕЩЕНСКИЙ ГОЛУБЬ

Зря подумал я о Блоке
и о Лермонтове зря...
Видишь, снова на востоке
тонкогубая заря
улыбается надменно,
мол, уже вблизи беда,
ведь в Крещение неизменно
наступают холода.
Вновь зима крушит деревья,
вызывая в жилах дрожь.
Холод входит в подреберье
остро, как сапожный нож.
Он резвится, он хлопочет,
щедро выпуская кровь;
он в любви признаться хочет,
вот последняя любовь.
Холод очень неудобен.
Он как морок. Он как глад.
Ветер воет, дик и злобен,
как сто лет тому назад.
Или двести. Или триста.
Иль еще до Рождества.
До чего же он неистов,
ветер нового поста!
Ладно бы — метаморфозы.
но хитрит природы гнет.
Шлет то пекло, то морозы,
то вдруг ливнями пугнет.
Не пугайтесь, мол, измена.
Было, будет, есть всегда,
ведь в Крещение неизменно
наступают холода.
Обожаю приключенья
и природу не виню,
остро чувствую влечение
окунуться в полынью.
А вернее — прыгнуть в прорубь,
чтобы позже, огнешёк,
прилетел к любимой голубь,
в клюве принеся цветок.

Монолог

Умер Демис Руссос. Хлад по коже.
Он же на год был меня моложе.
Крепок. В разуме. Вполне успешен.
Мне бы лишь завидовать. Но, грешен,
новости смотрю... Переживаю,
слишком многих я переживаю.
Чувствую, что перебрал, зажился.
Даже спать пока что не ложился.
Не несу я радости народу.
Потребляю много кислорода.
Но не буду к самоочищенью
прибегать... За что прошу прощенья.
Все умрем. И я готов, поверьте,
даже как-то притерпелся к смерти.
Вот она, безноса. На взгорке.
Смотрит на закат мой жизнестойкий.
Улыбаясь, как родному внуку.
Я скажу спасибо за науку
стойкости, науку выживания.
Смертушка, пока что до свиданья.
И, пожалуй, водочки налейте.
Все умрем. И я готов, поверьте.

Эквилибристика

Как верил я всегда в звезду мою!
Другие вовсе не чета ей.
Но с каждым днем все меньше думаю.
Пожалуй, больше не читаю.

Вы скажете, что это мистика.
Обыденность глухонемая.
Словесная эквилибристика
меня все больше занимает.

Давно пленяет рифма точная...
Откуда же, скажи на милость,
душа игривая восточная
в меня легко переместилась?

Из Самарканда луноликого,
из Бухары сребролюбивой
я мастерство привез и выковал
клинок словесный всем на диво?

Иду с улыбкою зубастою.
Вокруг сплошные куклы Вуду.
Простите, что немного хвастаю.
Я больше никогда не буду.

Ведь с каждым днем все меньше думаю.
А книжки вовсе не читаю.
Но верю до сих пор в звезду мою.
Другие вовсе не чета ей.



Станислав АСЕЕВ

Продолжение. Начало в № 1, 2 за 2015 год

МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ

РОМАН-АВТОБИОГРАФИЯ

Рисунок Юлии Спасовской

ГЛАВА 6. ДОКТОР ВАЛЬДМАН И ДРУГИЕ

Это был холодный мокрый вечер конца сентября. На улице моросил дождь, время от времени сменяясь раскатами грома и лиловыми вспышками неба, в мерцании которого были видны гнущиеся от ветра ивы. В то время бабушка лежала в больнице, и меня попросили отвезти ей еду, дабы она могла поужинать вкусным салатом и хрустящим молочным окороком.

Больница располагалась на окраине Донецка. Весь день небо куталось свинцовыми тучами, невольно предвещавшими мою собственную скорую госпитализацию. В общем, в тот день зонта у меня не оказалось, и когда я уже отправился обратно домой, ударил такой ливень, что я едва добежал до автобусной остановки. Благополучно проехав часть пути, я сошел для пересадки, но из-за позднего времени с разочарованием обнаружил, что нужный мне маршрут уже час как не ходит, и я вынужден был пройти пару километров под проливным дождем по совершенно пустым и темным сентябрьским улицам.

Конечно, я заболел. Однако с моей удачей это не могла быть простая простуда, и я подхватил воспаление легких. После недельного курса тяжелых антибиотиков и еще одной недели лечения все-

возможными травами я, наконец, стал понемногу приходить в себя, и от тяжелого недуга остался лишь один-единственный симптом — легкое покашливание, на которое после перенесенной болезни никто не обратил серьезного внимания.

Но шли месяцы, а кашель не проходил. Более того, в отдельные дни, когда я был особенно подавлен или чем-то расстроен, он становился просто невыносимым, раздражая абсолютно всех, включая меня самого. Теперь, по прошествии многих лет, я почти перестал его замечать, и все мои близкие уже окончательно смирились с его присутствием в нашей семье, словно это был отысканный дальний родственник, чье отсутствие огорчало лишь его самого, — но тогда все это вызывало крайнюю озабоченность, из-за чего я целый год посещал всевозможных врачей, пытаясь избавиться от незваного гостя. Фтизиатр, инфекционист, аллерголог, терапевт, невропатолог, кардиолог, гематолог, десятки анализов, включая СПИД, на который я проверился инкогнито после намека одного из врачей, сказавшего, что раз уж все возможные причины отвергнуты, стоит проверить и это, — и ни единого результата за целый год! Боже, я выпил целую цистерну таблеток, по-

глотил не один десяток флаконов с настойками и сиропами, за все это время исчерпав все чистые листки в моей и без того не худой медицинской карте, — и никто, ровным счетом никто не мог сказать, что же со мной не так!

Наконец, после того как мои скитания по областным лазаретам грозили перейти на второй круг, нам с матерью предложили посетить одно необычное место, где, быть может, у меня была последняя надежда на благополучный исход. Попросту говоря, местом этим оказался городской дурдом, при котором действовало нечто вроде реабилитационного центра для не вполне обычных людей.

Когда я впервые прибыл в психиатрическую клинику, место это показалось мне весьма мрачным и скучным: территория, находившаяся в центре небольшого леска на самой окраине города, была обнесена старым кирпичным забором. Из-за оконных решеток, вставленных почему-то лишь на втором этаже, выглядывали маленькие, побритые наголо люди, создавая ощущение абсолютной нереальности происходящего: лица их были окутаны скорбью, и лишь один из них рассеянно улыбался, поглаживая плечо под полосатой рубашкой. Продвигаясь вглубь клиники, мы не встретили ни одного человека на своем пути, отчего сложилось впечатление совершенной пустынности этих мест, которые впоследствии полюбились мне настолько, что я даже специально пару раз возвращался сюда уже после сеансов и просиживал по несколько часов на небольшом бревне у ручья.

Пару слов о моем враче. Кроме смешной прибалтийской фамилии, он имел тонкий вытянутый нос, узкие брови, исчезающие где-то в глубине глазных яблок, темные серые глаза и аккуратную короткую стрижку и создавал впечатление весьма хмурого и дотошного человека. Но особенность его была не в этом. Он выглядел как невероятно усталый и измученный жизнью человек, словно необыкновенная профессия заставляла его сталкиваться с чем-то обыденным и приевшимся до глубины души, так что даже самый изощренный псих на этом свете более не мог потревожить его безмятежного покоя. Из-за этой всепоглощающей усталости на его лице с самого начала я чувствовал себя неловко, ибо понимал, что являюсь частью его тусклых серых зрачков, в которых теперь отражался со все тем же неприятательным жизненным блеском. Вместе с тем беседа с моей матерью он вел вполне заинтересованно, не проявляя даже малейшей доли презрения, если такое и было у него на уме.

После рассказа о наших похождениях по различным клиникам мать произвела душещипательное повествование о том, как я мучаюсь во время ночных приступов кашля, терзающих меня в определенные периоды моей жизни, и, расплакавшись, стала уверять моего нового врача, что он наша последняя надежда.

Тем временем сам я не спускал глаз с его рук: мне все время казалось, что вот-вот он достанет толстую бриаровую трубку и пустит вверх густые кольца дыма, слегка прищурив левый глаз. Но этого не происходило: вместо трубки доктор Литкурнис вынул из кармана белого халата маленькие аккуратные очки и, надев их себе на нос и слегка сдвинув книзу, посмотрел на меня тонким пронзительным взглядом, притом без малейшей доли иронии или лукавства.

— Итак, скажите мне, молодой человек, — вдруг начал он, — почему вы здесь?

— Из-за кашля, — не задумываясь, ответил я.

Он утвердительно качнул головой.

— Кашель... Что же, по-вашему, у вас нет никаких проблем, кроме физических?

— Нет, я совершенно уверен, что они есть, но к моему кашлю не имеют никакого отношения, — гордо ответил я, после чего на лице моего врача мелькнула едва заметная улыбка.

— Скажите, доктор, вы совершенно уверены, что мы вылечимся от кашля? — все еще всхлипывая, произнесла моя мать.

И тут, друзья мои, я должен сделать некоторое отступление. «Мы». Если когда-нибудь вы окажетесь в кабинете психиатра вместе со своей матерью, не отличающей вашу семнадцатилетнюю личность от своей собственной, — знайте, что на вас все еще смотрят как на грудного младенца, чье бесправное тельце можно объять в одной слащавой фотографии с замечательной надписью «Нам четыре месяца», словно не чающая души в своем чаде молодая мама немногим старше своего малыша. Эта привычка отождествлять себя со своими детьми обычно выливается в то, что в далеком будущем эти самые дети, обернутые плотью своих матерей даже спустя двадцать лет после рождения, инстинктивно сторонятся той самой связи, которая должна была бы естественным образом соединять их со своими родителями, готовыми на все, лишь бы мерки их собственных душ совпадали с душой их потомства. Какого черта я должен делить заслугу своего собственного кашля с кем-то еще, пускай и связанного со мной кровным родством? Это только я, и никто больше, задыхаюсь от ночных спазмов в своей душевной комнатенке, и каждый приступ моего тела принадлежит исклю-



чительно мне, и уж тем более тогда, когда кроме него у меня больше ничего нет. Черт, в тот момент я почти гордился своим неврозом, который наверняка отличал меня от моей матери, несмотря на текущую в наших жилах единую кровь.

Но следует отдать должное невозмутимому лицу моего врача: несмотря на всю истерику, устроенную матерью в его кабинете, он по-прежнему сидел с ледяным лицом и так же холодно произнес в ответ:

— Да. Но повторяю: кашель — это не главное. Я вижу здесь серьезный внутрилличностный конфликт.

Неизвестно, как этот самый конфликт был рассмотрен седым провидцем на моем лице, ибо я успел сказать о себе лишь пару несущественных фраз, но он оказался абсолютно прав: моя личность переживала не лучшие времена, и тот факт,

что кашель и по сей день присутствует в моей жизни, лишь подтверждает качество советской медицины.

После короткого разговора, в котором я был вынужден не один раз засвидетельствовать свое искреннее желание посещать это заведение, меня записали в группу ароматерапии, которая должна была предшествовать серьезной психоаналитической работе. Все сеансы проходили здесь же, на третьем этаже, где я прошел целый ряд тестов и заполнил несколько анкет, устроенных таким образом, что одни и те же вопросы в них повторялись в разных формулировках, так что если вы решили о чем-то солгать, то должны были помнить все три сотни ответов, которые вы давали в предыдущей анкете.

Кроме вопросников, я занимался тем, что искал общее между рыбой, столом и шкафом, обобщая последнее в мебель, а также силясь отыскать синоним к числу 4, назвав 57, чем вызвал улыбку у прекрасной юной лаборантки, по всей видимости, проходившей здесь университетскую практику. Что же до пятидесяти семи, то число это я назвал из тех соображений, что раз уж для цифр в принципе не существует ни синонимов, ни антонимов, то нет и никакой разницы, каким будет ответ на абсурдный вопрос. Но подвох оказался в другом.

В светлой, даже чересчур яркой комнате стоял небольшой столик, на котором в прямоугольном деревянном ящике, напоминавшем маленькую песочницу, были разбросаны разнообразные игрушки: деревья, машинки, фигурки маленьких человечков, животные, доисторические динозавры и прочее. Едва мы уселись за стол, как мне было предложено создать сказочный лес из описанного выше подручного материала. Яркая, почти такого же цвета, как и сама комната, улыбка на моих устах тут же встретила милое подергивание губ моего юного терапевта — и я принялся за работу.

Достав из песочницы несколько деревьев, я расположил их случайным образом на столе и торжественно заявил, что дело сделано. Но не тут-то было: так просто мне не удалось избавиться от симпатичной «мисс Фрейд», и я тут же был вынужден объяснять, в чем же проявляется необычайность выстроенного мной массива. Вообще, ситуация начинала меня раздражать: я, без двух минут специалист по метафизике, прибывший в их дурдом прямоком с лекций об Аристотеле и Лейбнице, должен разъяснять чудесные свойства пластмассовых пальм? Высокомерие и гнев вынудили меня молча достать еще несколько фигурок животных из коробки и заявить о том, что

сказочность леса в том и состоит, что в нем живут сказочные животные, наделенные необычными свойствами.

— В чем же их необычность? — без доли иронии спросил меня мой прелестный собеседник.

— Они могут летать.

— Кто? Эти медведи?

Разговор о летающих медведях окончательно выбил меня из колеи, и я решил избрать тактику наименьшего сопротивления.

— Да, — гордо ответил я, — они ведь сказочные.

— Да, конечно. Но зачем им это? Зачем им уметь летать?

— Чтобы улететь, — ответил я с уже нескрываемой очевидностью.

— Улететь? Куда?

— Из сказочного леса.

— Но если этот лес сказочный, зачем же им отсюда улетать? — с улыбкой пролепетала юная леди.

Я был захвачен врасплох. Мое презрение к женскому полу в очередной раз обернулось против меня самого и выставило меня полным идиотом, который попался на такой незамысловатый крючок. Все стало кристально ясно: меня провели. Но не прошло и четверти часа, как я вновь наступил на те же самые грабли и снова, не опасаясь подвоха, приоткрыл покосившиеся двери своей наивной души.

Следующим моим заданием стало создание из тех же игрушек модели моего будущего, а точнее — того, как я сам его видел. И вновь доверчиво отковырял я на дне ящика пластмассовый белый домик, взгромоздив около него две маленькие пальмы и фиолетовый пежо.

— И это все? — удивленно спросила она.

— Именно так, — гордо ответил я.

— Но где же здесь люди? Вы не поставили ни одного человека рядом с собой. Более того, вас я здесь тоже не вижу.

Я чуть было не расплакался от обиды. Таким идиотом я не чувствовал себя уже давно! Весь мой аутизм и асоциальность, которые я так тщательно собирался скрывать от этих людей, пытаюсь показать себя абсолютно нормальным, — все это стало понятным за считанные часы, которые я успел провести в этом заведении. Но лишь теперь мне становится ясно, насколько прав был мой психотерапевт, настаивая на том, что я все еще не готов к самому психоанализу: если вы воспринимаете врача как врага или, по крайней мере, противника, не может быть и речи о доверительных отношениях, являющихся залогом полноценного сеанса. Но

ведь и господин Фрейд не предполагал, что его пациенты будут добираться к нему тремя маршрутками и трамваем, тратя по три часа в день на одну только дорогу в этот помешанный лес. В общем, жадность и лень в очередной раз взяли надо мной верх, и я променял спокойную жизнь без кашля на несколько гривен и три часа свободного времени, которое большей частью и до сих пор трачу на все то же покашливание.

Однако перейдем к приятным маслам. В небольшой затемненной комнате собирались несколько человек — пятеро или шестеро, включая меня самого, которые рассаживались вокруг маленького стеклянного столика и не произносили ни звука, пока сам терапевт не нарушал повисшей тишины.

Комната плыла в полумраке, окна были затянуты плотными бордовыми занавесками, создавая ощущение покоя и вообще всячески располагая ко сну. За столиком располагались те, чьим душам более не помогали увещевания бульварных газетенок со статьями вроде «Как обрести самого себя» или «Улыбка — ключ к успеху», а на столе прекрасная девушка-лаборант в белом халате, большей частью носившая элегантные узкие платья, зажигала ароматические масла, дымившие белым туманом в тишине багровых огней.

Сам же сеанс ароматной терапии заключался в том, что пациенты рассаживались как можно удобнее в своих креслах, закрывали глаза и пытались представить себе ту удивительную картинку, которую наш юный терапевт нашептывал им тихим приятным голосом, произнося каждое слово так, будто это был вовсе не дурдом, а шикарный бордель, где удовольствие достигается исключительно через слух. И все это, конечно же, вливалось в наши души под приятную расслабляющую музыку и запах тонущих в весенних ветрах абрикосов.

Не знаю, как чувствовали себя остальные ненормальные из нашей дружной компании, но сам я с первого дня невзлюбил эту процедуру, казавшуюся мне просто гестаповской пыткой, до глубины души. Все дело в том, что едва я закрывал глаза и пытался хоть как-то расслабиться, как мне тут же казалось, что эта милая девушка смотрит мне прямо в лицо, продолжая нашептывать привычные зауспокойные речи. И в самом деле — не могла же она смотреть на потолок, тем самым подавая заявку на присоединение к остальным сумасшедшим? Нет и еще раз нет — она смотрела прямо на нас, я был в этом полностью уверен! Но едва меня посещала эта мысль, как я был готов расплыться в блаженной улыбке, отчего просто вцеплялся в ручки кресла и сдавливал скулы от душившего

меня смеха из-за общей картины действительности. Расслабиться не удавалось, и всякий раз, приходя на очередной сеанс дымящих паров и музыки Шуберта, я был встревожен куда менее, чем по окончании целительной процедуры.

Из моих коллег по дурдому мне запомнился лишь один плотный мужчина, выделявшийся среди прочих тем, что панически боялся смерти. Бедняга было лет сорок, не меньше. Сидел он в тонкой клетчатой рубашке и толстых стеклянных очках, создавая впечатление абсолютного психа, танцующего голышом в своей квартире на пару с цветком орхидеи. Впрочем, мне ли говорить об орхидеях? Ведь он мог оказаться вполне нормальным парнем (что вряд ли), тогда как у меня самого еще не сошли синяки со спины.

Как бы там ни было, а узнал я о его фобии совершенно случайно, когда вдруг, без предварительной беседы, наш юный терапевт, повернувшись к толстяку, произнесла:

— Точно так и смерть, это совершенно естественно, вы не должны этого бояться. В конце концов, мы все через это пройдем.

Бедняга чуть не задохнулся. Было видно, сколь обратный эффект имели для него эти слова, подогрев его кровь до температуры каирского полдня.

Что вам сказать? Как и все на этом свете, со временем сумасшедший дом стал казаться мне совершенной обыденностью, чьи хмурые стены перестали таить в себе ощущение новизны и сюрприза. Время от времени я встречал на его территории пациентов с блуждающими взглядами, но даже это небольшое развлечение не спасало меня от скуки и необходимости выслушивать совершеннейшую чепуху, лившуюся из уст моих ароматных коллег. На эти сеансы я ездил чуть больше недели, раз за разом интересуясь у моего психиатра, когда же наконец мы перейдем к самому психоанализу, ибо жара и набитые трамваи уже успели мне порядком поднадоесть. Но все, что я слышал от невозмутимых очков в золотистой оправе, так это то, что я все еще не готов к основной работе, и это раздражало меня неимоверно, ибо с самого начала я изъявлял желание вступить в запутанные лабиринты моей темной души, перед тем с гордостью вооружившись цитатами из «Истории безумия в Классическую эпоху». Так почему же, почему меня не пускают в этот таинственный мир, ключ от которого находится в моем собственном кармане? Но господин Литкурнис, на чью фамилию я бы не поставил и цента, был неумолим.

Теперь я ему благодарен. В очередной раз покидая это богоугодное заведение, я услышал, как моей разочарованной матери он с улыбкой шеп-

нул на ухо: «Настанет день — и он сам сюда вернется. Уверю вас. Быть может, это будет через многие годы, но он придет». Мой кашель не прошел до сих пор. И теперь, не будь я столь беден, ленив и безумен, я бы непременно возобновил те желанные сеансы, которые так и не стали еще одним желтым листком в моей странной судьбе.

ГЛАВА 7. МОНАСТЫРЬ

Однажды отец подарил мне игрушку. Это был пушистый зверек зеленого цвета, укрытый голубой шерстью и весело высунувший кончик языка под свой длинный салатный нос. Пробиваясь сквозь легкие шелка серебристых портьер, лучи раннего солнца медленно вздымались по лазоревым стенам моей спальни, всякий раз настигая молчащего зверька в самом углу окна, где он отныне обрел свой собственный дом. Несмотря на ветхость и серость окружавших меня вещей, стоило мне взглянуть на пестрые краски воплощенной фантазии, как волна такого же яркого цвета настроения со всею своею мощью разбивалась о мою душу, заставляя морщиться лоб. Но по мере того как уже известный вам старый брежет отмерял все новые и новые годы, цвета этого воздушного героя моих детских снов все более блекли в холодном углу, не теряя при этом ни капли естественных красок.

Нечто похожее произошло и со всей моей жизнью. Хотя я не знаю с точностью причин этого печального события, мне известна его дата, ибо я сам сидел за университетской скамьей, не находя более в себе сил даже для раскрытия тонкой тетради: мой стол был полностью пуст, под стать и всей моей жизни. Пройдя уже к тому времени сумасшедший дом и почти смирившись с будущим триумфальным окончанием университета, я продолжал размышлять о тщетности и бестолковости собственного бытия, тогда как философские изощрения все больше вызывали во мне отвращение, а разговоры о смысле жизни были столь же бессмысленны, сколь и сама жизнь. Сын алкоголика, поднявшись на сверкающую вершину науки, с тоскою смотрел вниз, заигрывая с каждым камушком, слетающим из-под ног.

Так я решил вступить в монастырь.

Собрав вечером небольшие пожитки и одолев у своего приятеля огромный рюкзак с палаткой, которые, к слову сказать, я вовсе не собирался возвращать, утром я несся по местным железнодорожным путям к небольшим горам в ста пятидесяти километрах от моего дома, у подножия которых и был раскинут удивительной кра-

соты монастырский комплекс. Это место я посещал еще в детстве, притом не один раз, так что каждый метр этой земли был мне известен как собственная ладонь, на которую, как выяснилось, я смотрел не так уж и часто. Прибыв на станцию, я отправился пешком через сосновый лес, ибо к монастырю можно было добраться только двумя путями: наняв дорожущее такси у станции или протопав пару-тройку километров на собственных ногах, что было очевидно дешевле и полезнее.

Впрочем, моя программа состояла вовсе не из слепого падения в ноги настоятелю монастыря: сперва я собирался провести ночь у заброшенной пещеры, прорубленной в меловой горе монахами в середине прошлого века. Пещера уходила далеко вглубь горы и сохраняла постоянную температуру не более десяти градусов по Цельсию. Это была самая глушь леса, которую только можно было найти в этих краях: о месте этом мало кто знал, а редкие посетители и не думали приходить сюда позже четырех часов вечера, когда на небольшой лесной поляне, со всех сторон окруженной горами и густыми деревьями, царили полумрак и покой.

Несколько слов о самом монастыре. Находясь у подножия гор, он стоял на берегу длинной реки, увитой утренним туманом и прохладой, и заключал в себе лавру, помещение для паломников, хозяйственный двор, задворки с павлинами и другими экзотическими птицами и, собственно, сам монастырь. Кроме того, здесь имелся и целый комплекс открытых пещер, по которым водили любопытных туристов и просто любителей ощутить холодный полумрак подземных коридоров.

Разведя огонь прямо в центре уже известной вам поляны, я отправился в пещеру, по возвращении из которой принялся почти на ощупь устанавливать палатку, ибо костер нисколько не разгонял сгущавшуюся тьму. Но проблема оказалась в другом: полчища комаров, буквально усеивающих мои руки и лицо, не давали возможности даже на мгновение сосредоточиться на работе, и после нескольких неудачных попыток я плюнул на это дело и отправился напрямиком в монастырь, собираясь в первую ночь заночевать в доме паломников.

Отворив старую деревянную дверь, я тут же наткнулся на сидевшего по левую сторону монаха, который бросил на меня грозный взгляд и не сказал ни слова. Поздоровавшись, я объяснил, что хотел бы переночевать у них в монастыре, и тут же протянул ему свои документы. После непродолжительного диалога о том, кто я и зачем приехал, монах провел меня в комнату, в которой было еще около десяти человек. Все они сидели молча, и на

мое приветствие лишь один из них угрюмо кивнул головой. В самой комнате не было ничего, кроме кроватей и небольших тумб, что, в общем-то, соответствовало аскетизму этого места. Меня тут же предупредили, что вот-вот начнется служба, присутствие на которой даже не обсуждалось, и я, едва успев бросить свои вещи на пол, тут же отправился с остальными молчаливками в самое сердце туманных гор — белоснежную лавру.

Храм набился под завязку. Разделившись на две стороны — левую, женскую, и правую, мужскую, — паломники, монахи и местное духовенство заполнили его до предела, так что от такой плотности людей на один квадратный метр мне тут же сделалось не по себе. Я не понимал: ведь это должна была быть тихая обитель в туманных горах, где вероятность встретить человека — такая же, как одетого в пиджак и дорогие итальянские туфли монаха-буддиста на Уолл-стрит. Но в итоге я оказался среди толпы людей, словно попал на оживленный арабский рынок, с той лишь разницей, что все присутствующие стояли в гробовой тишине. От нервного напряжения я стал ерзать с ноги на ногу, пытаюсь хоть как-то отодвинуться от местного бродяги, стоявшего подле меня в специфически пахнувшей кофте.

Я стал понимать, что для моего аскетизма монастырь недостаточно аскетичен, ибо здесь было полно монахов, шнырявших взад-вперед и заполнявших собой все помещение лавры, что, в принципе, было столь очевидно, но я умудрился этого не предусмотреть. Дома, в своей маленькой комнатенке с зашторенными окнами и закрытой наглухо дверью, я чувствовал себя куда более уединенно, чем здесь, среди духоты и жары, шедших от зажженных церковных свечей, часть из которых дымила мне прямо под нос. Густой белый дым отдавал резким запахом меда и полевых трав, отчего в горле у меня начало ужасно першить, и я стал покашливать — и это при том, что никто здесь не позволял себе даже громко вздохнуть.

В общем, от нервного напряжения и какого-то внутреннего дискомфорта у меня, как это бывало еще с детства, разболелся живот, так что я вынужден был покинуть лавру, пройдя сквозь обличающий меня строгий взгляд монаха, сидевшего у входа в храм. Я понимал всю напряженность ситуации: эта земля была одной из крепчайших твердынь православия, ревностно хранящей его традиции в чистоте и нерушимости, а сам я претендовал на звание одного из блюстителей тех самых традиций, которые только что нарушил, покинув церковную службу в самый ее разгар. Кроме того, этот хмурый Божий слуга едва ли

догадывался о моих внутренних спазмах, так что выглядело это так, будто я счел всех присутствующих идиотами, усевшись на удобной скамейке в прохладной тени фонтана с красивым мраморным крестом, в то время как все остальные, изнемогая от жары, терпели многочасовую службу. Что ж, возле фонтана и впрямь было неплохо, а его освежающие брызги вдохнули в меня новую жизнь, и минут через десять я смог снова вернуться в храм, но уже через четверть часа вновь оказался на лавке по все тем же причинам.

Клянусь, худшего морального наказания я не испытывал за всю свою жизнь, проходя уже во второй раз мимо разгневанного монаха, словно сквозь дымящиеся врата ада, у которых отчего-то появились глаза. Он не сказал мне ни слова, но если бы в тот момент он решил вышвырнуть меня из храма с криками и ударами палкой по спине, которую держал у своих ног, — право, это было бы куда лучше, чем молчаливый испепеляющий взгляд, в котором виднелись все грехи нашего рода вплоть до десятых колен.

Зайдя уже в третий раз в храм, я все же достоял до конца и вместе со всеми паломниками отправился на вечернюю трапезу, где меня ждали миска сладкой овсяной каши, хлеб с маленьким кусочком сыра и кружка компота. Но не успел я пройти и полпути до местной столовой, как чья-то рука подхватила меня за левый локоть, и, обернувшись, я увидел перед собой почти двухметрового великана в черном одеянии, препоясанного толстым кожаным поясом, с которого свисал красный шнурок.

Это был красивый кареглазый молодой парень, стоявший в лучах заходящего солнца в черной рясе и толстых кожаных ботинках и приветливо улыбавшийся мне. Сперва от волнения я подумал, что это тот самый привратник, решивший таки отомстить мне за мои похождения к фонтану суровым выговором или даже угрозой анафемы, но приветливость улыбки сразу же отсекала такую возможность, и я улыбнулся в ответ.

— Вы идете на ужин или сразу ко сну? — коротко спросил он, отчего ответ мой прозвучал еще скупее.

— Ну... — протянул я, все еще пребывая в легком смятении, хотя мы с моим новым знакомым уже двигались в сторону трапезной.

— Впервые у нас? — снова коротко бросил он, как-то даже не сомневаясь в положительности ответа.

— Нет, не впервые. Уже бывал здесь. Но ужинать еще не приходилось.

На мою неловкую шутку монах ответил тем, что, вовсе не заметив моих слов, поздоровался с каким-то епископом, проходившим мимо нас.

— Я, кстати, Андрей, — сказал он, уже поднимаясь по ступеням.

— Стас.

И, учтиво наклонив головы, мы разошлись в разные стороны, ибо паломники ужинали отдельно от остальных обитателей монастыря.

Несмотря на скромность предлагаемого меню, компот и сыр оказались очень вкусны, а вот каша при всей ее сладости была чересчур пересолена, так что создавалось впечатление, будто жуешь... Впрочем, жуешь соленую кашу.

После вечерней трапезы мы отправились к реке. Инициатором этой прогулки теперь стал я сам, отыскав после ужина Андрея, ибо неясность странной ситуации несколько меня раздражала. С чего бы этому монаху говорить со мной, да еще и так непривычно вежливо? Я должен был это выяснить, к тому же в такую рань спать мне еще ни капли не хотелось, тогда как в здешних краях девять-десять вечера считалось обычным временем отхода ко сну.

Андрей шел молча и задумчиво, но как будто был рад предстоящей беседе. У самого берега стояла небольшая темная пагода, к которой спустились ступени прямо из центрального входа в храм. Андрей стал сбоку, как бы в стороне от всего, и продолжал молча смотреть на реку, перебирая в руках деревянные четки. Я тоже молчал.

— Вы шли сюда пешком или на попутках добирались? — вдруг неожиданно спросил он, не отрывая взгляда от реки.

— Пешком, — сухо ответил я, имея в виду свой поход от вокзальной станции к монастырю.

— Я тоже, когда в первый раз сюда приехал, а теперь и представить не могу, что можно по-другому: тут очень красиво, — как-то рассеянно улыбнулся он, по-прежнему смотря на воду.

— Вы давно здесь?

— Шестой год скоро, — тихо ответил он.

Надо сказать, что Андрей выглядел очень молодо, так что если отнять пять лет, то выходило, что в монастырь он пришел совсем юным. Ни бороды, ни некоторой потертости лица, обычно присущей монахам, у него не было, да и вообще — сними с него рясу и одень в лондонские джинсы и нью-йоркскую рубашку, как тут же, без специальной рихтовки, он сошел бы за лицо с обложки какого-нибудь модного западного журнала.

— Ну и как вам здесь? — снова неуклюже спросил я.

— Я же говорю — шестой год, — улыбнулся он, наконец повернувшись ко мне лицом. — А вы как сюда, надолго?

Я хотел было сказать, что решил убраться домой уже завтрашним днем, но тут мне вдруг сделалось стыдно от того, что тем самым я как бы перечеркну пять лет его жизни, и в ответ я лишь промямлил вялое «посмотрим». Вообще, не будь он столь молод, говорить с монахом я бы ни за что не стал, так как прекрасно знал, к чему обычно сводятся подобные беседы, но в этот раз что-то внутри подсказало мне обратное, и я не ошибся.

— Вы учились в духовной семинарии?

— Нет, никогда, — оживленно ответил он. — По правде сказать, здесь мало кто в ней учился. Ну, если так, серьезно, — снова улыбнулся он, хотя я совершенно не понял, что он имел в виду.

У реки становилось все прохладнее, а комары просто съедали меня живьем, чего нельзя было сказать о монахе, одетом в длинную плотную рясу и черный колпак, так что я решил, что если в ближайшее время беседа так и будет идти в подобном ключе, то пойду спать, как вдруг он внезапно произнес:

— Я сюда, можно сказать, сбежал... из дома. Хм, мать до сих пор чуть не проклинает меня. А отец и говорить отказывается, — рассеянно ухмыльнулся он.

Теперь я понял, что ради одного этого человека мне стоило притащиться в такую даль, ибо сам я несколько не оправдывал этой поездки.

— Почему проклинает? — спросил я.

И тут я узнал, что этот молодой монах-красавец приехал в монастырь сразу по окончании одного из местных горных техникумов, после которого он должен был стать то ли горным мастером, то ли подземным механиком, или что-то в этом роде. Родители возлагали на него большие надежды в его будущем карьерном труде. Но Андрей выбрал труд духовный, чем, собственно, и навлек на себя их проклятия и непонимание.

Я не мог поверить в такое совпадение! Я, фактически прибывший сюда с той же целью и почти в таких же обстоятельствах, теперь вижу самого себя через пять лет, мирно смотрящего на холодную гладь воды.

Впрочем, монах уже сказал главное. В следующие четверть часа я лишь узнал, что в монастырь его привела совесть, как он сам описал причину своего пребывания здесь, что мать с отцом еще долго отговаривали его от этой идеи, что семья их весьма обеспечена и что сам он любит рок, правда, «в православной обработке». Я поинтересовался, почему он решил заговорить со

мною. Андрей сказал, что видел, как я несколько раз выходил из храма во время службы, а так как я был единственным, кто так поступал, то невольно привлек его внимание. Что ж, этого мне было достаточно.

Мы отправились вверх по ступеням, после чего мой новый приятель поблагодарил меня за беседу и выразил искреннюю уверенность, что мы еще свидимся, что показалось мне совершенной нелепостью, ибо я уже четко решил для себя не оставлять мирской жизни, в особенности после нашего разговора, — и легким шагом стал подниматься к монастырскому корпусу, я же отправился в свой номер, где меня ждала очередная бессонная ночь среди храпа молчаливых искателей истин.

Несмотря на довольно открытый характер беседы, эта встреча стала для меня чем-то глубоко личным, о чем я никогда никому не рассказывал, возможно, опасаясь увидеть себя в этом монахе не только своими глазами, но и более откровенными глазами других людей, часть из которых наверняка бы смекнула, в чем здесь дело. Как бы там ни было, а рано утром, еще до службы, я собрал свой рюкзак и вновь отправился пешком через лес к вокзалу, пытаюсь поскорее избавиться от какой-то туманной тревоги, не отпуская меня с прошлого дня.

ГЛАВА 8. ИОВ 2:13

Надо отдать должное моей семье: с какого-то момента я был освобожден от всех разумных ожиданий, обычно возлагаемых старшими членами рода на свое потомство. Точно этот момент определить не представляется возможным, ибо его спонтанность скорее походила на неожиданность дневного времени суток, когда вы вдруг открываете глаза после сладкой ночной неги, а день уже брезжит всею своею мощью, сидя у вашей постели в непрестанных ожиданиях райского пробуждения.

Так случилось и с нашей семьей: в какой-то момент меня просто перестали ждать, если такая мысль вообще может быть понята в правильном смысле. Пышная свадьба, семья, головокружительная карьера — все эти истоптанные, проверенные пыльными тысячелетиями тропы все более утопали в нежном тумане: я все больше отгораживался от всякого общения с противоположным полом и влезал в самую неприятную, грязную работенку, какую только можно было отыскать в нашей жалкой дыре.

И знаете что? Всего этого нельзя было не заметить, а потому наше совместное существование с

матерью на одних квадратных метрах все более напоминало мне до глубины души неприятные эпизоды из детства, когда во время семейного просмотра одного из фильмов на экране неожиданно появлялась эротическая сцена — и вдруг начинался разговор об отваренной на завтра картошке, тогда как за последние полчаса никто не посмел издать ни единого звука, полностью покаясь актерскому мастерству. Уйти было нельзя, ибо принесенный из кухни стакан воды означал бы лишь признание в собственной зрячести, — но и сказать в лоб о потере всякой нравственности в этом страстном лобзании женской груди означало бы испортить остаток шедевра. Иногда картошка сменялась предосудительным взглядом в пол, на старые тапки, после чего сеанс вновь возобновлялся с прежним покоем. Так мы и жили, глядя каждый на свои собственные напольные башмаки, едва только случались молчаливые моменты среди толстых фламинговых стен.

Но оставим это и предадимся созерцанию того осеннего дня, когда молчание в нашем доме навсегда было разрушено и с тех пор уже никогда не появлялось дольше чем на тридцать минут, словно воспитанный гость.

Теперь мне уже не вспомнить, что послужило причиной той ссоры, когда мать в очередной раз, как это принято в лучших викторианских домах, на время перестала со мной говорить, тем самым уличая меня в моей неправоте. О, этот остроумнейший способ показать любому его низость и слабоумие, не сказав при этом ни единого слова! Способ, неизвестный древним грекам, но столь широко почитаемый в узких широтах нашего шумного века, в который молчание не будет означать более ничего, кроме себя самого.

В целом ощущение нравственной испорченности и вины было привито мне с самого детства, так что в любом из конфликтов я чувствовал себя в известной степени виноватым, даже там, где речь шла об абсолютной моей правоте. Но пыток безмолвием я просто не выносил: едва со мной переставали говорить, как жизнь для меня обрывалась, словно слова были невидимой нитью, связывающей меня с таинственным миром высот. Сейчас все иначе, и порой из меня не вытащить и слова, но в тот день я решил навсегда избавить себя от этой туманной гильотины, чье лезвие все чаще вздымалось над моей головой.

Я замолчал. Но, видите ли, это было не простое молчание, призванное выдержать необходимый ритуал после хорошей ссоры, когда люди оттаивают, словно льдинки, по прошествии двух-трех часов. Нет. Напротив, я решил навсегда сломать

этот барьер, разделяющий нас бессмысленной тратой времени на пустое надувание щек. И когда мать на следующий день, хотя и несколько прохладно, но обратилась ко мне с каким-то пустяковым вопросом, я не сказал ей ни слова, гордо заперев за собой дверь.

Что я хотел этим сказать? Не знаю. Наверное, это было что-то вроде смеси юношеского максимализма и знаменитой максимы «не вынимай нож, если не готов ударить»: какого черта молчать, если все равно заговоришь? Как бы там ни было, а в нашей семье наступил совершенно особый период, погрузивший меня в одно из самых тяжелых моральных испытаний за всю мою жизнь.

Я молчал ровно месяц. Конечно, вам и самим наверняка приходилось не раз обрывать отношения в своей жизни, когда своего обидчика вы не достаиваете не только беседой, но даже и вашим личным присутствием, подолгу не видясь с прежде близким вам человеком. Но уверяю вас, все это не идет ни в какое сравнение с тем, когда этого самого человека, постоянно пытающегося с вами заговорить и наладить разорванную связь, вы видите перед собой каждый божий день. В то время я уже учился на одном из младших курсов университета, и моим единственным средством коммуникации были университетские пары. Но, едва переступив порог дома, я переставал замечать его обитателей, и на все вербальные попытки моей матери отвечал стоическим ледяным лицом.

Поначалу мое молчание воспринималось как некий каприз, который должен быть пройти как небольшая простуда — сам собой, без особых моральных отваров. Но по прошествии трех дней — и вплоть до конца представления — мать ежедневно пыталась со мной заговорить, с каждым новым днем все более уверяясь в мысли о моем безумии. Сам же я довел себя до того, что стал намеренно прислушиваться к автобусным разговорам и беседам на остановках, ощущая невыносимые муки от невозможности произнести даже слово в родных стенах.

Плана не было никакого. Не знаю, сколько бы я еще смог нести этот добровольный обет молчания, если бы в один из вечеров, когда я уже лежал в постели, мать не подошла ко мне со слезами на глазах и не стала на колени у моей кровати, в очередной раз попросив меня заговорить. Это была последняя капля, и несмотря на то, что в тот вечер я гордо отвернулся к стене, так и не сказав ни слова, для себя самого я все же решил прекратить эти обоюдные пытки и в ближайшее время найти повод для пары-тройки отвлеченных фраз.

Каково же было мое удивление, когда на следующее утро под своей дверью я обнаружил небольшую записку, просунутую в щель между полом и спальными дверями. В ней сообщалось о том, что мое молчание самым худшим образом отражается на здоровье обеих бабушек, переживающих за нас с мамой, и что если я только заговорю, то больше никогда не будет этого бессмысленного часового молчания после пустячных ссор. Выйдя из комнаты, я еще раз настойчиво попросил маму не играть немых спектаклей, после чего в нашей семье уже никогда не было той черной затаенной обиды, которая обошлась нам слишком дорого: откровенность стала чертой, переступив которую мы навсегда сняли с афиш этот бездарный спектакль.

ГЛАВА 9. ЕЕ ЗВАЛИ ДЖЕЙН

Рассказ о событиях моей бурной жизни был бы неполон без лирических нот, обычно наполняющих души даже самых убежденных сторонников Антисфена. И если верно то, что печаль будет длиться вечно, то женщина — капля желтых красок на лиловом полотне нашей души.

Но если вы выразите глубочайшее сомнение в том, что в жизни такого безнадежно испорченного глубокими рытвинами мысли человека, как я, могла бы быть девушка, стоящая не просто подле меня (мы оказались случайно в одной очереди за хлебом), а незримо обвивающая мое сердце своими объятьями, — я бы не возразил вам ни единым словом, в любой другой ситуации признав ваш острый ум. Но это не так. И среди удивительных совпадений, которые были вплетены судьбой в ткань моей жизни, любовь стала самым невозможным из всех.

Итак, ее звали Джейн. Но если вы, мой дорогой читатель, сомневаетесь, что, гуляя по улицам Восточной Украины, можно встретить человека с именем Джейн, — вы абсолютно правы, ибо имя это вымышленное. Вымышленное по причине весьма интимных обстоятельств, которые я собираюсь изложить ниже.

С другой стороны, выбрано оно вовсе не волею случая, а специально, так как если сам я в свои юные годы навязчиво читал Святое Письмо, переходя из пустыни в пустыню, то, видимо, в это же самое время моя будущая избранница уже дочитывала «Второй пол» — книгу, ставшую для нее мериллом собственной жизни и перевернувшую ее, однако, вверх дном. Но обо всем по порядку.

Наша встреча с Джейн была вовсе не знаком провидения, обычно приводящего маленькие фи-

гурки человеческих судеб к общей для них золотой колыбели, где они находят взаимный покой и пресыщенность жизнью. Об этом я могу судить с полной уверенностью, ибо сам я пишу эти строки, вновь находясь в полнейшем одиночестве, а знакомство с Джейн за университетской скамьей было столь банальным и избитым, что, если бы не ее больная душа, едва ли я стал бы тратить ваше время на подобные сантименты. И все же я должен сказать.

Ни до Джейн, ни после нее я не пытался более отыскать никого, окончательно разочаровавшись в женской природе, кто стал бы мне столь близким по духу, каковой была для меня эта девушка. Но поначалу все было иначе, и ее независимый ум, чрезмерная — о, даже чрезмерная! — свобода суждений, прекрасное тело, гордость, высота мысли, с каковой она смотрела на все, что сковывало женщин веками, — все это было столь волшебным и изысканным, что впоследствии рухнуло с невообразимой силой, едва лишь я глубже прикоснулся к ее детской душе.

Существует тип женщин, которые настолько красивы, что с ними не хочется заниматься любовью, не хочется целовать, ласкать и прижимать их к себе, — даже одно касание взглядом кажется уже преступлением: они совершенны, и все остальное будет излишним. Как идеально вырезанный кусок мрамора, как само Откровение — к ним нельзя ничего ни добавить, ни прибавить, чтобы при этом не потерял сам шедевр. Молчаливое очарование глаз, застывшая мимика, грусть. О, что может быть прекрасней грустной, но сказочно красивой женщины? Лишь женщина, чьи зеленые глаза полны мраморных слез. Красота и грусть — такова душа гения, в чьей бездонной реке сплетены воедино торжество сияющих небес и невозмутимый покой рассветного утра.

Так было и с Джейн. Разница была лишь в ее пустынных карих глазах: смотрясь в них, я словно окунался в глубокую мысль, чей эротизм целиком покоился на недостижимой вершине духа, как бы и вовсе не соотносясь с прекрасными чертами тела, призванного Создателем укромно стоять в стороне.

Но при всей изощренности и эстетичности моей природы в делах сердечных я не был романтиком, и все наши отношения целиком определялись фразой «приходите в полночь к амбару — не пожалеете» из известного кинофильма. Прямота, доходившая с моей стороны до неприличия, могла адекватно восприниматься лишь единственной женщиной на земле — и эта женщина находилась рядом со мной. Еще лелея в своей памяти ту ката-

строфу, которой обернулся брак моей матери с отцом, я дал себе слово, что ширма молчания, за которой пугливо прячутся пороки людей, никогда не станет между мной и Джейн и сам я никогда не пророню ни единой слезы над скрипящей колонкой. А потому с самого первого дня я наивно взгромоздил на весы нашего общего благополучия откровенность, которая, как затем оказалось, была лишь моей высотой, и Джейн не смогла ее взять.

Между тем бирюзовая пастораль наших свобод венчалась куда более ценной деталью, чем нечеткий паспортный штамп: семья, дети, брак — на все это мы смотрели с весомой долей презрения, сливаясь своими мыслями в единый поток. О, где еще мне было найти девушку, не желавшую пойти под венец, мечтавшую вовсе не о сопливых младенцах, а о далеких индийских лесах в лучах заходящего солнца, и полюбившую бы того, чей собственный ум пребывал на грани безумства и смерти?! Разве не была наша встреча судьбой, чей медный лик сиял в золотистом потоке светил, танцующих на черной вселенной? Только с Джейн во мне расцветали темные силы жизни, не подвластные логике и слепому мужскому уму. Все туманное, хрупкое, иллюзорное — все, чем была женщина целыми тысячелетиями для этого мира, — воплотилось в Джейн с тройной силой: сама жизнь цвела для меня в ее глазах. Ее нельзя было коснуться, нельзя было указать на нее пальцем и сказать «вот, это она и есть». Но не ошибаемся ли мы, когда считаем жизнь бесплотным, томным седым призраком, ускользающим от нас при одной лишь мысли о нем? О да! Тысячу раз да! Разве мы не знаем, что все плотно осязаемое есть лишь взволнованная тень нашей души, ищущая правды и дрожащая на ветру непонимания и неясности, целиком царящих на этой земле? Едва мы приоткрываем для себя эту дверь без стен, как оказываемся за чертой вечности, где ничто более не имеет значения, кроме наших собственных тайн и желаний, порою столь откровенных и порочных, что одна мысль о них прежде бросала нас в жар. Там, лишь там, за дверью смысла и всякой разумности, мы обретаем ответы на те вопросы, что заставляют наш мир замирать в преддверии вечной весны, призванной навсегда успокоить самые возмущенные умы нашей планеты.

Но вся эта обворожительная магия женской души, которую я открыл для себя лишь единожды, оказалась всего лишь яркой оберткой, объявшей собой пустоту. Стоило мне больше узнать Джейн, стать ближе к самому центру тех страстей, что кипели у нее в душе, как холодный пот разочарова-

ния погружал меня в сладкий самообман — я отказывался верить в то, что видел отчетливо и ясно, и кто знает, быть может, именно это стало мостом, связавшим нас на целых три года, тогда как трезвый ум требовал прекратить мучения спустя год.

Вам, должно быть, хорошо известно, что в деле собственных душевных начал порой требуется не меньшая ловкость, чем при вырубке хвойных лесов, когда огромное стофутовое дерево способно раздавить вас своей высотой. Но сколько же из нас раздавлено собственной ложью, когда мы тщетно силимся обмануть самих себя! Я никогда не терпел самообмана, не гнушаясь правдой даже тогда, когда ее лучи выставляли меня в самом что ни на есть паршивом для меня свете. Для Джейн все было иначе, и ложь других воспринималась ею как величайший грех, тогда как обман самой себя был для нее чем-то естественным, во все не требующим особых душевных забот.

Все началось со слез. Начав более близко общаться с Джейн, я все чаще стал замечать, что на каждые десять свиданий приходилось не менее пяти-шести истерик: непрекращающийся поток слез мог вызвать самый что ни на есть пустяк: неловко брошенная шутка о толстом нахальном арабе, задевшем меня плечом на улице, или предложение купить ей какую-нибудь безделушку, что воспринималось ею как сомнение в искренности ее собственных чувств ко мне. Не имея никакого опыта общения с девушками, поначалу я относил все это на природу женской души, по натуре своей более сентиментальную, нежели тот грубый мешок, в который заключены мы, мужчины, — но чем дольше я находился с ней рядом, тем более утверждался в мысли о совершеннейшей инфантильности и нестройности ее черт, которые соскальзывали с рассуждений о высоком на детское слезливое всхлипывание, едва мы оставались наедине.

Но безосновательный плач не шел ни в какое сравнение с той патологической ревностью, с которой я столкнулся спустя пару недель. Я стал понимать, что получил в дар не просто женщину, мыслящую на шаг вперед в сравнении с остальной известной мне прекрасной половиной человечества, но и личность, чья социальная маска целиком поглотила ее существо. Это было невероятно, когда в одно и то же время это был и фонтан бурлящей южной крови, вспыхивающий обвинением в измене из-за моей неосторожно выказанной симпатии к одной из голливудских актрис, знавшей обо мне не больше, чем знают австралийские аборигены о теореме Ферма, — и томные восклицания о том, как ей повезло с человеком, терпеливо сносящим ее невыносимый характер. Как тут не

вспомнить старика Фрейда, писавшего о том, что «женщина, на словах жалеющая своего мужа за то, что он связан с такой негодной женой, хочет, собственно говоря, обвинить своего мужа в негодности, в каком бы смысле это ни понималось». Выходило, что в обоих случаях я был обвиняемым, и лишь неопытность обвинителя отсрочивала мою казнь до следующей ссоры.

Но едва я пытался хоть сколько-нибудь объяснить Джейн, что плакать по причине моего желания купить ей серебряный кулон и ревновать человека, едва не вступившего в монастырь, к существу, не подозревавшему о его существовании, — не совсем то, что можно назвать разумным началом, как на меня обрушивался целый поток обвинений в тирании и ограничении ее личных свобод.

Ницше когда-то сказал: «В самой сладкой женщине есть еще горькое». Маленькие узкие бровки, изящный носик, безмятежный покой лица — все это превращалось в пышный вулкан, едва лишь речь заходила о справедливости; все существо женщины дышит моралью, она сама есть воплощение величайшей химеры нашего мира — идолопоклонства с белизной алтарных свечей. И однако же все это было раньше. Гениальный провидец, он сумел разглядеть приход новой эры, когда больше не стало тех из прекрасной половины человечества, кто мог бы бросить в камин сто тысяч рублей, перед тем гордо взяв их за свое содержание; когда единственной целью женщин стало влезть в мужские штаны, затянув их потуже ремнем с такою злостью, чтобы уже наверняка растворить последние капли женской природы в смоляном котле всеобщего равенства и благоденствия. Но и о себе скажу: нет теперь таких писателей, чтобы у камина всю Россию собрать смогли.

Впрочем, большего феминиста, чем я, трудно себе и представить, ибо право распоряжаться собственным телом, которого женщины были лишены на протяжении целых тысячелетий, в отношении Джейн соблюдалось мною беспрекословно, что было одной из многочисленных причин, по которым я не настаивал на интимной близости: мне нужна была полноценная личность, готовая переступить черту с полным осознанием своего собственного шага, а вовсе не механический процесс, который в будущем я обрету в лице многочисленных дарительниц блаженства.

С самого детства мать с бабушкой награждали меня безумной опекой, продолжая видеть во мне ребенка даже в зрелом возрасте, отчего ненависть к детям росла во мне пропорционально презрению ко всему женскому полу, — конечно, я ненавидел не сам юный возраст, а то, что могло

вызывать хоть малейшее умиление на устах и лице человека, позволяющее ему проливать океан слез без какой бы то видимой на то причины. Как вдруг в моей жизни появляется Джейн — этот ребенок в женском обличье, чье женское начало скрывает детские черты под непроницаемыми слоями из обворожительной внешности и ума, являвшихся, однако, во всей своей красе лишь там, где был хотя бы один посторонний. Черт, с таким же успехом я мог бы сыграть в лотерею, ведь шанс того, что моя собственная исковерканная душа во всем просторе вселенной натолкнется на свою полную противоположность, был столь же велик, как и вероятность угадать «счастливую шестерку». Когда же я наконец полностью для самого себя выложил разрозненную мозаику души своей избранницы, то почувствовал себя так, как если бы вам на протяжении всей вашей жизни внушали отвращение к сладкому, а затем отправили продавать шоколад.

Как бы там ни было, а с какого-то времени я стал смотреть на Джейн совершенно иначе, чем делал это ранее: я больше не видел в ней того блестящего ума и неординарности, которые покорили меня в начале нашего пути, и с духовных высот мироздания я опустил в приземистую долину чувственных страстей и желаний. В девушке, которую еще недавно я едва ли не боготворил, я стал видеть лишь тело, и место духовного божества целиком было занято прекрасной улыбкой и стройной линией ног. Отныне ее грудь и бедра были мне ближе десятка святых; я находил полнейшее упоение в шикарном темном копне волос, словно хаос погружавшей меня в черную туманную бесконечность, тогда как «Отче наш» проносилось все монотоннее и циничней. Но разве мог я себе представить, что и здесь я наткнулся на глубочайшую проблему, чью упорную закостенелость мне так и не удастся обратить в китайские шелка?

После первой интимной близости, на какую только можно было решиться ее испуганной душе, Джейн почти неделю находилась в жесточайшей депрессии, время от времени сменявшейся приступами истерии, когда вдруг внезапно она открывала одну из книг с детскими сказками, указывала пальцем на одну из иллюстраций с птичками и зверушками и детским слезливым голоском жалостно говорила о том, что мы будем жить в этом сказочном домике и пить чаек. Ее личность менялась на глазах: из умной, красивой, зрелой девушки, каковой я видел ее на студенческой скамье, она в мгновение ока превращалась в шестилетнего ребенка, едва лишь задерживалась университетская ширма и пугливо открывались двери в другой, ис-

тинный мир ее души. Ей был нужен вовсе не парень, отдаленно напоминающий образ отца, а сам отец, которым я не мог, да и не хотел быть для нее.

Между тем любовь никогда не была для меня даром с небес, при одном произнесении слова срывающим все с той же небесной обители милую лирическую мелодию, обычно льющуюся в мыльных операх отечественного производства. Не была она и гарантией на успех в столь сложном предприятии, как отношения мужчины и женщины. Для меня это был ежедневный кропотливый труд, требующий немалой сноровки в постоянном закрытии глаз в тех ситуациях, где наш взор по обыкновению привык ощущать себя бодрствующим.

Для Джейн все было иначе. Представляя обоих нас в виде двух маленьких фигурок людей, кружащихся под чистым голубым небом на цветочной поляне грез и крепко держащихся за руки, что было однажды увидено ею в одном из рекламных роликов какого-то телешоу, она и слышать не хотела о сухом голосе разума в чистой обители этого сладкого слова — «любовь». Но смеяться над этим означало бы абсолютно не понимать происходящего, ибо подобное «ребячество» было не чем иным, как одним из щитов, скрывающих за пеленой образа маленькой девочки реальную проблему, которой лишь предстояло выйти на свет.

Детство, как и для всякой женщины, было для Джейн не преходящим периодом, а состоянием души, пребывающим во всякий момент времени вне самого времени, некой константой, чьи составляющие определяли и само поведение личности. Но если для большинства представительниц прекрасного пола это лишь часть повседневного маскарада фигур, сменяющих друг друга в размеренных па учтивости и любезности, то в случае с Джейн ампула маленькой девочки целиком поглотило иные порывы ее двадцатипятилетней души и довело до того, что в процессе общения ее голос менялся до неузнаваемости и превращался в свойственное детям сюсюканье. Но стоило лишь кому-то зайти в комнату или позвонить по телефону, как тут же прекрасный, слегка натянутый тембр ее природной речи ласково лился на радость всем присутствующим.

Здесь же коренилась и причина ее всеохватывающей ревности и внезапно возникавших истерик, когда ребенок чисто инстинктивно воспринимает любого сверстника как соперника, не разделяя, однако, полов. Что же до Джейн, то ее невротическое требование чистой любви без секса и даже поднятия взора в сторону экрана с голливудскими звездами не могло означать ничего иного,

как еще одну будущую семейную трагедию, когда брак, пусть и гражданский, зиждется лишь на привычке, страхе или телесном воплощении обеих причин — детях.

Неприятие себя как женщины, отрицание собственного существа привели, наконец, к тому, что ее мораль диссонировала с собственным «я», а сам секс воспринимался ею как нечто противное чистым добродетелям любви и верности. Мать, сменившая нескольких мужей после смерти отца, не уделяла ей должного внимания и любви, что, надо думать, и привело к устойчивой ассоциации секса с предательством и безразличием к любящему тебя человеку. Ощущение покинутости контрастировало с идеей об одном партнере, даже после смерти служившем бы оправданием половой связи. Выходила простая максима: «Если любишь — не спишь». И на все это накладывался естественный страх молодых девушек перед первым близким контактом, который был едва ли не самой простой преградой на пути к счастливой совместной жизни. Дело дошло до того, что однажды Джейн совершенно серьезно предложила мне найти кого-нибудь на стороне, лишь бы она сама не знала об этой связи.

— То есть ты скорее отправишь меня в постель к другой женщине, чем хотя бы на миг всерьез задумаешься о своем существе? — сказала я ей в ответ, на что услышал очередное невнятное бормотание о том, что любовь от этого нисколько себя не утратит.

Что ж, несмотря на все это, я по-прежнему все еще любил Джейн, но даже здесь, даже в этой туманной обители высшего из чувств, на которые только способны человеческие существа, — даже здесь мы не находили более общих основ. По натуре я всегда был авантюристом, в то время как она была домашним цветком, который следовало поливать кипяченой водой, да еще и пропущенной через фильтр. Но любовь, этот не сложившийся диалог умов, была для Джейн прежде всего тенными ветвями каштанов, старыми парковыми скамьями, на которых мы однажды заночевали с ней во время нашей первой встречи, прогулкой под проливным дождем в одном из местных скверов и прочими воспоминаниями, которые она без остатка заперла в потертый карман прошлого и любовалась им, будто заснеженным домом в старом стеклянном шаре. Я больше не мог вынести того, что не отличало нас от обычных людей, окуная в помойную яму взаимных обид и скандалов, не имеющих более ни причин, ни финала: патологическая ревность при моем фактическом аскетизме, постоянные истерики и срывы, макси-

мализм и инфантильность не только откручивали стрелки часов на годы назад, опуская ее возраст до отметки десять-двенадцать лет, но и свидетельствовали о явном разладе ее детской души, изо всех сил не принимающей рвущиеся через край реалии взрослой жизни. Конечно, в отношении интимной жизни я мог стукнуть кулаком по столу и настоять на своем, о чем не раз намекала мне сама Джейн, но для этого мне следовало бы не знать всего, что я уже знал, — в противном случае я бы чувствовал себя педофилом, склонившим ребенка к интимной близости.

Наконец, в какой-то момент мне стало ясно, что выхода из этой ситуации быть не может, ибо все мои попытки поговорить на эту тему и даже записаться на прием к специалисту разбивались о беспечный смех непонимания того, что «завтра» будет поздно. Три года стали слишком большим сроком даже для такого не вполне нормального человека, как я, ведь сам я за это время ощутил почти ментальную кастрацию, приобретя в отношении себя пару известных комплексов.

Но хочу вас уверить, мой верный читатель, что так же, как не бывает бывших наркоманов, нет и излечившихся от любви, как бы слащаво это ни звучало. Да, вы можете увидеть тех, кто еще недавно вливал себе в кровь шипящую белую жидкость, с разноцветными нитками и милой улыбкой плетущих макраме в удобном кресле на радость слезливому обществу, вернувшему в свою обитель заблудших овец. Но знайте: втайне они желают того же. Едва ли не хуже обстоит дело с любовью: она может изменяться, принимать внезапные формы, обращаясь то в гнев, то в страстное желание ночных ласк и вздохов, а то и вовсе в мольбу о смерти своего бывшего избранника с тем, лишь бы в его небытии вновь обрести тот волшебный момент, когда он все еще был свободен и все же уже целиком принадлежал вам. В причудливых лабиринтах мысли истинна лишь слабая тень, влекущая нас золотой нитью Ариадны в глубины потаенного, столь глубоко сокрытого от нас самих.

Признаюсь, я так и не раскрыл до конца Джейн, ставшую для меня чем-то вроде озарения, чья глубина едва ли ясна высохшей мели сухих теорий. Я явился к ней совершенно подавленным, намереваясь навсегда разорвать трехлетнюю связь, по-прежнему все еще не осознавая, сколь тонко же следует понимать человеческую натуру, чтобы так все испортить.

Она сидела напротив меня на бордовом диване и как всегда с искренней озабоченностью рассказывала о том, как в бассейне какой-то священник сегодня крестил воду за деньги, отданные ему

директором этого заведения, и что Христос учил совершенно не этому, и что она не может оставить репетиторства с соседскими детьми, ибо не имеет морального права обмануть их, пообещав довести до летних экзаменов, хотя саму ее уже тошнит от римской истории времен Нерона, и что бабушка не разрешает ей брать еще учеников на дом из-за огромных нагрузок, хотя это избавило бы ее от работы в бассейне, — и еще многое из того, что привело бы ко сну даже мою собственную мать, годами страдающую от невыносимой бессонницы. Я же молчаливо слушал все, что Джейн говорила мне в полном восторге от своих чувств, но у самого меня в голове звучало лишь одно:

— Три года. Боже мой, три года, Джейн! Как наивна, как глупа ты в своей простоте. Впрочем, я большой глупец, раз не смог разглядеть в тебе ребенка, придумав внутренний мир твоей души в соответствии со жгучими черными волосами и глубокими карими глазами, которые я видел извне. Я сам тебя создал, так же, как ты создала меня из детских фантазий, любви и забот, которых ты искала в моем лице.

Оба обманутые, оба искалеченные, мы сидели напротив друг друга, дожидая последние дни своих грез, тающих, точно льдинка на раскаленной сковороде.

— Ты совсем меня не слушаешь, — вдруг произнесла она. — Я же вижу: ты думаешь о чем-то своем.

— Это не так, — сухо ответил я, дословно озвучив прошедшую минуту ее монолога благодаря все той же бестолковой способности запоминать всякую чушь.

Впрочем, серьезные разговоры все же случались, но даже и тогда Джейн говорила так, словно готовила доклад по метафизике для одной из институтских пар: было видно, сколь чужды ей собственные мысли, что думать о чем-то серьезном, о будущем ей так же неприятно, как погружаться в глубокий мир хмурых ветров, гудящих в пустых коридорах наших душ, с которых уже давно сыпалась засохшая штукатурка. Но я понимал ее и именно поэтому знал, что она никогда не поймет меня. Что ж, я более не пытался повернуть Джейн от старых конспектов по истории к обидам и ссорам, которые случались теперь все чаще, и к тому, что наши годы скоро сгорят, как праздничный фейерверк, в одно мгновение оставив за собой туман белого дыма на ночных небесах. В каком-то смысле мне уже было все равно. Усталость — вот все, что я уже долгое время ощущал, видясь с Джейн, думая, что в глубине души и она

желала твердой точки в затянувшейся рутине взаимных обид и упреков, превративших нашу жизнь в пустую копирку, по которой водили тупым карандашом.

Между тем она смотрела на меня широким, но каким-то бессмысленным взглядом, как смотрят дети на любую понравившуюся им вещь. Несостоявшийся любовник, я был смазливим щенком, которого можно было заботливо почесать за ухом, перед тем по-девичьи поделившись своими секретами с живым дневником. И ничего более. «Любовь долготерпит», но разве она не такой же предлог, чтобы терпение обратить в добродетель?

— Это конец, Джейн, — коротко сказал я ровным и тихим голосом. — Ты понимаешь? Конец.

— Да, Стас, я поняла, — вдруг совершенно неожиданно прошептала она, но едва ли в ее словах была хоть капля согласия с этим.

Думаю, именно поэтому в тот день я не увидел в ее глазах ни слез, ни сожаления, ни туманного раскаяния — ничего, кроме бескрайней тоски, словно пустыней раскинувшейся на ее карих зрачках. О Джейн! Разве ты не была тем румяным

цветком, который я лелеял в своей душе, словно распятие, свисающее с моей шеи? Разве не обхватывала ты меня своими руками, заключая в нежные объятия своих поцелуев, когда мы гуляли под проливным воскресным дождем? Почему же не может этого быть и теперь, теперь, когда известен каждый порок, каждый недостаток наших взволнованных душ, которые вымащивают перед нами идеальную дорогу минутного рая, залитую светом от прошлых обид? Да, они должны были превратиться в сияющий блик, стирая прошлую тьму ошибок и неудач, столь часто восходивших перед нами пестротой наших алчных душ, не способных насытиться друг другом. Как могло все это рухнуть? Как могло случиться так, чтобы любимое лицо, чьи нежные черты смотрели на меня из-под накинутого до носа одеяла, стало мне ненавистно, словно лик худшего из врагов, чья жизнь заставляет нас втайне восхвалять смерть? О Джейн... Худшая из ошибок — вера в свою безупречность, и я готов понести этот крест, признавая законность плетей.

Продолжение следует.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья! В конце прошлого года в Санкт-Петербурге начало работу северо-западное представительство журнала «Юность». Мы планируем знакомить вас с культурной жизнью Санкт-Петербурга и, соответственно, северо-запада нашей страны. Разговор пойдет о духовном мире служителей муз, об открытиях в различных видах искусства.

А прямо сейчас встреча с человеком, с которого можно брать пример, отвечая самому себе на вечный и в чем-то условный вопрос «Как жить?». Публикация представляет интерес в первую очередь для нашего молодого читателя.

Напоминаем, что материалы северо-западного представительства «Юности» могут появляться в разных разделах нашего журнала, но всегда с обозначением рубрики: «Арт-пространство “Северное сияние”».

Слово главе представительства Максиму Коршунову.

Максим Коршунов:

— Март, весна, и поэтому сегодняшний гость арт-пространства «Северное сияние» — обаятельная женщина, петербурженка, профессиональный журналист.

Тамара Скобликова-Кудрявцева родилась в начале весны, 11 марта, в Ленинграде. Окончила отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета. Пресс-секретарь Всемирного клуба



Максим Коршунов родился в 1969 году. Окончил Северо-Западную академию государственной службы. Второе образование — практический психолог. В октябре 1993 года начал трудовую деятельность в петербургской газете «Смена», работает в издательском бизнесе и печатных СМИ уже более двадцати лет.

петербуржцев, член клуба с 1992 года. Работала журналистом в газетах, на радио, телевидении. Несколько лет была главным редактором пресс-центра мэрии Санкт-Петербурга. Избиралась депутатом, членом президиума Куйбышевского райсовета. Автор книги «Слова для первого лица». Член Международной федерации журналистов. Заслуженный работник культуры России. Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

ТАМАРА СКОБЛИКОВА-КУДРЯВЦЕВА: «В ШКОЛЕ Я СИДЕЛА ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ С ПРАВНУЧКОЙ ДОСТОЕВСКОГО»

— Тамара Дмитриевна, Вы пресс-секретарь Всемирного клуба петербуржцев. Чем занимается клуб и кто его создатели?

— Президент клуба — Михаил Борисович Пиотровский, причем не номинальный президент, а настоящий, который во все вникает и активно уча-

ствует в жизни клуба. Клуб родился в 1991 году, и, в отличие от многих возникавших тогда сообществ, живет уже почти двадцать пять лет. Я думаю, это получилось благодаря тому, что в клубе собралось много людей высокого интеллектуального уровня, которые создают интересные программы развития, организуют мероприятия в



Тамара Скобликова-Кудрявцева

поддержку творчества, где всегда царит теплая, доброжелательная атмосфера.

Конечно, мы много работаем с молодежью. Одно из недавних ярких событий — встреча в рамках программы «Звезда Прометея». Одним из создателей этой программы в свое время был Дмитрий Сергеевич Лихачев. Ее суть можно кратко описать словами Экзюпери, который говорил, что в каждом человеке зарыт Моцарт и нужно найти того землекопа, который бы его откопал. Очень важно, чтобы молодой человек, у которого есть какое-то дарование, был вовремя замечен и отмечен. Это и есть цель программы. Мы отыскиваем новые таланты не только в России, но и за рубежом. Среди номинантов премии «Звезда Прометея» много совсем юных авторов стихов, прозы, даже книг, причем речь идет о выпускниках десятых, одиннадцатых классов, а иногда и более юных. Одна девочка, номинант нашей премии, стала участницей конференции писателей Северо-Запада! Само приглашение на эту конференцию говорит о том, что она уже вполне состоявшаяся творческая личность. Вот с таки-

ми молодыми людьми мы и работаем, исполняя роль тех самых землекопов, которые помогают найти себя талантам в самых разных творческих областях.

Клуб реализует и другие программы, которые направлены на защиту и восстановление петербургской архитектуры, сохранение истории города, поддержание живой связи с петербуржцами, живущими во многих городах нашей страны и в мире. Михаил Борисович Пиотровский говорит, что нам нужно заботиться о том, чтобы сохранить душу города. Можно назвать Петербургом и в то же время, по сути, быть очень далеко от этого понятия. Мы стараемся помочь городу сохранить свою культурную ценность и передать ее наследникам, то есть детям. Поэтому клуб активно сотрудничает с Дворцом творчества юных, где занимается много талантливых петербургских ребят. Вообще, всех, кто хочет подробнее познакомиться с деятельностью Всемирного клуба петербуржцев, я приглашаю зайти на наш сайт www.wvclub.spb.ru, где можно не только получить подробную информацию о нас, но и стать участниками одной из наших программ.

— Чем отличаются сегодняшние юные петербуржцы от сверстников Вашего детства?

— Нас по-другому учили. Сейчас у ребят, конечно, много современных технических возможностей: компьютеры, телевидение, специальные преподавательские методики. К сожалению, при этом они так мало читают, особенно настоящей качественной литературы! Годы моей учебы в школе пришлось на трудное военное время. Я пошла в школу в 1944 году, в деревне, где родилась моя мама, под Тверью. Я никогда не забуду нашу первую учительницу, которая тогда начинала каждый урок с того, что говорила: «Дети, прежде чем приступить к занятиям, давайте сначала поедим». Она каждый день приносила из дома какие-то продукты и раздавала нам. Когда я рассказала об этом маме, она заплакала. Я тогда не понимала, почему. Эта учительница, пожилая женщина, была женой расстрелянного священника. Она говорила нам: «Ребята, если у вас когда-нибудь в жизни случится беда, читайте, книга вас всегда спасет!» Сама интонация ее голоса, умение держать себя говорили не только об образовании, но и о призвании педагога. Позднее, работая в газете «Ленинские искры», я много общалась со школьными преподавателями и довольно быстро отличала настоящего педагога от человека, который занимался этим по необходимости. В такой

ситуации прежде всего страдают дети! Наши преподаватели были другими.

Мне вообще повезло. Позднее, уже в Ленинграде, я училась вместе с правнучкой Достоевского, Татьяной, и даже сидела с ней за одной партой. Вся школьная атмосфера тех лет, само пространство школы с ее огромными светлыми залами, роскошными старинными зеркалами делали походы в школу удивительно интересными! Жили мы тогда в коммунальной квартире с огромным количеством комнат и жильцов, поэтому контраст был очень ярким. Мы много читали, учились выражать свои мысли правильным русским языком, запоминали исторические события и даты. Возможно, все это повлияло на меня впоследствии при выборе профессии. Тогда, в послевоенные годы, к детям было много внимания со стороны государства, было много бесплатных кружков, где ребята могли развиваться творчески. Всего этого, к сожалению, недостаточно сегодня. Я надеюсь, что наша клубная работа поможет детям, которых мы поддерживаем, стать по-настоящему хорошо образованными петербургскими интеллигентами.

— *Расскажите о самом ярком воспоминании из Вашей журналистской юности.*

— Было в моей юности одно Вербное воскресенье. Я сразу после окончания ленинградского университета пришла работать на радио. Мне дают задание взять интервью и написать очерк. Радийный очерк просто так не напишешь, это живое общение с человеком, запись беседы, голоса. Тема очерка — встреча с народным артистом СССР Николаем Константиновичем Симоновым. Редактор меня спрашивает: знаете такого? Конечно, знаю! Знаменитые роли Петра I, Федора Протасова... Это был всенародно любимый актер. Итак, я звоню Николаю Константиновичу. Он берет трубку, отвечает своим знаменитым голосом: «Да?!» Я быстро объясняю, что я журналист, хочу взять у него интервью. Следует короткая пауза, затем он мне говорит: «Я с советскими журналистами лет как двадцать уже ни о чем не беседую!» — и бросает трубку. Я в полной растерянности: что же мне делать, советскому журналисту?! А главное, что я журналист-то без году неделя. Тогда я снова набираю номер и говорю ему фразу из «Золушки»: «Вы знаете, я не волшебник, я только учусь, журналист начинающий...» Он меня перебивает и говорит: «Плохо начинаете, вы выбрали омерзительную продажную профессию, и не смейте мне больше звонить!» Дело было в пятницу. Я иду по коридору Дома радио и встречаю редактора «Невской волны», очень симпатичного челове-

ка. Он меня спрашивает: «Ты чего такая?» Я ему рассказываю свою историю. Он меня спрашивает: «Кто же тебе дал такое невыполнимое задание? Всем известно, что Симонов никому не дает интервью». А у меня первое задание, и как я его выполню, никого не касается. Я это хорошо помню еще по университетским практикам, когда мы каждое лето на два-три месяца выезжали работать в газетах. Я работала в «Комсомольце Кубани», «Курортной газете» в Ялте и других. Работа была очень ответственной, и за выполнением редакционных заданий следили строго. Так вот, мой знакомый мне и говорит: «Попробуй с Симоновым поговорить, может, он смиростивится, ведь он человек верующий». Я приехала домой и рассказала все своей маме, которая тоже была верующим человеком. Она меня подбодрила, сказав, что завтра Вербное воскресенье и в этот праздник нельзя унывать. Я послушала ее, и к вечеру у меня в голове как будто что-то прояснилось. Утром я была на вокзале, купила букет верб и поехала, адрес у меня был, конечно. Подхожу к дверям, без всякого предупреждения звоню, открывает дверь народный артист СССР Николай Константинович Симонов, в бархатном халате, такой барин. Я ему говорю: «Николай Константинович, я поздравляю вас с Вербным воскресеньем!» Он: «О! Моя поклонница? Входи! Мне очень радостно, что молодежь помнит о таком празднике! А как ты думаешь, почему Христос въезжал в Иерусалим на осле, а не на коне?» Откуда мне, советской девушке, это было знать? Но я быстро сообразила: «Наверное, потому, что на коне въезжают победители, а он въехал со смирением». Он говорит: «Молодец! Ну, входи!» И тут я поняла, что должна объясниться перед порогом, иначе будет полное фиаско в случае разоблачения. Я затараторила: «Вы знаете, я та самая журналистка, которая вам звонила...» Он захохотал! «За выдумку и смелость хвалю, проходи!» Мы много беседовали, я тогда узнала, что он, оказывается, прекрасный живописец, и еще много интересного. В общем, я записала материал, но позволила себе некоторую вольность, я назвала его «Скрипка Энгра». Энгр был прекрасный живописец, но еще и замечательный скрипач, хотя никогда не афишировал это. В английском языке есть понятие хобби, которое у французов часто звучит как «Скрипка Энгра» и означает скрытую способность, какой-то еще один талант, которым владеет человек. Когда в редакции увидели название моего материала, то сначала исправили на «Второе призвание», но я была возмущена: это ведь моя первая работа! Начальству пришлось согласиться. И вот на ленинградском радио про-

звучала передача «Скрипка Энгра». Первым, кто позвонил в редакцию, был Николай Константинович Симонов. Он сказал мне слова, которые я запомнила на всю жизнь: «Пожалуй, я погорячился, ты свою профессию выбрала правильно!» Потом были другие интервью, новые увлекательные истории и встречи, но главным для меня всегда оставались журналистская смелость, находчивость, достоверность и ответственность перед слушателями и читателями.

— Хотели бы Вы что-то изменить в своей профессиональной судьбе?

— Я вообще не в обиде ни на какое время. Сейчас я написала одну книгу и еще хочу написать, я не хочу, чтобы моим единственным будущим было прошлое. Хочется жить сейчас. Но сейчас очень трудно, потому что возраст, хотя вроде бы это и не помеха... Когда-то я пришла работать в «Ленинские искры», это был мой сознательный выбор, потому что работать в партийной прессе было невозможно без вранья. А детская газета давала возможность свободного творчества. Мы писали там о любви, о жизни, о том, кто имеет право на ложь... Это были настоящие творческие исследования, и все это публиковали. Наверное, если бы я что-то могла изменить, я бы все-таки побольше поработала на телевидении. У меня была такая возможность, я в свое время прошла строгий отбор на должность диктора, подходила по всем параметрам: по внешности, голосу, образованию. Но когда выяснилось, что диктор просто читает по бумажке написанный кем-то текст, то сразу поняла, что это не мое, я ведь журналист. Потом у меня была программа на телевидении,

она называлась «Воскресный лабиринт», я могла приглашать в нее любого собеседника, и это вполне соответствовало моим профессиональным интересам. Так что, в принципе, я довольна своей профессиональной судьбой. Я и сейчас чувствую себя востребованной, отвечая на письма читателей книги, которую я недавно написала, или работая во Всемирном клубе петербуржцев и помогая молодым талантливым людям найти свое призвание в жизни. Одна юная читательница моей книги из Балтимора, которая изучает русский язык, написала мне в письме, что, прочитав книгу, она думает, что моя жизнь похожа на фильм. А я думаю: милая девушка, в России любая жизнь похожа на фильм! Надо только, чтобы в обществе появилось больше доброты и милосердия, хотя это забытое почти сегодня слово, может быть, кого-то и раздражает... Доброта так необходима нам всем сегодня! Взрослые должны очень внимательно слушать молодежь, чтобы вовремя помочь юным людям открыть в себе Моцарта, о котором так красиво говорил Экзюпери. Юность — это очень трудный период в жизни, ведь человек в это время сталкивается со всем впервые и бывает столько трагедий и соблазнов пойти не по своему пути. Очень многое зависит от умных, талантливых преподавателей, которые необходимы молодым сегодня. Да, будущее нашей профессии, конечно, в цифровых технологиях, телевидении, но ни в коем случае нельзя избавляться от книг и закрывать газеты. Это те источники творчества, которые нельзя заменить ничем, на которых выросло и вырастет еще не одно поколение профессиональных журналистов и просто интеллигентных, порядочных людей.

Беседу вели Максим Коршунов и Кристина Финогенова



Марианна ТАРАСЕНКО



Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске. Окончила филологический факультет Тартуского университета (специальность «филолог-русист, преподаватель»). Работала учителем в школе, затем на кафедре русского языка Таллинского политехнического института. После ликвидации кафедры вернулась в школу. В настоящее время работает редактором (в том числе и литературным) выходящего в Эстонии на русском языке еженедельника «День за днем».

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ: ПОРЯДКОВЫЕ И ПРОСТО ПОРЯДОЧНЫЕ

Признаюсь, разговор на эту важную и запутанную тему я откладывала так долго, как только могла. Но поскольку положение все ухудшается, медлить нельзя.

В русском языке, как известно, склоняются многие части речи. И если склонение существительных, прилагательных и местоимений, как правило, особых трудностей у нас не вызывает, то иная — можно даже сказать, страшная — картина предстает нашему взору, когда мы имеем дело с именами числительными. «Взору» — это, конечно, фигурально: в основном страдает ухо, причем уже на протяжении нескольких десятилетий. «Великий и могучий» стараниями его носителей рискует утратить одно из своих украшений — склонение сложных и составных числительных.

Особенно рьяно на этой ниве трудятся работники радио и телевидения, да и простые смертные тоже вносят посильную лепту. Поэтому очень часто премудрости склонения именно числительных вызывают неподдельное изумление школьников: они клянутся, что впервые слышат о такой диковинке. Тем не менее это не лингвистический

изыск для чудаковатых гурманов, а неременное требование грамматики нашего родного языка.

Для начала — краткий морфологический экскурс.

Имя числительное — это часть речи, которая обозначает число, количество предметов и их порядок при счете. Числительные отвечают на вопросы «сколько?» и «который?» («какой?») и делятся на количественные (пять), порядковые (пятый) и собирательные (пятеро), а также бывают простыми и составными, то есть состоящими из одного слова (шесть, шестьдесят) или из нескольких (сорок восемь, триста девяносто семь). Большая часть простых числительных по происхождению — сложные слова, которые включают в себя два корня: одиннадцать (один + на + дцать), семьдесят (семь + десять) и т. д.

Все числительные, вне зависимости от их вида и разряда, изменяются по падежам. Порядковые числительные склоняются так же, как и прилагательные (какого? второго, десятого). В составных порядковых числительных склоняется (по тому же принципу, что и прилагательные) только последнее слово (в тысяча восемьсот девяносто

четвертом году), поэтому с порядковыми числительными — в соответствии с их названием — все в относительном порядке. А вот их собратья количественные доставляют людям немало хлопот. Правда, не все.

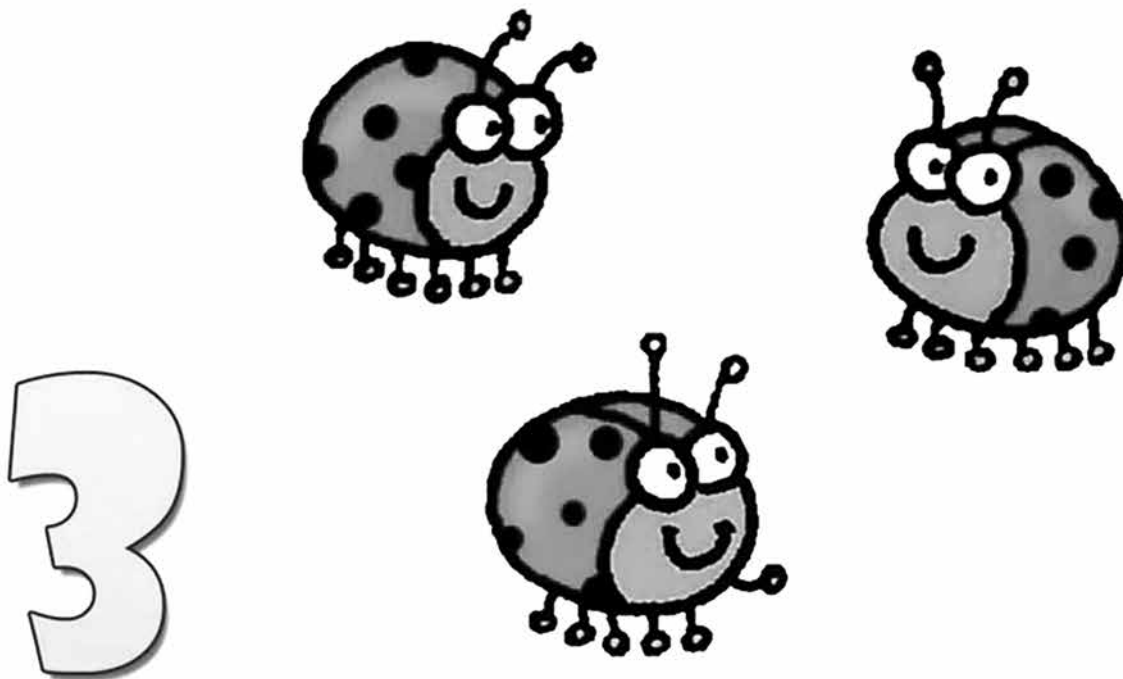
Простые количественные числительные от одного до четырех избрали свой особый путь. Не порядковое, но все равно порядочное числительное «один» тоже склоняется как прилагательное: один — одного — одному — один — одним — об одном. В случае если речь идет о вариации «одна», работает принцип склонения прилагательного женского рода.

Здесь необходимо упомянуть, что числительные небольшого количества, то есть как раз от одного до четырех, согласуются по одушевленности. Это означает, что в зависимости от того, какие существительные мы согласуем с числительным (одушевленные или неодушевленные), винительный падеж числительного может совпадать с именительным или родительным: например, «я люблю один вид» (им. падеж), но «я люблю одного человека» (родит. падеж), «я знаю три слова» (им. падеж), но «я знаю трех девочек» (родит. падеж).

Не вызывает трудностей и числительное «два» с его вариацией «две»: два — двух — двум — два (две — ж. р. и двух — одушевленное) — двумя — о двух. Так же хорошо ведут себя слова «три» и «четыре», которые к тому же не имеют родов: три — трех — трем — три (трех — одушевленное) — тремя — о трех; четыре — четырех — четверем — четыре (четырёх — одушевленное) — четырьмя — о четырех. Ну разве что маленький ребенок, который только учится говорить, может сказать «двумямя», «тремямя» или «четырьмямя».

Простые количественные числительные от пяти до тридцати склоняются как существительные третьего склонения, например: семь — от семи — к семи — семь — семью — о семи. То есть в винительном падеже они возвращаются к начальной форме, в творительном оканчиваются на «ю», а во всех остальных косвенных падежах имеют окончание «и». Здесь все просто и ошибки встречаются редко.

Но то, что происходит с числительными начиная с сорока, не поддается никакому описанию: к сорокам, о стах... Продолжать этот ряд страшно, поэтому сделаем перерыв и продолжим разговор именно с этих зловещих слов в следующем номере.





Мария СОЛОМАТИНА

О СЕБЕ

Аспирантка филологического факультета МГУ, занимаюсь исследованием русских диалектов. Ежегодно езжу в диалектологические экспедиции в Архангельскую область, регулярно участвую в научных конференциях.

НА ХОЛМЫШУ СИДИТ ЖИРАФ И ПАРИТ ЯЙЦА

Здравствуйте, дорогие любители языкознания! В прошлом номере вам была предложена первая диалектная загадка: *на холмышу сидит жираф и парит яйца*. Для того чтобы разобраться, о чем же здесь идет речь, подвергнем нашу загадку небольшому лингвистическому анализу. Выделим непривычные глазу слова и выражения: *холмыш* и *парить яйца*. С *холмышом* все вроде бы просто — похоже на *холм*, не правда ли? Посложнее будет разобраться с *парить яйца*, но и эта задача разрешима. Глагол *парить* имеет значение *согреть*, обдавать теплом, жаром. Кто и зачем в природе может обдавать теплом яйца? Правильно, тот, кто их высиживает, а значит, и *жираф* в данном контексте — диалектизм, и обозначает это слово вовсе не африканского зверя, а обыкновенную птицу, которую в одних говорах могут называть *журавель*, в других — *журав*, а в третьих — да-да, *жирав* — произносится [жыра́ф]! Ну что, получилась отгадка? Поздравляю, теперь у вас в кармане еще одна лингвистическая победа, и мы смело можем двигаться дальше в нашем диалектном путешествии.

Мы с вами уже знаем, что диалекты — территориальные разновидности языка. А сегодня поговорим о том, сколько их в русском языке и по

каким признакам они противопоставляются друг другу. В науке, помимо самого общего понятия *диалект*, существуют также термины *говор* и *наречие*. *Говором* называется язык жителей одной деревни или очень близкой группы деревень, однако изучать говоры по отдельности, не сравнивая их друг с другом, было бы нецелесообразно, поэтому лингвисты занялись поиском закономерностей, объединяющих говоры в более крупные объединения — *наречия*. Наречий в русском языке два — северное и южное, разница между ними, как между Северным и Южным полюсами, велика, и для строгого противопоставления их друг другу необходимо выделить так называемые *соответственные явления* — определенные языковые особенности, представленные в речи жителей как севера, так и юга. Подобных различий нашлось три. Северяне *окают*, а южане *акают* (что это такое, мы с вами узнаем позднее); на севере звук *г* произносят смычно, а на юге, как в украинском языке, шумно, делая его похожим на звонкий вариант *х*; и, наконец, на севере окончания глаголов третьего лица в настоящем времени произносят твердо (*цветочек цветёт, растёт, красота даёт*), а на юге — мягко (*цветочек цветёт, растёт, красота даёт*). Так противопо-

ставлены друг другу север и юг. К северному наречию, например, относятся говоры Архангельской и Вологодской областей, к южному – Рязанской и Смоленской, Курской и Брянской. Но неужели этим трем закономерностям строго подчиняются все говоры русского языка? Нет, между южным и северным наречием выделяется довольно крупное языковое объединение – *группа среднерусских говоров*. По своей структуре она не настолько однородна, чтобы называться *наречием*, но говоры внутри нее имеют достаточно общих

черт, чтобы все-таки объединиться в *группу*. На территории Московской области распространен именно среднерусский говор.

В следующий раз вы узнаете, как составлялись первые диалектные карты, почему на них представлена не вся территория нашей страны и как это связано с историей русского языка. Новым заданием будет перевести «с русского на русский» фразу «Голодный? Ну так пойди, возьми с грядки калитку, пока горячая». Желаю удачи и новых лингвистических подвигов!





Хелью РЕБАНЕ

Продолжение. Начало в № 7–12 за 2014 год, в № 1, 2 за 2015 год

ПУБЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ

ПОВЕСТЬ¹

Рисунок *Настасьи Поповой*

Предвидя возможную депортацию с моего места у окна, я решила, опережая события, застолбить себе другое и, бормоча «экссьюзе муа», протиснулась мимо угловатых коленок чернокожей соседки в проход между креслами.

Французы доброжелательно, но, на мой взгляд, уж чересчур улыбочиво наблюдали за мной, пока я шла по проходу. Ничего прикольного, если не считать полупустого пластикового пакета с Дедом Морозом у меня в руках, я за собой не заметила. Сентябрь все-таки. Этот пакет с *Санта-Клаусом* (во Франции его следует величать так) снова победоносно вылез наружу. Он почти торжествовал, как торжествовали алюминиевые ложки в рижской забегаловке и красный пластик в моей *chambre*² в гостинице, свидетельствуя о некоем вреднючем *постоянстве*, сродни проклятию.

Последние ряды вагона пустовали. Оставив там пакет, я все с теми же извинениями забралась обратно к окну. Минут через пять с ужасом обнаружила, что из новогоднего пакета вынула только деньги. Пропуск к *двери дома моего* — авиабилет и паспорт, а также ваучер в гостиницу оставила с Дедом Морозом. Вскочив как ужаленная, я снова, твердя «экссьюзе муа», пролезла мимо

стройных смуглых ножек афрофранцуженки и поспешила по проходу к моему пакету. Вы не поверите — он там и лежал! А ведь за это время была остановка.

Забрав документы и вернувшись, я заметила *неподдельный интерес* в глазах темнокожей соседки и сочла наконец нужным представиться. Сколько можно молча обивать ее смуглые колени?!

— Сильви, — сказала я.

— Мари-Паскаль, — протянула она мне узкую смуглую ладошку.

Надо же, *Паскаль*, удивилась я про себя. Никогда бы не подумала, что это женское имя. Пожав ее руку, я тревожно взглянула на часы. Половина двенадцатого. Близился Сен-Рафаэль. В надежде, что соседка прояснит ситуацию, я сунула ей под нос мой билет и спросила:

— Па бон?

Мари-Паскаль *прояснила* очень охотно. Она выдала скороговоркой длинную тираду на французском, в которой я уловила только одно знакомое слово: Paris.

— Па бон? — переспросила я.

— Бон, бон! — закивала она головой и даже потрепала меня по плечу.

Мы разговорились. О чудо! Выяснилось, что Мари-Паскаль, как и я, худо-бедно, но говорит по-английски. Она хотела знать, откуда я. Про Москву она, конечно, слышала, но вот Таллин...

¹ Журнальный вариант. Полный текст будет издан отдельной книгой.

² Комната (фр.).

Нет, не знает. *Па бон*. А Финляндия? Это ей знакомо? Ну а как же! Мари-Паскаль радостно закивала головой.

Я достала записную книжку. На чистом листке нарисовала тигра — Скандинавский полуостров. Затем — Балтийское море, Хельсинки и напротив, через залив, Таллин. Она охотно вникала и энергично кивала головой.

Потом она заговорщицки кивнула в сторону молодого человека, сидевшего в нашем ряду через проход.

— This is my friend¹, — гордо произнесла она.

Темнокожий *френд* приветливо приоткрыл в улыбке белоснежные молодые зубы.

И вот подтверждение, что в мире неукоснительно соблюдается баланс. Несколько дней назад на пустынном средиземноморском берегу я изложила случайной знакомой, Раисе, мою *лав стори*². Хотелось ей это слушать или нет. Зато было *позарез* необходимо мне. Она полностью мне не поверила. Ее дело. Когда осознаешь, что твое видение событий напоминает предмет, на который другой человек смотрит сквозь толстое мутное стекло, перестаешь возмущаться, что тебя правильно не понимают. У каждого человека свое собственное *искривление*. *Нарост на сетчатке*, которому психологи дали название *установка*. Люблю читать статьи о психологии. У кого что болит, тот о том и читает.

Теперь Мари-Паскаль принялась делиться со мной своими переживаниями. Тоже без *спросу*. Почти всю дорогу, те же пять часов, что я изливала душу Раисе, я выслушивала соседку. *Кондиционер жары и холода* работает идеально. Сколько получила — столько отдай. Иначе Земля может перекосяться. Северный полюс съедет набедренный или Южный выползет снизу на экватор.

Выяснилось, что у худенькой, как девочка, Мари-Паскаль взрослый сын, как и у меня. И четыре сестры. Имена всех начинаются тоже с «Мари», только с разными приставками. Мари-Элоиз, Мари-Катрин, Мари-Коринн, Мари-Доминик...

Мари-Паскаль замужем, а юный *френд*, сидящий через проход рядом с нами, это ее *love*³. На десять лет моложе ее.

— Я сказала себе: Мари-Паскаль, ты любишь своего мужа, это невозможно, — вздохнула она.

Тем не менее, как оказалось, — возможно. И вот они уже пять лет вместе. Она хотела

рассказать о нем матери, но сын остановил ее: «You like problems?⁴».

Закончив, Мари-Паскаль задремала. Проводница меня больше не беспокоила, и я, рассеянно глядя в окно, стала лениво, полусонно размышлять. Я тоже не могу ничем без *you like problems* поделиться с мамой. Только с тетей Шурой. Медики... смотрят на жизнь гораздо шире, чем учителя. Когда приходится часто видеть смерть, акценты расставляются иначе. *Перед лицом смерти...* Фредерик... Мой несостоявшийся *лавер*⁵... Теперь я уже твердо знала, что *любовник-француз* — просто моя такая же пустая фантазия, как у обиженного ребенка: *уйду из дома, вот тогда родители поймут...* Наверняка в ответ на мое письмо из Ниццы Фредерик оставил мне записку у Людовика на *ресепшен* и ждет меня, чтобы повидаться в мой последний вечер в Париже. Нет, не буду ему звонить... И тут я перешла к несвойственным мне обобщениям.

По-видимому, в свое время тоже произошла какая-то ошибка, думала я печально. В молодости *села не в тот поезд* — и вот мы оба мучаемся. Стас изменяет жене, а я не хочу выходить за кого-либо другого замуж. *Ворочу нос* от поклонников, в весьма богатом ассортименте предлагаемом судьбой. Но... ни он, ни я не жалуемся на нее, судьбу, не называем ее *злодейкой*... Другой не дано. Кто-то *творит* свою судьбу, кто-то ждет ее *на печи*. Возможно, те, кто целенаправленно *устраивает* свою жизнь, и не видят в браке ничего *судьбоносного*. Разве может *покупка холодильника* иметь *судьбоносный* характер?

Дорога благодаря Мари-Паскаль промелькнула быстро. Меня с моего места не прогнали. Сцепленные поезда в Сен-Рафаэле не расцепили, они не разбежались один на запад, другой на восток, а дружно прибыли в Париж. Я так и осталась в неведении, что же с моим билетом было *па бон*.

Я попросила Мари-Паскаль, чтобы ее *френд* помог снять с поезда набитую до отказа мамину синюю сумку, а она дала мне свой адрес и, как о чем-то очень важном, попросила прислать ей открытку из Москвы. Из России, где *ничего не сделали и дали погибнуть* команде подводной лодки Koursk...

Уже из окна поезда Париж показался мне каким-то странным. Метро тоже странно изменилось. Что-то было *очень* не так. Внезапно я поняла. Мои дорогие *паризии* переоделись в серые, бежевые, черные демисезонные куртки и пальто.

¹ Это мой друг (англ.).

² Историю любви (англ.).

³ Любовник (англ.).

⁴ Тебе хочется проблем? (англ.).

⁵ Любовник.

Такие же одежды, как осенью в метро у москвичей или в троллейбусе у таллинцев. Сердце мое сжалось. Даже в Париже *бывает осень*, поверила я наконец. До станции пересадки я ехала на линии номер один, в новом, чистом метropоезде двадцать первого века, но все равно мне было немножко *тристе*¹. В вагон зашел молодой высокий француз с аккордеоном и, встав у дверей, прямо рядом со мной начал играть. Он играл какую-то знакомую, очень сентиментальную мелодию. Грусть моя вдруг улетучилась.

Просто смешно, какие парижане *мерзляки*, подумала я. Мы в Эстонии и России одеваемся так поздней осенью, когда по-настоящему уже холодно. Впрочем, что взять с людей, которые в жару носят зашнурованные ботинки, почти как ортопедические.

Я вышла на уже *родной* станции Буасье. Вечерело. Синюю собаку-сумку помог поднять вверх по ступенькам вежливый молодой француз. Она послушно катилась рядом со мной по серому, выложенному веером булыжнику.

27.

Мое письмо, адресованное Фредерику, так и лежало на *ресепшен* гостиницы «Резиданс Клебер». Блондин Людовик заулыбался, увидев меня, и тут же вручил его мне. В гостиницу Фредерик, оказывается, даже не приходил. Так мне и надо, подумала я. Фредерик хотел же *тем*. А ты хотела только *убедиться, что желанна*. Парень не дурак, он прекрасно понял, как ты его *підманула, підвела*.

Словно в наказание за обиду, нанесенную Фредерику, в гостинице вдруг все изменилось. На оставшуюся единственную ночь в Париже номер дали на первом этаже. С видом не на крыши Парижа и светящуюся вдаль в темноте, чарующую по ночам башню Монпарнас, а на мусорные баки в темном дворе-колодце. Форточку пришлось сразу закрыть — со двора доносился шум мощного кондиционера хозблока. В комнате сразу стало душно.

Но именно здесь произошло нечто, что Блез Паскаль назвал бы *чувством тонкостей*. Я поужинала в кафе, затем позвонила из номера сначала маме, потом Стасу. Сообщила, что завтра буду уже в Таллине. Оттуда лечу в Москву.

— Приезжай, — сказал Стас. — Я не заставляю тебя снова целую неделю ждать.

Надо же, подумала я, *он соскучился*. Как тут не вспомнить, что *разлука для любви, как*

ветер — для костра. Маленькую любовь гасит. А большую раздувает еще сильнее...

Правда, так и осталось неясно, что он подразумевал, когда сказал, что я не умею держать язык за зубами. Согласна, не умею. Но что *конкретно* он имел в виду?

Только, уже надев ночную рубашку и укладываясь спать, я увидела на прикроватной тумбочке эту книгу. В синем переплете. Забытую предыдущим постояльцем. Меня внезапно, *ни с того ни с сего*, охватило тревожное *предчувствие*. Нет, даже скорее, странная *уверенность*, что в книге этой кроется нечто чрезвычайно важное для меня.

Почти со страхом, с необъяснимым душевным трепетом, словно преступник, ожидающий приговора, я взяла ее в руки. Книга была на английском языке, но я сумела перевести название. «Там, где реки меняют направление». И что? Никаких ассоциаций... Раскрыв ее, я увидела посвящение на титульном листе: «For Maria, only for Maria...» *Вот оно. Знак*. Имя его жены. Что бы ни говорила Раиса о том, что Стас и жену не любит. Во всем остальном Раиса была права, и все же... есть нечто такое, чего я не могу знать ни с его слов, ни на основе собственных невольных наблюдений. Вот — *откровение*. *Любит он только ее*. А я знаю, какая это непобедимая сила — *любовь*. Мне ли этого не знать. Любое сражение против нее обречено на провал. Да... Он мне *не принадлежит*. В этом Раиса права. Возможно, в свое время надо было последовать лозунгу бунтующих французских студентов «Будьте реалистами, требуйте невозможного!». Даже это я прочитала в книге, которую именно Стас и дал мне почитать. Тогда, двадцать лет назад... А может, надо было тогда попытаться *умыкнуть холодильник*, а не *приворачивать* из него время от времени продукты? Ведь такое раздражает *хозяйку* гораздо больше. Но разве меня можно назвать *реалисткой*? Я не могла даже помыслить оставить тогда еще малых детей Стаса без *холодильника*. Что помешало? Мамино внушение «на чужом несчастье счастья не построишь». И не только. Мне вспомнились слова моего бывшего участкового врача, доктора Сережи: «Увести из семьи — это как взлом сейфа». Доктор сильно пил, из поликлиники его уволили, но он продолжал *обходить* свой участок. Жил где-то поблизости. Случайно сталкиваясь со мной на улице (*пьяный в стельку*, зимой ходил в пальто и шляпе, но с голой грудью), он *стрелял* у меня рубль или трешку и попутно изрекал такие вот *образные истины*... Так что же? Не потребовав в ту давнюю пору *невозможного, не взломав сейф*, я поступила правильно? Или неправильно?

¹Грустно (фр.).

* * *

Не только погода, все в Париже теперь ухудшилось. Даже портье почему-то не разбудил меня в пять утра, как я просила. Проснулась сама только в шесть и лихорадочно упаковалась за час.

Я стала скупой и прижимистой — у меня остались только двухсотфранковая бумажка и какая-то мелочь, но еще надо было оплатить телефонные переговоры, двадцать четыре франка. Решила доехать на метро до остановки микроавтобуса, а дальше уже на нем в аэропорт. *Никакого такси.* Преспокойно прихватила с собой из кафе бутылочку сока и два крохотных треугольных плавленых сырка. Надо же, мысленно прокомментировала я себе этот поступок: я изменилась. Всего за две недели. Так чего же от него хотеть? Мы не виделись целых десять лет! Не только страна наша за эти десять лет изменилась, подумала я. Изменились и мы с ним. Но не до неузнаваемости...

В семь часов, оставив мелочь на чаевые Людовики, вышла на улицу. Было прохладно. Еще две недели назад я не верила, что в Париже бывает осень, как в молодости не верила, что и мне когда-нибудь будет пятьдесят. Теперь поверила, что в Париже бывает и зима. *Знать и верить — разные вещи.*

Подъезжая к аэропорту, из окна микроавтобуса я увидела, что на открытой низкой платформе на колесах везут огромного динозавра. В газетах сообщалось, что под Парижем недавно построили Диснейленд, такой же, как в Америке. Мне вдруг вспомнилось, как моя соседка по комнате, маклер по недвижимости, во время первого моего визита в Париж в конце концов назвала меня *динозавром*. Мы всю поездку пререкались с ней, ждуть ли тех, кто из нашей группы вовремя не возвращается в автобус, или уехать. Она пыталась мне объяснить, что коль скоро за путевку уплачены большие деньги, то нельзя тратить ни минуты даром. Они сами виноваты и пусть добираются до гостиницы, как хотят. Теперь я стала смутно догадываться, что она под этим *динозавром* имела в виду. Что ж. Сегодня *динозавр* покидает Париж.

В аэропорту в зоне duty free¹ глаза мои разбежались. Увидев красивые, ярко освещенные витрины со всякой всячиной, я, как всегда, захотела купить решительно все. Прибереги хотя бы двадцать франков, мадам, вдруг тебе, например, захочется в туалет, а он окажется платным, сказала я себе.

У меня оставалось на руках еще сто франков, их надо было непременно потратить.

Прощай, Франция... Вряд ли когда-нибудь еще смогу сюда вернуться.

Я купила себе и маме французский лак для ногтей, открывая сначала пробники. На моей левой руке все ногти были теперь разного цвета.

Вот такая мадам с разноцветными ногтями ступила на борт самолета. Рейс Париж — Хельсинки.

Уже в зоне *boarding*² меня окружало непривычно много светловолосых людей. Правда, в зале ожидания сидела и группа женщин, похожих на Мари-Паскаль. Они летели в Финляндию, а может, как и я, с пересадкой, в Таллин. Посмотреть на светловолосую экзотику. Эта светловолосость бросалась в глаза среди пассажиров, сидевших в креслах нашего боинга. Со временем Эстония и Таллин будут европейцам знакомы, подумала я, глядя на уйму двойников Мари-Паскаль.

Самолет вырулил куда-то в сторонку и долго не взлетал. Две недели назад перед взлетом в иллюминаторе я долго созерцала асфальт взлетной полосы таллинского аэродрома. Теперь — траву. Зеленую, зеленую траву. Такую же траву, как в Таллине, Хельсинки, Москве.

Француженка-стюардесса, стройная, в синей униформе с белыми манжетами и воротничком, с аккуратным, уложенным на макушке пучком чистых блестящих черных волос, расхаживала между рядами, проверяя, все ли пристегнули ремни. Меня призвали к порядку: у меня был поднят столик, ремень безопасности пристегнуть я не забыла.

Самолет наконец взлетел, пассажирам раздали обед, потом убрали пластмассовую посуду, и я уснула. Проснулась, когда внизу, за белыми ватными островками облаков, уже виднелось море. Рябь на нем застыла, напоминая морщинистый, застывший асфальт перед скамейкой на набережной Ниццы. А также кожу тамошних богатых дам, покупающих дорогую обувь.

Как по-разному вели себя Фредерик и Джорджио, подумалось вдруг мне. Я внезапно поняла, что Фредерик вел себя как миллионер, в смысле времени. А Джорджио... разве ему не надо поторопиться? Он и вел себя как бедняк, у которого времени почти не осталось. А ты сама? Разве твое поведение не изменилось, когда в кошельке у тебя осталось только сто пятьдесят долларов? Разве ты не стала (спасибо Раисе) посещать «Макдоналдс» и покупать пятифранковые гамбургеры

¹ Беспшлинной торговли (англ.).

² Посадка (англ.).

вместо семидесятифранковых комплексных обедов? Так и кредит времени, отпущенный человеку, не бесконечен...

Я прислонилась к стеклу иллюминатора и наблюдала за тем, как снова появилась суша — страна по имени Финляндия. Возникли бархатные кусочки лесов. На солнце серебристой слюдой блестели финские озера. Низко над ними висели ватные комочки облаков. Самолет наш плыл высоко над всем этим. Слюда *временами* отражала солнце. Среди кустов вились светлые ниточки дорог. Россыпи поселков. Стройные стюардессы, одна краше другой, развозили по узкому проходу еду и напитки.

В аэропорту Хельсинки провела два часа в ожидании пересадки и снова, всего лишь на двадцать минут, села в самолет, чтобы долететь до Таллина. Обе стюардессы в этом узком маленьком самолете были рослые блондинки, обе со вздернутой верхней губой и такими же носиками. Некий *фирменный знак* Эстонии.

* * *

В Таллине было сыро и прохладно, почти холодно.

Ничего удивительного, что тут не писают на улицах, как в Ницце, думала я, сидя рядом с шофером в такси, белой хонде, мчавшей меня по широкому Järvevana tee¹, домой, к маме, и глядя на темно-серое низкое небо.

В маминой квартире, как всегда, сияющей до блеска натертым паркетом и чистой (куда мне до нее!), было холодно. Я чувствовала себя там как ящерица без солнца. Жизнедеятельность во мне замедлялась вдвое. В начале сентября еще не топили, а каменный дом, казалось, вдыхая холод с улицы, выдыхает его в квартиру.

На кухне была включена духовка электроплиты, дверца ее распахнута настезь. За столом сидел, дожидаясь моего прибытия, дядя Миша. Перед ним на столе, покрытом цветастой клеенкой, стояла рюмка коньяка. Вид у него был почему-то грустный. Но он тут же *взял себя в руки* и, весело подмигнув мне, сказал, что выгляжу я после Франции просто великолепно. И, конечно же, добавил, что *похудела*. В отличие от своей сестры Шуры, любившей *сказануть* что-нибудь правдивое и неприятное, он, напротив, любил говорить приятное, не придавая особого значения *истине*.

Мама предупредила сразу, что посидит с нами только час. Уезжает на дачу. Год был урожайный, опавших яблок *не счесть*, надо бежать собирать.

Дядя Миша посетовал, что у них на даче та же история. Яблок в этом году уродилось слишком много.

«Мама, куда бежать и кому это *надо*? К чему тебе тонна опавших, никому не нужных яблок?» — вертелось у меня на языке. Сначала мама перенесет их в дом и только потом, когда яблоки полегат и на них появятся коричневые пятна гниения, отправит в компост. Выбросить *сразу* невозможно. Раздать их и *осчастливить* кого-нибудь тоже невозможно. В этом году яблоками завалены решительно все таллинские семьи. Все имеют либо дачный участок, либо родню в деревне. Даже на главной улице Таллина, Viru, витрины некоторых магазинов украшены горами яблок.

Но мама с дядей *не могли остановиться*. *Интеллигенты в первом поколении*, чьи родители были простыми крестьянами, они, как батарейки Duracell, все работали, работали и работали. Не зная на то, что у них, в отличие от их родителей, *семерых по лавкам* не было.

Мы выпили втроем по чашечке кофе со сливками с парижскими сладостями, я рассказала про свое путешествие, про ухажеров, подробно про Фредерика. Внимая мне, дядя одобрительно кивал головой. Но все же...

— Ты какой-то грустный, — сказала я ему, закончив. — Что случилось?

— Спилели, — ответил он сдавленным голосом.

Подумать только! В течение тридцати лет смотреть на подрастающую ель, видеть, как она набирает мощь, и вот так взять и спилить ее. Выбросить за борт целый кусок этих тридцати лет жизни.

— Как ты мог это допустить? — спросила я.

У дяди было такое лицо, как будто он вот-вот заплачет.

— А я даже очень рада, — вмешалась мама.

— Тридцать лет растет большое дерево! — возмутилась я.

— А спилили за десять минут, — сказал дядя глухим голосом, еле сдерживая слезы. — Я ушел на крыльцо. Вы не поверите, сидел там и плакал.

— Но как, как ты позволил? — спросила я.

— Малле хотела.

— И ты позволил бабе, — я намеренно сказала «бабе», слово, которое терпеть не могу и никогда не применяю, — настоять на своем?

Я чувствовала себя так, словно *наша команда проиграла*.

¹ Дорога озерного старичка (эст.). По легенде, старичок, живущий в озере Юлемисте под Таллином, затопит город сразу, как только он будет полностью застроен. Во избежание этого строительство Таллина никогда не прекратится.



— А я очень, очень рада, — с каким-то глупым смешком повторила моя мать.

Я уже не раз изумлялась, что в конфликтных ситуациях она почему-то всегда оказывалась не на стороне *своих*. Не на моей стороне, своей дочери. Сейчас не на стороне брата.

— Просто ты человек, который живет по принципу «ilu ei kõlba ratta ranna»¹, — заметила я.

Я не хотела ее обидеть, но и промолчать не могла.

Только в Москве мне пришла в голову, не знаю почему, мысль: теперь и дядя мой скоро умрет. Но нет, это была крепкая порода. Он пережил свою елку на семь лет.

Дядя засобирался домой, я пошла его провожать. Он, по-видимому, *перебрал*, и внизу, в дверях парадного входа, разоткровенничался. Такое с ним бывало нечасто.

— Катя сейчас на перепутье, ей надо очень серьезно подумать.

— О чем? — спросила я.

— Вот этот ее Пеэтер, он предлагает ей замуж. Она мне сказала, что любит другого. Но дело в том, что тот, другой, женат.

— А дети у этого *женатого* есть?

— Да. Дочери двадцать. Сыну двенадцать.

— Сколько же ему самому?

— Сорок два. Она от него просто в восторге. Умный, красивый... Он ей сказал, что разведется и женится. — Дядя Миша тяжело вздохнул.

— Так пусть сначала разведется! — воскликнула я.

— Вот именно! — обрадовался мой захмелевший, все еще внешне интересный дядюшка, словно мое вполне логичное предложение свидетельствовало о незаурядном уме или о том, как глубоко я его понимаю.

— Пусть Катя кует железо, пока горячо, — сказала я. В эту минуту я не думала о том, что *увести из семьи — это как взлом сейфа*. Я просто болела за *футбольную команду* моих кузин. Удивительно, как легко мы даем другим людям советы, которым не следуем сами.

— Она меня не слушает, а слушает, что ей советует Калле.

У дяди Миши жена эстонка, и они договорились, что первому ребенку дадут русское имя, а второму — эстонское. Поэтому кузина — Катя, а кузен — Калле.

— А я сказал, что Калле сам не сумел правильно устроить свою жизнь. Вторая его увела от первой, хотя сама на шесть лет его старше.

— Дядя Миша! Ты только что, за столом, говорил, что ничего страшного, что Фредерик моло-

¹ Красоту в кастрюлю не положишь (эст., фразеологическое выражение, здесь — дословный перевод).

же меня на двадцать четыре года! Что бывает и такое! — воскликнула я.

Дамы и господа, не обращайтесь внимания на то, что кто *говорит!* Смотрите только на то, что кто *делает!*

Проводив дядю, я вернулась в квартиру, вынула из синей сумки на колесиках, которой я временно во Франции пользовалась, все свои вещи и торжественно вручила ее маме.

— Вот! Подарок тебе! — сказала я.

— Что мне с ней делать? — спросила мама, недоуменно глядя то на пустую теперь, красивую, большую ярко-синюю сумку, то на меня.

— Как что? Она на колесиках, легкая, вместительная. На дачу будешь с ней ездить, что же еще!

— У меня есть сумка на колесиках, — сказала мама тоном, не терпящим возражений.

— Но... она уже и рваная и... страшная. С твоим новым зонтиком... как?

— Меня она вполне устраивает, — сказала мама, поджав губы. — Я спешу.

Я невольно поежилась. Когда же здесь уже начнут топить?

— Боже, как же здесь холодно, — вырвалось у меня.

— Иди туда, где тебе тепло, — сказала она, надевая куртку.

И я пошла туда, где мне тепло. К тете Шуре.

* * *

Мы снова сидели в узкой спальне тети, где со стен были содраны обои, где мимо кровати к окну надо было протискиваться боком и танцевальным шагом влево-влево, а обратно вправо-вправо. *Воз и ныне был там.*

Я села на широкую кровать, которой было уже более тридцати лет (это для меня теперь *не срок*), мы поставили на нее доску, на доску бутылку рижского шампанского и бокалы. Все это чем-то неумовимо напоминало Public Plage.

Я снова рассказала про мое путешествие, про Фредерика и про Жан-Клода. И в завершение — про переживания дяди Миши.

— Представляете, спилили, — сказала я. — Тридцать лет росло, никому не мешало... Мне дядю Мишу так жалко.

— Что с них взять, — сказала тетя Шура. — Они с ним не считаются. Не надо было на молодой жениться. Мне тоже его жаль.

— А мне нет, — сказала Лена.

С тех пор, как дядя имел неосторожность сгоряча помочь своей сестре и *вмешаться в воспитательный процесс*, Лена его невзлюбила и не простила, хотя прошло уже пятнадцать лет.

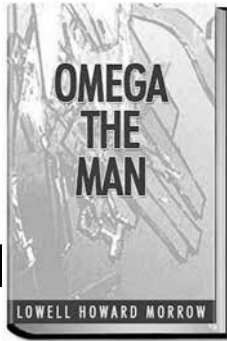
Лена рассказывала, как он тогда примчался к ним и, схватив первое, что попало в прихожей под руку (это был рулон обоев, что же еще?), начал колотить *блудную дочь* по спине. Тетя Шура нажаловалась ему, что *Леночка* не пришла домой ночевать, рыдала в трубку. Лена вскоре вышла замуж за того, с кем тогда *ночевала. Се ля ви.* Это матери мы прощаем решительно все. А дядя Миша остался, мягко говоря, в *не очень умных.*

Было практически невозможно представить его, такого интеллигентного, даже в чем-то *утонченного*, колотящим мою любимую кузину обоями по спине. Но не верить словам Лены у меня тоже оснований не было.

Пока я путешествовала, Лена закончила наконец ремонт своей квартиры, и мы с ней пошли туда *продолжать банкет.* Я успела уже напрочь забыть, что обязана подавать ей *пример воздержания.* Тетя Шура, по-видимому, тоже. Она отнеслась к нашему решению вполне благосклонно.

— А я пойду прикорну, — сказала она, улыбаясь, и стояла в дверях, провожая нас, большая и... теплая. На ней были черные брюки и черная футболка с красочным изображением Эйфелевой башни, привезенная мною только что из Парижа.

Продолжение следует.



Лоуэлл Ховард МОРРОУ



Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом зарубежной литературы журнала. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка в номинации «Начинающему автору» журнала за 2013 год. Выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета по специальности «перевод и переводоведение», в настоящее время учится в магистратуре Российского государственного гуманитарного университета по специальности «история».

Продолжение. Начало в № 1, 2 за 2015 год

ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Как уже говорилось, гигантский воздушный корабль был последним прибежищем человечества. Внутри собраны последние достижения, демонстрирующие изобретательность людского разума. Эти машины почти сверхъестественной мощи проникали не только в прошлое, но и в будущее. Чудовищных размеров атомный механизм мог порождать погоду и управлять ею. Электромагнитные волны пучками создавали атмосферное давление, рассылали импульсы тепла и холода в нужных направлениях, вызывая засухи и дожди. Впрочем, теперь Омега не нуждался в этой машине, как и во множестве других. Он сохранил ее потому, что она напоминала о радостях прошлого. Кроме того, с помощью специального приспособления человеческий разум мог уноситься в другие миры. Это требовало развитого управления подсознанием и сосредоточенной воли. Омега устал от скитаний, его тело больше не могло позволить такие далекие путешествия. По мере того, как шло время, он осознал, что его естественный дом — Земля. Соседи

Земли по пляде, мертвые или умирающие, не предоставили ему спасительной гавани.

Перед тем как отправиться в последний полет, Омега с Тальмой отобрали лучшие из мировых сокровищ. Золото и драгоценные камни для них значили не больше булыжника, так как люди давным-давно научились создавать их искусственно — несколько драгоценностей были взяты только потому, что напоминали о давно ушедших из жизни родных и любимых людях. Биомашина в химической лаборатории корабля, воссоздающая жизнь из обильных запасов природы, теперь, при почти полном исчезновении атмосферы и влаги, была лишена смысла. И все же Омега ценил ее и берёг: она не только ассоциировалась с прошлым, но и пленяла непонятным очарованием.

После расставания Зеркала и других механизмов Омега и Тальма вернулись на корабль и проспали весь день: с заходом солнца они снова собирались выйти на охоту на чешуйчатого демона, захватившего последний источник воды на планете.

Ночь выдалась безлунной. Впрочем, звезды освещали все происходящее за темными камнями. Заняв ту же позицию, последние люди Земли нетерпеливо наблюдали за озером. Ничто, однако, не тревожило зеркальную гладь. Как и прошлой ночью, жутковатая тишина поразила их, хотя они и привыкли к безмолвию. Но озеро было так тихо и незыблемо, так сильно было присутствие смерти и тайны, что невольно хотелось закричать. Безмолвие подрывало дух; осознать, что одно-единственное живое существо на Земле стоит между ними и их последней надеждой — водой, было невыносимо. Как они жаждали сразиться с отвратительным монстром! Но час за часом ничто не нарушало мертвенного покоя. Большая Медведица ушла за горизонт, наступил рассвет. И ничего даже не булькнуло. Омега решил, что его догадка неверна: животное не выходило ночью в поисках пищи. Быть может, оно осознало их бесплодность в мертвом запыленном мире.

* * *

Они изрядно устали от долгого тщетного дежурства. Вдруг Омегу, сидевшего в паре ярдов от Тальмы, встревожили мягкая дрожь почвы и шум чьего-то дыхания. Подняв голову, он с ужасом увидел над собой монстра. Голова раскачивалась из стороны в сторону, большие неуклюжие лапы несли чешуйчатое тело по берегу. Ящер обошел скрывающийся обоим камень и задрал шею, явно не заметив людей; его жуткие немигающие глазки не отрывались от воды. Однако парализованный страхом Омега, находящийся прямо у него на пути, решил, что настал последний час. Такой вот финал: быть сокрушенным чудовищным весом оспаривающего его право на жизнь монстра. Но в тот самый миг, когда он подумал, что все кончено, рядом появилась Тальма и увлекла мужа за собой. Однако продолживший путь зверь задел его качающимся животом, вырвав из ее хрупкой ладони и ударив о камень.

Омега лежал неподвижно. Тальма поспешно разрядила пистолет в рептилию. Она выстрелила трижды, почти не целясь. Монстр ринулся в воду. Громкий всплеск — и все стихло. Еще несколько секунд по воде бежали пузыри, а потом все стало как прежде. Встревоженная женщина склонилась над Омегой:

— Ты не ранен?

— Нет, лишь слегка потрясен.

Он с трудом сел и рассмеялся:

— Да уж, великие из нас охотники. Чуть не стали добычей собственной дичи! Пошли на корабль. Прикончим его в следующий раз.

Однако чудесное спасение расшатало их нервы. Весь день они не выходили из своего убежища и не отводили пистолеты от озера в надежде, что ящер вот-вот появится. Они понятия не имели, как и когда он вылез из воды, но теперь было ясно, что плезиозавр представляет куда большую опасность, чем казалось. Потому Омега решил подключить к делу технику. Тогда он, несомненно, быстро покончит с чудищем.

На следующий день он размотал кабель высокого напряжения вдоль берегов озера и подключил к нему множество разных ловушек — часть в воде, часть на суше. Больше не придется рисковать своими жизнями, охотясь на чудовище после захода солнца.

Наступившие жаркие дни стали очень беспокойными для последних детей жизни. Ни одна ловушка не сработала. Ящер и не думал касаться склизким телом или хвостом заряженного кабеля. Последний из своего рода, ведущий последнюю борьбу за существование... казалось, природа наградила его недюжинной хитростью. Прямо перед Омегой и Тальмой находилась живительная вода, на которую кроме них не покушался ни один человек. Однако их враг был намного ужаснее любого человека.

* * *

В течение этих томительных дней пара часто подходила к Зеркалу и всматривалась в него в поисках облаков. И не раз тонкие, как паутинка, тучки появлялись в разных частях света, радуя их сердца... только чтобы исчезнуть на глазах. Со временем предвестники дождя стали появляться реже. Омега с Тальмой знали, что глупо надеяться на возвращение водяного пара. Их приборы, данные прошлых лет, здравый смысл — все свидетельствовало, что надеяться тщетно. Однако природа и жизнь в верхних слоях атмосферы умирали ничуть не легче, чем их надежды. Однажды настоящее облако — темное, полное влаги — появилось в Зеркале. Сверившись с картой, последние люди Земли выяснили, что оно парит над великой землей равнин и гор, когда-то бывших частью Соединенных Штатов Америки.

— Отправимся туда и исследуем этот дар небес. Он находится над некогда прекрасной землей, где, как утверждает история, миллионы лет назад жила нация свободных и смелых.

— Да, конечно, — согласилась Тальма. — Может, Альфа впервые увидит свет вдали от этой жуткой долины и чудища в озере.

Омега повесил голову. Он знал, что присутствие монстра медленно убивает его возлюбленную. Она не жаловалась, но видела ужасные сны,

и не раз Омега просыпался ночью и находил ее стоящей у окна и глядящей на озеро распахнутыми от страха глазами.

Облако образовалось за тысячи миль к востоку. Они поспешно собрались и полетели. Увы, хоть Омега с Тальмой добрались туда всего за час, остатки пара рассеялись у них под носом, и они с грустью вернулись назад. Судьба вновь сыграла с ними злую шутку.

Окончательно решив, что эта низина стала их прибежищем до конца, Омега начал искать подходящее для строительства место. Корабль был уютен и безопасен, но людям хотелось настоящего дома. Постоянная угроза со стороны водного монстра нагоняла тоску и страх, хотя Омега с легкостью мог оградить свое пристанище электрическим барьером. И, тем не менее, он невольно гадал, остановят ли они это существо; помешают ли навеститься однажды ночью к ним и просунуть уродливую голову в дверь или окно? Он содрогался от таких мыслей, но, конечно, не делился ими с Тальмой.

Когда подходящее место — под ветвями большого кораллового дерева и тенью нависающей скалы — было выбрано, Омега начал возводить дом. Несколько дней — и постройка готова, отделана и снабжена снятыми с корабля устройствами. Там было все — даже водопровод от озера. Из береговой травы устроили лужайку перед домом. Ее регулярно поливали — ради Тальмы, хотя эту воду можно было израсходовать на что-нибудь еще, а озеро устойчиво мелело. Но в глазах Тальмы трава была священной: «матушка» старой Земли, последняя в своем роде.

Внутри домик был украшен не хуже дворца взятыми из корабля сокровищами. Великолепные ковры, шторы, гобелены и шелка со всего мира украшали его, радуя глаз. Картины с изображениями лесов и равнин, горных ручьев и озер — наследников дней юности Земли. С течением веков люди с помощью искусства стали все точнее выражать настроение и красоты природы. Эти картины Омега повесил над изголовьем Тальмы. Быть может, их присутствие успокоит женщину, пока она ждет ребенка.

* * *

Однажды утром, устав от пустоты и однообразия своего места обитания, чьи каменные стены простирались на много миль, Омега с Тальмой решили исследовать вершины. Порой казалось,

что скалы могут сойтись и стереть их в порошок. Парочка решила не лететь на корабле, а просто отправиться на пикник, все еще надеясь, что — как знать — может обнаружиться другой оазис жизни.

Рука об руку они взмыли вверх, миновали мили хмурых утесов и темных пещер, зияющих, будто ухмыляющиеся черепа. Они летели, не прилагая никаких усилий, и, достигнув вершины, присели отдохнуть на пыльной скале.

Красное солнце поднялось на темно-лазурном небе, расчерченном пурпурно-золотыми полосами. Милях в девяти под ними находилась глубокая впадина, где стоял их маленький, выглядящий кукольным домик и сиял большой серебристый корабль. Озеро мерцало подобно искре среди тусклых камней. Омега и Тальма благоговейно смотрели на этот единственный очаг жизни посреди угрюмых пиков, равнин и ущелий. Вдруг на поверхности озера мелькнуло что-то темное. Омега со страхом посмотрел на Тальму, поняв, что это значит. Женщина побледнела и прижалась к Омеге. Они уставились на воду.

Монстр появился вновь. Длинное извилистое тело вспенило воду; голова дергалась, а жуткие глазки смотрели на сушу. Это было первое его появление с той ночи, когда он чуть не убил Омегу.

— Смотри! — выдохнула Тальма. — Он выходит на берег. Ох, я так надеялась, что он умер!

Ее била крупная дрожь. Она прижалась к Омеге. Оба подняли бинокли.

— Не волнуйся, милая, — утешал мужчину, глядя, как животное вразвалку приближается к суше. — Смотри — он идет прямо в ловушку!

Однако их вновь постигло разочарование. В нескольких ярдах от берега, когда пятнистое туловище почти высунулось из воды, монстр замер, повел головой и медленно осмотрелся. Затем, явно почуяв опасность, развернулся, поплыл к середине озера и погрузился в воду.

— Я б-боюсь, — вздрогнула Тальма.

— Бояться нечего. Он не может попасть к нам в дом, однажды он непременно попадет в ловушку, или мы его застрелим.

Несмотря на храбрый тон, мужчину сильно беспокоило влияние чудища на Тальму. Он понял, что нужно изобрести более эффективный метод уничтожения. Хоть Омега лично не слишком боялся ящера, само присутствие чудища тревожило. К тому же монстр поглощал немало нужной людям воды.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина.



Дарья БУРДИНА

Я, Дарья Бурдина, родилась в 1998 году, учусь в одиннадцатом классе. В этом году я заканчиваю школу и мне предстоит выбрать путь и дело, которым посвящу свою жизнь. Моя мечта — литературное творчество во всех его проявлениях.

С раннего детства мне нравилось фантазировать и придумывать различные истории. Темы для своих рассказов и стихотворений я черпаю из жизни, переживая сильные личные впечатления.

В этом году я участвовала в нескольких литературных конкурсах. Результат был успешным, но понимаю, что нужно многому учиться и трудиться, чтобы овладеть писательским искусством.

Я натура увлекающаяся. Очень люблю театр и пытаюсь проявлять себя и в этом направлении. На школьной сцене мною были поставлены театральные миниатюры по мотивам комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» и А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери», мини-спектакль о Чарли Чаплине. Побывав во Франции на курсе изучения языка, я удивила учителей и учащихся школы постановкой «Ревизора» и «Пигмалиона» на французском языке. Перевод отрывков из этих произведений я сделала самостоятельно.

Многие годы я участвую в работе регионального общественного молодежного корчаковского центра «Наш дом». В ней я занимаюсь организацией театрализованных проектов.

В прошлом году у меня появилась возможность ощутить себя и в роли журналиста. В газете одного из районов Москвы опубликованы мои статьи об истории города.

Я очень благодарна редакции журнала «Юность» за поддержку и проявленный интерес ко мне как к начинающему литератору.

ЧИСТОЕ МГНОВЕНИЕ

Максим шел с очередного свидания. Запустив руки в карманы, он брел по парку, прислушиваясь к звукам города. Весело сигналили велосипедисты, подрезая мирных прохожих, раздавалось глухое пение молодежи под звуки потрепанной гитары, что-то мычали на лавочках молодые компании, постукивая

пивными бутылками... Кругом витал дух приторного веселья. На вечер у Макса не было ничего запланировано, поэтому он гулял по парку в надежде найти себе какое-нибудь маленькое развлечение. Все ему казалось забавным. С усмешкой на губах Максим во все глаза рассматривал все, что его окружало: людей, мага-

зинчики, кафе, веранды. В одном закуточке он заметил небольшую толпу зевак, их внимание что-то явно привлекало. Макс погрузился в толпу, и слух его прорезал звонкий, выкрикивающий громкие слова голос, который рекламировал новые наручные часы с функцией запоминания своего обладателя. Макса забавлял рекламщик:

он напоминал собаку на привязи. «Гавкает, а что, сам не понимает», — подумал Максим и, пожав плечами, побрел дальше.

Через некоторое время он почувствовал, что хочет отдохнуть, и опустился на скамейку. Вдруг прямо над его ухом что-то лопнуло. Макс почувствовал, как сотни капелек обрушились на его лицо. Он обернулся, но ничего не увидел. В то же мгновение что-то снова лопнуло и обрызгало светлые брюки Максима. Он заматал головой, пытаясь понять, что с ним происходит. Вдруг прямо перед его носом появился большой, искрящийся на солнце мыльный пузырь. Коснувшись кончика носа, пузырь вздрогнул и исчез в пустоте чистого воздуха. Макс улыбнулся и повернул голову в ту сторону, откуда, по его расчетам, начинали свой воздушный путь круглые странники. Невдалеке сидела молодая девушка и воодушевленно, с наслаждением выдувала из круглой палочки мыльные пузыри. Девушка широко улыбалась, когда у нее получалось создать гигантский пузырь.

В ее внешности не было ничего такого, что могло бы навсегда остаться в памяти молодого человека. Немного ссутулившись, девушка не отрывалась от своего странного занятия и все выдувала округлые фигуры. От ничегонеделания Максим пытался уцепиться хоть за какую-нибудь внешнюю особенность девушки. Вдруг монотонный гул парка оглушил искрящийся звук, походивший на звон маленьких хрустальных колокольчиков. Макс вздрогнул и прислушался. Искренний, радостный звук продолжал волновать Макса, поражая своей чистотой. К своему изумлению он понял, что это смеется та самая незнакомая девушка. Встряхнув головой и вернув себе насмешливое выражение лица, Максим улыбнулся и неслышно подсел к таинственной незнаком-

ке. Девушка, заметив его, резко подняла свои большие голубые глаза и, улыбнувшись, продолжила выдувать пузыри.

— Можно с вами познакомиться? — очаровательно улыбнувшись, спросил Макс.

Девушка, будто не слушая молодого человека, увлеченно выдувала большой пузырь.

— Я не люблю такие знакомства, — вдруг сказала она, когда пузырь лопнул.

«Тут нужно быть тоньше», — промелькнуло в голове Макса, и, напустив на себя озабоченный вид, он заговорил непринужденным голосом:

— Я сам стараюсь так не знакомиться, но, услышав ваш чистый смех, я подумал — почему бы и нет? — И Максим посмотрел на девушку спокойными и честными глазами. Она повела плечами. — Знаете, ваш смех... он какой-то особенный, — вдруг неожиданно для себя самого сказал Макс и испугался.

— Почему? — так же неожиданно для него зазвучал голос незнакомки, и Максим вновь очутился в ее поразительно голубых глазах.

— Не знаю, — смутился он, — я на мгновение забылся, слушая ваш смех и ловя глазами мыльные пузыри...

«Что за бред я несу?» — изумился Макс и натянул на себя свою прежнюю ухмылку.

— Меня Ира зовут, — вдруг сказала девушка, запустила стайку пузырей прямо в лицо Максима и тихо засмеялась.

— А меня Макс, — спохватился он и протер глаза от мыльных капелек.

Наступило молчание, которое понемногу начинало раздражать молодого человека. Ира, казалось, не замечала ничего, кроме своих пузырей, и все дула и дула в круглую трубочку.

— Зачем ты это делаешь? — не выдержал Макс и обернулся к ней.

Ира улыбнулась и запустила пузыри в ухо Максима.

— Сколько пузырей лопнуло? — не отрываясь от него, спросила она.

Макс обомлел.

— Я не считал, — пожал он плечами, поражаясь нелепости своей новой знакомой.

Ира опустила трубочку в мыльную жидкость и вновь подула ему в ухо.

— А теперь сколько?

«Кажется, семь», — задумался Максим и резко мотнул головой.

— Скажи, мы так и будем молчать и угадывать количество лопающихся пузырей? Нет желания познакомиться со мной поближе? — сказал Макс и, обхватив Иру за плечи, легонько притянул к себе.

Она дернулась в сторону и устремила на него свои огромные, пылающие глаза.

— Как ты так можешь? — проговорила она и отвернулась. — Несколько минут назад ты был настоящим, а сейчас... О! Мне противно на тебя смотреть! — Ира закрыла лицо руками.

— А что тут такого? — удивился Макс и слегка отстранился, поняв, как искренне прозвучали ее слова. Он отвернулся. — Я не понимаю тебя, — произнес Максим, — не знаю, как с тобой себя вести. Я просто хотел познакомиться с девушкой с голубыми глазами, а теперь...

— Что теперь? — наивным голосом спросила Ира и повернулась к нему лицом.

Макс пожал плечами и улыбнулся той чистой улыбкой, которой смотрят на новорожденного котенка. В это мгновение он почувствовал невероятное ощущение полного счастья и гармонии. Максу показалось, что ему становится легче дышать. Он вновь посмотрел на поднимающиеся в небо пузыри и глубоко вздохнул полной грудью.

— Пойми, я не могу так быстро ответить на твой вопрос, — вдруг

еле слышно затрепетал голос Иры, — мы хоть и познакомились, но для меня этого ничтожно мало. Я чувствую, что ты очень хороший.

Макс, продолжая улыбаться, обернулся к ней.

— Не знаю почему, но я это чувствую. — Ира опустила глаза.

— А что для тебя любовь? — спросил Макс.

Ира улыбнулась.

— А почему ты спрашиваешь?

— Не знаю. Попробовал сказать первое, что пришло в голову.

— Это называется искренность, — мечтательно протянула Ира, — мне кажется, в твоей жизни ее было очень мало. — И она снова запустила пузыри, но, увидев пристальный взгляд Максима, опустила голову и устремила глаза куда-то вдаль. — Любовь не должна

приравняться к чему-то безумному. Безусловно, оттенок страсти должен присутствовать, но не в этом счастье!

Максим, затаив дыхание и боясь спугнуть это удивительное создание, сидел с распахнутыми глазами и ловил каждый чистый звук своей собеседницы. — Счастье есть в искренности! В чистоте, да! В чистоте! — здесь Ира перевела дыхание. — С одной стороны, любовь должна быть такой же бесконечной, как глубокое небо, с другой — такой же мимолетной и легкой, как тот мыльный пузырь, понимаешь? «Любовь есть сон, а сон — одно мгновение, и рано ль, поздно ль пробуждение, а должен наконец проснуться человек...» Тютчев, — зачарованно прочитала Ира.

— Любовь — мгновение, — прошептал Макс, глядя на небо, и снова почувствовал необыкновенную силу гармонии. Эта сила постепенно начала переполнять все его существо, начиная с сердца. Больше Максим не ощущал дух беспечного веселья. Он чувствовал дыхание счастья — чистого, искреннего, настоящего счастья. Он улыбнулся и еще раз посмотрел в глаза Иры, в которых отражалась синева небосвода.

— «Счастье — это летнее небо. Приятно осознавать, что ты хотя бы иногда чист, как оно». Одесский поэт, — проговорил он и нежно взял Иру за руку.

В то же мгновение он почувствовал, как белокурая головка собеседницы робко коснулась его плеча.

— Ты понял меня, — прошептала Ира...

г. Москва



Елена КЛИМОВА

Елена Климова родилась в 1949 году в Москве. Окончила физико-математическую школу, Московский финансово-экономический институт. Работала во Внешэкономбанке СССР, во Внешторгбанке. Сейчас живет и работает в Истринском районе, в поселке Борки. В 2011 и 2014 годах издала две книги.

ОБНИМИ МЕНЯ

Новогодние праздники и Рождество, радостно ожидаемые весь декабрь, уже подходили к концу, когда вдруг застопорились и стали от всего съеденного и выпитого тихими и ленивыми. Только залихватый

смех приехавших и озорничающих внуков заставлял улыбнуться их неиссякаемой энергии и радости бытия, в котором они естественным образом существовали, не помышляя об этой высокой категории.

У старшего внука Максима запестрели в итоговых оценках многочисленные крутобедрые тройки, что чуть-чуть снижало радость от предстоящих каникул. «Воспитывать надо личным примером», — критится в моей голове

надоевший, но вполне справедливый лозунг прошлых лет, и я предлагаю внуку посмотреть потрепанные от давности собственные дневники, надеясь, что он возьмет курс на исправление ситуации.

Мои дневники, начиная с первого класса, хранятся в папочке с записками, на которой написано «Архив. Не выбрасывать».

В этой папке история рода, военный билет прадеда с отметкой «Призван по мобилизации». С 23 июня 1941 по 1945 год участвовал в Великой Отечественной войне в составе 265-й стрелковой дивизии. Воинское звание — старший сержант. А еще трудовые книжки членов семьи, уходящие истоками в далекий 1930 год, партийный билет прабабушки Максима и пожелтевшие, замызганные свидетельства о рождении уже ушедшего поколения. Конечно, все это внуку пока неинтересно. Он быстро листает дневник бабушки, то есть мой, в надежде найти какое-нибудь замечание о нарушении дисциплины или красующуюся двойку, но, не найдя, откладывает в сторону как совершенно пустой документ. А я тем временем медленно

перебираю другие свидетельства прошедших лет, жизнь моего рода.

— Посмотри, — говорю я. — Это рука твоего отца.

На листочке маленькая ладошка, обведенная карандашом. Внизу подпись «Алешина рука, 4 года». Внук смотрит на отца, и ему кажется невероятным, что отец, такой большой, с громадными ручищами, был когда-то маленьким, и что эти закрашенные кем-то ноготки на растопыренных пальчиках могут принадлежать отцу.

А я листаю бумаги дальше и вот уже читаю сложенные в несколько раз записки на тетрадных листках, написанные мужем мне в родильный дом. Нежность, забота, любовь... Слезы сами по себе льются по щекам. Воспоминания — как благодарность за подаренное счастье. Мы сидим с внуком рядом на кровати в спальне, и он шепчет, чтобы не слышно было тем, кто веселится в соседней комнате.

— Ты не плачь, бабушка. Он всегда с нами. А мы всегда с тобой рядом.

— Понимаешь, — говорю я внуку доверчиво очень личное, жен-

ское. — Мне так хочется, чтобы меня кто-нибудь обнял. Я и Сашу, своего младшего сына, и твоего отца, старшего сына, попросила: «Обнимите меня», но они, наверное, стесняются проявить такую нежность к сильной и, как они, видимо, считают, самодостаточной матери.

— Бабушка! — восклицает мой внук звонким и радостным голосом, широко открыв глаза, как будто он открыл что-то очень важное для себя. — Так давай я тебя обниму!

Он обхватывает меня двумя руками нежно и бережно, кладет свою голову мне на плечо и шепчет:

— Ты моя хорошая бабушка.

Сердце мое замирает от тихого счастья, любви, благодарности. Мой непослушный, иногда дерзкий, уткнувшийся круглосуточно в смартфон внук, какое же отзывчивое сердце у тебя! Сейчас тебе тринадцать лет. Пройдут годы. Ты станешь красивым и сильным мужчиной. Ты станешь чьей-то любовью. Только сохрани в себе эту доброту и умение услышать другого. Только сохрани!

Истринский район Подмосковья



Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

Татьяна Медиевская — член Союза писателей России, москвичка.

Окончила МХТИ имени Д. И. Менделеева по специальности «инженер-химик» и патентный институт. Работала тренером по фигурному катанию, инженером на строительстве Токтогульской ГЭС, патентоведом в научно-исследовательских институтах и на часовом заводе «Слава». В 2011 году окончила Высшие литературные курсы Литературного института имени А. М. Горького.

Пишет стихи, рассказы, пьесы. Публиковалась в журнале «Юность», в сборнике поэзии и прозы «Путь мастерства», в сборнике современного рассказа «Точки соприкосновения». Автор книги повестей и рассказов «В поисках Цацы», сборника стихов «Надежда».

НИГДЕ КРОМЕ

*Нигде, кроме как в Моссельпроме.
Папиросы «Ира».*

Владимир Маяковский

*Ибо время, столкнувшись с памятью,
узнает о своем бессилии.*

И. Бродский

Ник, ну как ты?
— Нормально. Я же не головой ударился. Под ребро лыжной палкой угодил, когда прыгивал с подъемника. Очень неудачно!

— Спуститься сможешь?

— Смогу потихоньку. Черт, болит!

— Врача надо? Здесь должен быть. Пусть посмотрит.

— Нет, врача не нужно. Но кататься я сегодня не смогу. Прошу тебя, Боб, донеси вещи до машины и иди назад. Скажешь нашим, что мне был срочный звонок. Да нет, можешь вообще им ничего не объяснять!

Когда Ник осторожно, как новичок, спустился к подножию склона, там его уже поджидал Боб. В помещении от тепла боль усилилась, и Ник не смог наклониться, чтобы снять горнолыжные ботинки. Он, стеснясь, попросил Боба помочь ему переодеть обувь, а комбинезон решил не снимать. Боб, неловко, вытаскивая ноги Ника из ботинок, повторил:

— Ник, погоди! Как же ты один поедешь? Может, я с тобой? Машину поведу! Подожди, я переоденусь, или давай позвоним Маринке. Я их с Юлькой видел на соседнем склоне.

— Спасибо! Да у меня почти все прошло, но кататься не могу. Помоги мне переодеться и зайти в машину.

Боб чувствовал, что Ник врет, но ему очень хотелось кататься. Он еще раз для очистки совести спро-

сил, не нужно ли врача. На что Ник уверенно ответил:

— Нет, Боб! Все нормально, катайтесь! Снега насыпали много, скольжение прекрасное, погода на редкость замечательная...

— Ну Ник!

— Я сказал — не надо. Все, пока! Заеду к тетке, там переночую. Ее дом тут недалеко, в деревне Степаньково.

— Ну давай хотя бы я тебя доведу до этой деревни!

Ник с приятелем вышли на гигантскую автостоянку, машина стояла в самом конце. Еле передвигая ноги, Ник думал: «Мне бы только дойти до машины!», а сказал, натужно бодрясь:

— До деревни от силы минут двадцать отсюда.

А сам подумал: «Черт, боль такая сильная, как бы не отключиться. Зачем я хорохорюсь? Может, все-таки вернуться и показаться врачу?»

Боб нервничал и суетился. Досадная неприятность с Ником чуть было совсем не сорвала его планы на сегодняшний уик-энд.

Боб, тяжело передвигаясь в горнолыжных ботинках, уложил снаряжение Ника в багажник и хотел приятелю помочь залезть в машину, но тот решительно отказался.

Боб напряженно наблюдал, как Ник осторожно перенес свое тело в машину, привычно щелкнул пальцем висящего на зеркале игрушечного мехового белого кролика, крикнул: «Пока!» и нажал на газ.

Боб, облегченно вздохнув, направился обратно в горнолыжный рай, где скрипит и переливается в лучах мощных прожекторов насыпной снег из пушек, по склонам скользят лыжники, нарядные и красивые, словно сошедшие с рекламных журналов спортивной одежды и снаряжения. В барах и ресторанах витает дух обеспеченности и беззаботности, слышна джазовая музыка, и он, Боб, ловит на себе восхищенные взгляды блондинок...

Стоило отъехать километр от сверкающего огнями горнолыжного комплекса «Сорочаны», и Ника с его белым «ягуаром» поглотил космос морозной, почти черной малоснежной предновогодней ночи.

Пошел снег. Ник быстро добрался до места. Семь вечера, а деревня будто вымерла. Огоньки горели только в нескольких домах. Вот и знакомый забор, калитка, и дом за чернеющими старыми яблонями.

В доме после смерти тети Веры жила Дуся — дальняя родственница, чья-то сноха или крестная. Когда тетя Вера заболела, Дуся самоотверженно ухаживала за ней. В благодарность за это Ник разрешил Дусе остаться в их доме.

Ник все устроил и оплатил: и больницу, и сиделок, и врачей. Но навестил тетю в больнице только раз. Все эти годы он тете Вере в дом покупал все, что необходимо: установил новый газовый котел, поменял всю сантехнику и посылал бригаду рабочих

крышу перекрывать, и евроокна ставить, и деньги посылал. Но сам приезжал очень редко. Ему всегда некогда! Вот и сейчас мобильный надрывается. Коля позвонил водителю и распорядился, чтобы тот забрал его утром из деревни Степаньково.

Ник открыл дверь, и, наклонив голову и цепляясь за половики, прошел в дом. В комнате перед мелькающим и орущим голосом Петросяна экраном замороженно сидела Дуся в валенках, закутанная в платки, хотя в доме было жарко. Дуся вскочила, заахала, кинулась к нему с объятиями, заплакала. Затем, выпучив увеличенные очками глаза, перекрестилась на образ в углу, и торжественно, но с укором поведала, что вчера было сорок дней, как умерла Верочка. Потом извиняющимся тоном поблагодарила за продукты для гостей. Ник нетерпеливо все выслушал и сказал, что очень устал. Дуся засуетилась, сказала, что пойдет к снохе, и зашаркала в прихожую.

Ник открыл дверь в комнату тети Веры. Пахнуло лекарствами и кошками. «Раньше не пахло или я этого не замечал», — подумал Ник. Мурка и Барсик недовольно прошмыгнули прочь. Ник открыл форточку и улегся в кресло, застеленное старим вытертым ковром.

Он привычно огляделся — ничего не изменилось: время будто тут замерло. На этажерке читанные-перечитанные книги, семейный фотоальбом. Подумал, что надо бы его забрать с собой. Вдруг на верхней полке он заметил старую голубую картонную папку с тесемочками. Ник припомнил, что видел ее когда-то в детстве, когда он был не Ником, а Колей. Сначала он хотел папку тоже прихватить с собой, но любопытство пересилило, и он решил посмотреть содержимое пакета прямо сейчас.

Но сначала... Ник искал в старом буфете среди банок с вареньем коньяк, налил себе рюмочку и устроился в кресле поудобнее. Он, давно ставший эстетом и чистюлей, почему-то почувствовал себя совершенно спокойно, легко и комфортно в этих «половиках и тряпках». Ник почувствовал себя опять Колей, как раньше.

Он открыл папку. В черных конвертах лежали старые фотографии и какие-то бумаги. Вдруг его внимание привлек аккуратно сложенный пожелтевший газетный листок. Коля даже вздрогнул: «Не может быть!» Он развернул газету.

«За точность и качество. Второй часовой завод.

№ 51 (3176). Понедельник, 28 декабря 1987 года».

«Надо же, что сохранилось! Завтра 28 декабря, но только 2011 года», — подумал Коля.

Ник когда-то был заводским парнем — после армии два года вкалывал на Втором часовом заводе. Он с ностальгическим любопытством начал читать газету. Под вечным лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на первой полосе стояло поздравление директора с Новым, 1988 годом под заголовком «Действовать сообща». Далее — «Слово имеет рабочий. Сигнал принят. Коллективу трудно, но мы на правильном пути».

Фото, авторы статей всплывали в памяти Ника, ведь когда-то он почти всех их знал, здоровался за руку! А вот на последней странице юмористический рассказ с карикатурами и броским названием «Нигде кроме — только у нас в "Драконе"!». Ну-ка, посмотрим, как раньше шутили!

В нашем объединении на базе ОГК в рамках Закона об индивидуальной деятельности создано кооперативное сатирико-дизайнерское бюро «Дракон» по раз-

работке остроумных моделей повышенного спроса.

Почему «Дракон»? Будущий год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком этого мифического животного. Итак, нам всегда чего-нибудь не хватает, хотя раньше, говорят, не хватало большего.

Первая модель, которую мы представляем на суд почтенной публики, — часы-будильник «Сапоги-сорокоходы». Счастливому обладателю они помогают идти в ногу со временем и придают ускорение на пути перестройки.

Обратите внимание на изящно выполненные молоточки. Они многофункциональны. Например, в транспорте отбивают музыкальный такт по ногам граждан, препятствующих вашему продвижению.

Итак, перефразируя строки поэта, мы можем сказать: «Нигде кроме — только у нас в "Драконе"».

Следующая модель — «Шапка с подсветкой кварц-таймером» — имеет несколько режимов работы и два варианта исполнения: для рядовых служащих — из кролика, для руководства — из пыжика или норки.

Для начальства она может стать поистине незаменимой вещью. В наше время гласности и нелюбимой критики она выполняет роль шапки-невидимки. В критической ситуации при разногласии с подчиненными, опустив уши шапки, начальник становится глух к «гласу народа», а в это время на световом табло рубиновыми буквами высвечиваются слова «Я уже перестроился». При наиболее серьезных ситуациях рекомендуется пользоваться дымовым устройством, встроенным в шапку, что дает возможность окружить себя туманом самокритики и лести.

Для тех, кому претят такие методы работы с людьми, авторы модели предусмотрели режим «Перестройка личности». Для этого в шапку встроены миниатюрный пресс, который поможет вам выдавить из себя по капле раба, привычку действовать только по указке сверху и думать только старыми категориями. Есть даже надежда, что тот, кто наденет эту шапку, научится думать, а не соображать. Действие прессы сопровождается популярной мелодией «Думай давай! Думай давай!».

Ну и последнее. Новинка сезона 1988 года. Гордость нашего кооперативного бюро «Дракон» — электронная игра «Перестройка».

Все творческие силы были брошены на конструирование этой увлекательной игры, развивающей у владельца почти атрофированные за годы застоя чувства собственного достоинства, порядочности, ответственности, уважения к личности и смелости.

На электронном табло перестройка изображена в виде трехглавого Дракона (дань моде 1988 года — во втором варианте в виде традиционной русской тройки). Головы отождествляют гласность, демократию и самофинансирование. На электронном табло попеременно возникают персонажи. Это пороки общества: бюрократы с резолюцией, демагоги с цитатами, подхалимы, взяточники, несуну, пьяницы с бутылкой, бездельники и прочие, а также добродетели: честь, достоинство, справедливость и закон, компетентность, труд и компьютер, нравственность и т. п. Цель игры — заставить Дракона двигаться вперед. Но для этого три головы должны расчищать себе дорогу от всякой нечисти.

Ведь перестройка невозможна без одновременного обеспе-

чения демократии, гласности и действительного самофинансирования.

Недопустимы и перекосы, когда одна голова будет сыта за счет остальных.

При наборе равного и достаточного числа очков у каждой головы Дракон делает шаг вперед. Это сопровождается популярной мелодией «Богатырская наша сила, сила духа и сила воли!».

Выиграть трудно. Поскольку практически это игра с самим собой. В перспективе к игре будет прилагаться разработанный для каждого владельца «Индикатор личности», который поможет задействовать только вам присущие достоинства и недостатки.

Друзья, наша игра поможет вам заглянуть себе в душу и, на минутку ужаснувшись, покаяться, а затем продолжить работу над собой.

Игра требует терпения и компетентности, трудолюбия и искренности. Сложность наших изделий не должна отпугивать вас. Наше бюро гарантирует качество.

Цены на наши модели договорные, так как они выполняются по индивидуальным заказам.

Итак, спешите приобретать наши модели.

Нигде кроме — только у нас в «Драконе»!

С наступающим Новым годом!

*Ирина Савинская,
инженер ОГК.*

Дочитав последние строки, Ник подумал привычно: «Столько лет прошло, а ничего и не меняется ни у нас, ни в мире».

И сейчас на пороге год Дракона — 2012. Ник, Николай Николаевич Колокольцев, генеральный директор крупного холдинга, даже распорядился выдать вместе с премией сотрудникам

новогодние сувениры — ручки с изображением серебряных и золотистых тварей.

Ник еще раз посмотрел на подпись под рассказом: Ирина Савинская. Внезапно его прошиб озноб, закружилась голова. Ник оглянулся, будто испугавшись чего-то. Чего? Кого? Он же был один! Один на один с самим собой, и смог будто заглянуть себе в душу или в сердце. Нику стало очень стыдно, потому что распечатала его закрытые душу и сердце не смерть любимой тетки, а напечатанное на газетном листке имя. Он ощутил безмерную вину. Чтобы отогнать тяжелые мысли, Ник взглянул в окно.

Снег усилился. Но Нику показалось, что снег падает прямо с потолка и ложится тонким слоем на стол, на пол, на диван, на все предметы. Оставался нетронутым снегом только он, Ник. Под его взглядом снег как по волшебству слетал с предметов и растворялся в воздухе, освещая белизной комнату. Вся обстановка — как двадцать четыре года назад. Вот выросший, словно исполинский дуб, в пол и потолок старинный шкаф с резными балясинами, вот заставленный всякой всячиной старинный рояль на двух ножках, а вместо третьей подложены стопкой кирпичи. На рояле стоят фикус и новогодняя елка, рядом вытертое кресло, где сейчас сидит он, а раньше обитала тетя Вера. Ник так любил вечерние долгие разговоры с тетей...

Ник вспомнил, как он однажды, месяца за два до ее смерти, заехал к ней, привез продукты, лекарства и рыбу кошкам. У него не было времени поговорить: опаздывал сразу в три места. Тетя, всегда нарядная, красивая, как королева, в платье с брошкой, накрывает на стол.

— Коленька, ну что такая спешка? Попей чайку. Сейчас чайник закипит.

— Уже пора ехать.
 — Что спешишь, все равно темно.
 — Все, до свидания. Ешь лучше. У тебя все есть. Кошки сыты. Пей витамины.

Коля оделся и вышел в сад, темный и голый. Тускло освещается дорожка к калитке лампочкой над дверью. На улице хоть глаз выколи. Коля прощается с тетей, садится в машину. Так темно, что не видно стоящую у калитки худенькую фигурку тети, машущую ему вслед.

Хлопнула форточка. Ник вздрогнул. В окне появились желто-зеленые глаза и прыгнули в комнату.

— А, это кошка! Нервы — Мурки испугался! — подумал вслух Коля.

И тут в воспоминание о тете вдруг властно вторглось другое воспоминание.

Его заводская молодость и она — Ирина — его царица Савская.

Только что он прочитал в старой газете ее имя — и словно почувствовал на себе ее взгляд. Как только подумал, тут же услышал знакомый голос тети Веры:

— Колокольчик! Колокольчик!

Колокольчиком его называли только две женщины на свете — сначала тетя Вера, а потом и Ирина. Коля в детстве любил петь песенку «Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь».

Тут к голосу тети присоединился другой голос — Ирины. И вдруг увидел: у старого шкафа стоит тетя Вера, а у окна — Ирина. Они загадочно улыбаются и глядят то на него, то друг на друга, и перекликаются:

— Колокольчик! Колокольчик!

Коля оторопело переводит взгляд с одной на другую, хочет встать и броситься к ним...

Ник проснулся... Он по-прежнему полулежит в теткинском кресле, за окном идет снег, а у него на животе примостилась кошка. Мурка смотрит на него и... как будто говорит его, Колиным, голосом:

— Ничего нельзя вернуть! Тебя, Коля, уже никто и никогда так любить не будет, как тетя Верочка, никогда она тебя не перекрестит и не посмотрит ободряющим ласковым взглядом. И ты, Коля, никогда уже сам не сможешь полюбить никого так, как любил когда-то Ирину!

Колю бросило в жар. Он приподнялся с кресла, но, ощутив резкую боль в ушибленном месте, плюхнулся обратно. Кошка с громким мяуканьем прыгнула в форточку и скрылась.

«Бред какой то!» — думал Коля. Он был уверен, что все, связанное с Ириной, забыл, затолкал в самый дальний угол памяти, замуровал, похоронил! Он столько сил потратил, чтобы избавиться от страданий, и вдруг оказывается, что спустя почти четверть века один ее взгляд — даже не взгляд, а призрак, — может обрушить его душевный покой! Только она умела так смотреть: одновременно и нежно, и насмешливо, и покровительственно. Ее глаза то манили, то отталкивали. Только она умела говорить глазами!

Ник вспомнил свой ноябрь 1987 года. Время беспросветности...

Коля из заводской семьи. На заводе работали все: и отец — начальник цеха, и мать — сборщица, и ее сестры. Только тетя Вера, как говорил отец, — отщепенка, изменила семейной традиции — училась на художницу, вела рисование в школе и даже была когда-то за мужем за музыкантом.

Коле тоже надлежало пойти на завод: хорошие заработки с премиальными, продуктовые заказы, распродажа импорта, дешевые обеды — столовая со своим подсобным хозяйством, от завода у семьи двухкомнатная квартира, дачный участок под Александровом, родители ездили с ним на два года в командировку в Англию,

где заработали на машину «Волга»... Как говорится, полная чаша.

Но Коля помнил, как страдал, когда в десять лет с абсолютным знанием английского вернулся в старую школу, где над ним все посмеивались, даже учителя. Ученики дразнили Битлзом, и никто не хотел с ним дружить. Да Коле и самому после Англии все казались глупыми, примитивными, грубыми. Он держался особняком и не захотел вписаться ни в школьное, ни в дворовое сообщество. Отец считал, что сын должен отслужить в армии и работать на заводе, как все. Может, если уж так хочет, поступить в вечерний заводской институт.

Колю же эта неотвратимость просто убивала. Он решил, что будет работать где угодно, хоть дворником, но только не на заводе. Он попытался поступить в МГУ, но провалился и пошел в армию, где служил радистом. Когда Коля вернулся, отец устроил сына на завод, но не в цех, а в отдел главного конструктора в бюро микроэлектроники, где разрабатывались шаговые двигатели.

Ну что еще нужно парню? И семье показалось, что сын стал более покладистым. На самом деле Коля после армии еще больше осознал всю беспросветность своего существования, понял, что не может так жить и надо что-то делать. Надо как-то вырваться из этого круга дом — завод — дом — завод. Но как? «Нет, так жить нельзя! Жизнь невыносима, и надо с ней завязывать!» Коле казалось, что эти слова стучат молотком у него в голове.

Каждое утро он в семь тридцать выходил из метро «Белорусская» и вливался в серую толпу, идущую по мосту к заводу. Проходя мимо вахтера с ружьем, он попадал в холл, все стены которого были увешаны объявлениями типа «Меняю туфли черные, Турция, 40-й размер, и блузку

голубую, Китай, 50-й размер, на сапоги зимние, Югославия, любого цвета, размер 39-40. Анохина, цех № 6, тел. 235-44-76». Коля поднимался на седьмой этаж в бюро микроэлектроники, надевал синий сатиновый халат и принимался паять микро-схемы.

Он считал, что родители его не понимают. Они с утра до вечера на заводе. А мать еще и парторг цеха. Коля слышал, как она говорила отцу, что мечтает женить сына на их соседке Ленке — дочке профорга завода. Конечно, она чуть старше Коли, но уже секретарь комсомола цеха. Когда бы Коля ни вышел на улицу, почти всегда встречал Ленку — эту дуру расфуфыренную: в оттопыренных ушах блестят бриллианты, на ногах — высоченные красные импортные сапоги, отоваренные на заводе для своих — парткома и профкома. Коля просто физически ощущал, что его окружают только ложь и расчет, зависть к должностям и особенно к заграничным тряпкам. Когда их разыгрывали среди рабочих после того, как отоваривалась заводская знать, работницы просто зверели на глазах. Противно!

Коля не смог даже научиться пить, как все, поэтому у него не было друзей. Спорт Коле претил, хотя завод имел первоклассную команду по регби, где капитаном был главный технолог.

В двадцать лет жизнь Коле представлялась в мрачном свете. В один из особенно хмурых осенних дней Коля решил уйти, уйти навсегда из жизни.

Как? Нет, не застрелиться, не отравиться, не повеситься. Это все больно, есть риск покалечиться, и так пошло и банально! Коля решил поступить по-другому. Он где-то вычитал, что если голодать, то смерть может наступить через месяц или два, а если голодать всухую, то и раньше. Он

представлял, как уйдет из жизни в философском расположении духа и без суеты. Это будет медленно, но верно, и никто не поймет, от чего. Матери можно сказать, что поел на работе, а на заводе никому до него нет никакого дела. Так он решил и начал смертельную голодовку.

Но встреча с ней, с Ириной, все изменила. Жизнь обрела смысл! Коля увидел ее, Ирину Савинскую, в начале декабря, когда голодовка длилась пять дней. Увидел именно впервые, хотя работал с ней на заводе в одном отделе на одном этаже и в одной комнате. Но он ее не замечал. Ну, сидит за шкафом, рядом с начальником их бюро Володей Даниловым, какая-то важная тетка. Ну, приходят к ней с какими-то бумагами то главный конструктор завода, то главный технолог. Его это не касалось, Коля паял микро-схемы. Он слышал, что ей уже сильно за тридцать, замужем, есть ребенок.

Однажды Коля брел с каким-то поручением по заводскому двору и вдруг увидел, что дорожку ему перегородил поддон на колесах, доверху нагруженный коробками с часами. Его медленно толкает хромоногий и немного придурочный подсобник Ивашка в промасленном темно-синем халате, вокруг суетятся еще две синие тени в ватниках, а на отдалении в расписной цветной шали поверх белого халата ступает, как царица, Ирина Павловна Савинская. Ну просто царица Савская!

Одна «синяя тень» сказала оторопевшему Коле:

— На забивку брак везут. Вон какую мадам назначил наш директор начальником комиссии по забивке брака.

Вдруг Савинская окликнула Колю:

— Колокольцев, подойдите, пожалуйста, ко мне! Помогите Ивашке побыстрее довести

поддон до кузницы! А то мы так до конца смены не доедем. Все растащат! А я замерзла! — Она поежилась и посмотрела на свои ножки в модельных туфлях. Шел редкий снег.

И тут Коля ее увидел словно впервые: высокая, тонкая, с царской осанкой, над властным лбом прямой пробор густых темнорусых волос. Во всем ее облике чувствовалась какая-то разобщенность с окружающим внешним миром: и туфельки, и цветная шаль, и недоуменный взгляд, как бы вопрошающий: «А что я тут делаю?» Но при всей ее величавости Коля тогда остро почувствовал, что она одинока и несчастна, как и он.

В ушах — звук ее голоса:

— Колокольцев!

Коля схватился за ручку поддона и рванул его вперед. Хромой Ивашка упал, поддон наехал на него, ящики вывалились, и из них посыпались часы. Откуда ни возьмись, набежали рабочие, стали собирать разбросанные по асфальту часы обратно в ящики, часть осела в карманах. Минута — и снова поддон загружен, и быстро, уже без приключений, Ирина Павловна и Коля довели его до кузницы.

В кузнице — жар, дым, копоть, а в центре стоит обнаженный по пояс молодой кузнец. Он, поигрывая мышцами, берет тисками отпрессованную болванку и на вытянутых руках несет ее в печь. Грохочет пресс, гудит пламя. Отсветы пламени играют на атлетическом торсе кузнеца, на лице Ирины. В этот миг она показалась Коле чуть ли не пророчицей или жрицей. И тут она, глядя в жерло горячей печи, заговорила:

— Колокольцев, посмотрите, мы присутствуем при агонии времени! Эти часики родились на конвейере, надеялись прожить свою короткую жизнь у кого-то на руке, мечтали помочь кому-то соизмерить свое время с общим временем,

но не удалось. Они хотя и ходили, но так сильно отличались от стандарта, что теперь забракованы и обречены на огонь. Спаслись только те, что успели украсть рабочие. Они эти часики починят, вынесут украдкой с завода, и они еще потикают: тик-так, тик-так.

Ирина произносила эти слова, громко декламируя, как стихи.

Коля оторопел. Он испугался ее царственного вида и абсолютной свободы высказываний. Он не знал, что отвечать... Стало быть, можно или даже нужно идти не в ногу со временем?

Ирина, кивая на кузнеца, произнесла со вздохом и восхищением:

— Посмотри, как он красив, просто исполин Гефест! Это надо же, в центре Москвы на улице Горького стоит пройти за проходную — и попадешь в Демидовские времена! У Сальвадора Дали — уплывающее время, растекающееся, стекающее, а у нас в СССР сначала время идет под пресс, а затем сжигается в печи в адском пламени.

Потом Коля, Ирина и кузнец, уже умытый, с широким лицом, добрыми, как у теленка, глазами сидели в обеденный перерыв в каптерке на лавке за столом, покрытым драной клеенкой. Коля про свою голодовку моментально позабыл, они пили с удовольствием чай с пирожками из буфета и разговаривали о политике.

— Я вот прочитал в газете, что собака Рейган опять против нас что-то замышляет! — важно сказал кузнец, глядя на Савинскую.

Ирина вдруг захлопала в ладоши, рассмеялась и сказала, глядя на кузнеца восторженными глазами:

— Вы прелесть! Ну не правда ли, Колокольцев, наш кузнец прелесть как хорош!

Кузнец и Коля смутились, с недоумением посмотрели на Ирину, понимая, что переглянулись: мол, этих ученых женщин не понять!

Потом, когда они шли из кузницы в отдел, Ирина очень внима-

тельно заглянула Коле в глаза и задумчиво сказала:

— Принципы надо иногда нарушать, иначе от них никакой радости!

Вдруг на Ника прыгнула кошка. Это Мурка свернулась комочком на ноющем боку и замурлыкала. Боль утихла.

Он погладил кошку, достал из черного пакета фотографии и начал разглядывать. Коля будто переворачивал страницы, листая альбом своей жизни.

Вот Ирина Савинская на новогоднем вечере, который они всем заводом отмечали в заводском доме отдыха в Снегирах. Ирина стоит на сцене и держит над головой раскрашенные картонные сапоги-скороходы с часами. Коля вместе с Ириной рисовал, вырезал и раскрашивал картинки. Среди номеров заводской самодеятельности чтение юмористического рассказа «Нигде кроме — только у нас в "Драконе"» имело бурный успех у заводской публики.

Разглядывая карточки, Коля заметил, что женщина на фото совсем не соответствовала его воспоминаниям. Образ молодой женщины с немного надменным, нарочито спокойным взглядом не передавал и сотой доли той боли и счастья, которую он испытывал, когда смотрел на Ирину — царицу Савскую.

Коля помнил не внешность, а звук ее голоса, взгляд темно-фиолетовых глаз, запах духов, мягкость меха ее шубки, шелковистость кожи тонкой руки.

Почему царица Савская? Конечно, из-за фамилии. Но главное, она обладала каким-то непонятным достоинством. И возникало такое впечатление, что она не просит, не требует, а повелевает. Савинскую никогда не вызывали к руководству, как их начальника, Володю Данилова, за срыв плана. Всем на заводе и Коле казалось загадочным, что к ней

приходили советоваться и главный конструктор, и главный технолог. Позднее она ему объяснила, что они для нее авторы и приносят к ней на рассмотрение свои изобретения. Савинская утвердительно говорила Данилову:

— Я завтра не приду! Буду в патентной библиотеке.

И Данилов никогда он ей не отказывал.

Вот другое фото. Это Прага, Карлов мост. В тот вечер, когда они только приехали в составе заводской группы и все покорно ждали ужина, Ирина воскликнула:

— К черту ужин, Колокольчик! Сейчас же едем на Карлов мост! В центре можем пойти в кафе. Нам же выдали по тысяче крон! Мы что хотим? Оправдать поездку, покупая мохер и колготки, как все, или увидеть мир? — Тут Ирина озорно подмигнула, расхохоталась и добавила: — Будем с тобой, Колокольчик, кутить и веселиться, ведь мы на «гнилом» Западе!

Как он тогда поражался ее свободомыслию и бесстрашию! Сейчас же, в конце 2011 года, это кажется просто смешным.

Вот еще фото. Какой-то храм и могилы с крестами. На обороте написано: «Прага. Ольшанское кладбище. Похоронены русские люди: казаки, солдаты Белой, Красной армии, русской освободительной армии и... Кафка».

Вот еще — усадьба Марфино на берегу пруда, высокая облупившаяся и заросшая травой лестница, а у подножия на постаментах — изваяния белых каменных грифонов. Коля живо представил себя и Ирину в тот летний день... Ирина улыбается, щурится на солнце и говорит:

— Колокольчик, не надо меня фотографировать! Щелкай только природу. Вот будешь через сто лет смотреть карточки — и сможешь увидеть меня «мысленным взором», поместить в пейзаж...

Вдруг из воспоминаний его вырвали мысли, что завтра, нет, уже сегодня вечером, у него деловая встреча в Мюнхене. Потом в Австрию, на горнолыжный курорт в Цель-Ам-Зе. Там Ник с друзьями собирался отмечать Новый, 2012 год. Он потер ноющий бок, посмотрел на мобильники, но не включил.

Когда убирал бумаги обратно в голубую папку, то увидал отдельный лист, исписанный удлиненным теткинским почерком. Это оказались стихи.

Время

*Как волна через коралловые
риффы,
протекает время сквозь меня,
оставляя полу вызревшие рифмы,
постижением истинных смыслов
маня.*

* * *

*Когда разрешилось матери
бремя — человек родился! —
началось время.*

*Его время! Нежно коснись
губами еще мягкого детского те-
мени. Ощути, как тайну, биение
живого, нового времени.*

*Играло в детстве время, утвер-
ждало себя годами взросления.
Юность любовью пылала в вихрях
безумных сердец смятения,
прерываясь на скорбное время
похорон предыдущего поколения,
чьи старые фото давно вложе-
ны в семейные альбомы забвения.*

*Прорастало зрелости вре-
мя — прожитых лет осмысле-
ния — стремления вырваться
из плена времени оцепенения,
оказаться во времени — изме-
нения для превращения мыс-
ли в слово, а слова — в реальное
дело, в тело в пространстве,
излучающее добро и утешение
для всех, кто искал и открыл
путь прощения. Налетает вне-
запно болезнь — время боли
преодоления. Старости время
пугает и маячит пока в отдалении,*

*предвещая смерти приход —
окончания для человека — его
времени! Наступления последне-
го мига — удара пульса на теме-
ни, отделения тела от души и —
отлета ее в безвремье.*

*Счастливы те, кто верит в сказ-
ки — души вознесения и в гряду-
щее воскресение!*

И вот он, Коля, сейчас в сердце-
вине времени. Или вне его? Или
уже нет?

Тетю Веру он схоронил, а его
любовь Ирина через два года их
романа бросила и его, и мужа
и уехала в Америку...

А он, Коля, теперь Ник, занял-
ся бизнесом, преуспел, менял
раз в год-два, как машины, одну
Барби — красивую блондинку
на не менее красивую брюнетку,
и наоборот, но... Ничего не
спасало от одиночества. Только
тетя Вера была единственным
островом доброты и люб-
ви, в ней он находил утешение,
ей он когда-то поверял свою
любовь к Ирине, с которой они
встречались в этом доме...

А он это не ценил!

Ник посмотрел на часы —
часы с кукушкой «Слава» — с его
завода. Собрал все бумаги из
стола, оглядел комнату. Подошел
еще раз к этажерке и увидел, как
старых друзей, знакомые книги
«Три товарища» Ремарка и «Али-
су в стране чудес» Льюиса Кэр-
ролла. Эти книги подарила ему
Ирина. Решил забрать их с со-
бой и почитать в самолете. Ник
выключил свет. Мерцала ново-
годняя елка, украшенная старыми,
знакомыми с детства игрушками.
Мерцали четыре кошачьих глаза,
мерцали без звука мобильные
телефоны.

Утро, а еще темно. Ник вышел
из дома. Снег не прекращался.
Водитель Гриша в валенках, под-
няв капюшон пуховика, смахивал
снег с капота. Ник сел в теплую
машину на заднее сиденье.

— В офис, домой на Кутузовский,
потом в Шереметьево! — укрыл-
ся пледом и проспал до самой
Москвы.

Ник везде успел. Он успеш-
ный человек. Ведь «успех — это
успеть!» — так любила говорить
боготворимая им когда-то царица
Савская. И Ник чтит эти слова
как заповедь. Он потом случай-
но узнал, что это слова не Ири-
ны, а поэта Марины Цветаевой.
Как и многое другое, что ему
говорила Ирина, было не ее слова-
ми, а цитатами или пересказом из
классиков. Но Коля их раньше не
читал, и в устах своей царицы Сав-
ской они звучали как откровение.

В самолете Ник не стал, как
всегда, открывать ноутбук, а достал
старые книжки. Он наугад раскрыл
страницу в «Трех товарищах» и стал
читать: «Мы живем в эпоху полного
саморастерзания. Многое, что мож-
но было бы сделать, мы не делаем,
сами не зная почему. Работа стала
делом чудовищной важности: так
много людей лишены ее, что мыс-
ли о ней заслоняют все остальное...
Работа — мрачная одержимость.
Мы предаемся труду с вечной иллю-
зией, будто со временем все станет
иным. Никогда, никогда не изме-
нится. И что только люди делают из
своей жизни, просто смешно!»

Нику стало совсем не смешно,
а наоборот — страшно, будто
кто-то заглянул к нему пря-
мо в голову. Тогда он достал «Али-
су в стране чудес» и тоже открыл
страницу наугад. «Если в мире
все бессмысленно, — сказала
Алиса, — что мешает выдумать
какой-нибудь смысл?»

Ник полистал и опять, раскрыв
наугад, прочитал: «Серьез-
ное отношение к чему бы то ни
было в этом мире является роко-
вой ошибкой.

— А жизнь — это серьезно?

— О да, жизнь — это серьезно!
Но не очень...»

Вдруг он услышал объявление
командира самолета:

— Дамы и господа, наш самолет входит в зону турбулентности. Займите свои места. Пристегните ремни.

Тут самолет трянуло, Ник выронил книгу, и она провалилась в щель между креслами. Он отстегнулся, попытался встать. Не получилось. Ник, не глядя, извинился и протянул руку, чтобы забрать книгу. Стюардесса сделала ему замечание, он послушно сел и пристегнул ремни, самолет опять трянуло.

И вдруг он явственно услышал сзади голос Ирины:

— Колокольчик! Колокольчик...

У Ника закружилась голова. Он рванулся, пытаясь встать, но ремень помешал, а тряска в салоне усилилась. Ник опять вскочил и сильно ударился больным боком о подлокотник кресла. Он все же встал и обернулся...

Перед ним была Ирина — его царица Савская. Она ничуть не

изменилась, не постарела. Ирина, улыбаясь, протягивала ему книгу.

Самолет сильно трянуло. Ник упал в кресло. Пассажиры запаниковали. Кому-то стало плохо. Ник, преодолевая боль в боку, пытался несколько раз встать, но безуспешно. Наконец когда самолет завис, он вырвался из кресла и одним прыжком перепрыгнул назад, на свободное место.

— Ирина, это ты?

— Колокольчик, это я!

— Не может быть! Ты мираж?

Прошло двадцать два года! Ты совсем не изменилась!

— Посчитал! Не пугайся, у меня муж известный пластический хирург Макропулос.

— Как ты меня узнала? Я изменился! Постарел?

— Если бы не книга, то не узнала бы. Взгляд стал жесткий. Но ты для меня навсегда останешься Колокольчиком. Я вчера тебя вспоминала!

— Невероятно, я тоже!

— Нигде кроме, только как в небе в канун года Дракона, мы не смогли бы встретиться!

В небе разыгралась гроза, самолет трянуло, а эти двое взялись за руки и, не сводя друг с друга восхищенных глаз, говорили, говорили и не могли наговориться и наглядеться друг на друга. Им казалось, что они расстались только вчера, будто они не разлучались и не пролетело двадцать два года.

Самолет благополучно приземлился. Когда они вышли вместе в зал прилета, светясь от счастья, Коля вдруг услышал издалека голос Ирины:

— Мама! Мама!

Они обернулись, и Коля, как наваждение, увидел бегущую к ним ослепительно юную царицу Савскую...

г. Москва



Тамара АЛЕКСЕЕВА

Продолжение. Начало в № 11, 12 за 2014 год, в № 1, 2 за 2015 год

ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Случилось это под Новый год. Мы с Олей отправились на рынок за продуктами. Все вокруг гудело и толкалось — как всегда перед праздником. Но в одном

месте, в мясных рядах, царило особенное оживление, там раздавались дикие крики и хохот.

— Пойдем поглядим, ведь прикольно, — потащила меня Ольга.

Я двинулся за ней следом. В середине круга танцевала старая женщина. Она была безумна, это было отчетливо видно по ее длинным лохмам, по рваным и разно-

цветным юбкам, сквозь которые просвечивалось ее худое, покрытое ссадинами, посиневшее от холода тело. К тому же она была почти босая, сквозь грязные тряпки, накрученные на ступни, проглядывали безобразные пальцы, скрученные болезнью и покрытые струпами. Голые лодыжки были обвиты коричневыми веревками, колени имели странный, пугающий вид... Я будто со всех сторон видел все это невыносимое существо и отчетливо, будто сквозь увеличительное стекло, его отдельные фрагменты.

Подходили люди, нарастали пьяные крики. Старуха, вероятно, воображала себя великой танцовщицей: крутила юбками, разнузданно вихляла бедрами и даже пыталась изображать танец живота — ее хватали и щипали за обнаженный и сморщенный, как сырая требуха, вислый живот, она радостно, по-собачьи взвизгивала.

О чем она думала? Своим нелепым танцем она явно хотела понравиться, и любые хлопки в ладоши или по ее заду, сильные и, вероятно, болезненные, она воспринимала как высшую похвалу и старательно и смешно, как только может делать это безобразная старая кукла с оторванными руками, низко, в пол, кланялась. Ее лицо уродовали перебитый нос и свежий шрам на щеке.

— Вот кляча-то, правда? — весело глядя на старуху, спросила Оля.

Она грызла семечки, доставая их из газетного кулька, и сплевывала прямо на пол, под ноги пляшущей старухе. Вдруг какой-то грязный оборвыш разбежался, пнул старуху ногой в живот и быстро отскочил. Оля громко расхохоталась и захлопала в ладоши — ей было невероятно весело, будто она попала в цирк... Хорошо было и сумасшедшей: она резко пошатнулась и почти

рухнула на каменный прилавок, ударившись грудью. Но когда она снова повернулась к публике, ее беззубый рот улыбался, выцветшие глаза лучились диким счастьем.

И тут я узнал свою мать...

Никогда еще до этого случая я не знал, что такое боль. Я окаменел, потерял дар речи и способность мыслить. Все, что я испытывал раньше — ревность, отчаяние, страх потерять Олю, игра в казино, — все оказалось игрушечным, крохотным и уменьшалось с каждой секундой — мне даже трудно подобрать слова. Безмолвный, потрясенный до глубины души, я потянул мать за рукав. Она недовольно обернулась, всего на несколько мгновений, и уже снова кривлялась перед публикой, с трудом сгибая и разгибая большие ноги, — она меня не узнала. Я был для нее никем, одним из многих выхваченных из толпы лиц.

— Мама!!! — в ужасе закричал я, но это мне только показалось.

Так бывает, когда ночью мучает кошмар: кричишь и не слышишь своего голоса, хочешь проснуться, а не можешь. Бывают такие мгновения, даже секунды, за которые меняется вся жизнь человека. Это случается редко, словно скачок-перевертыш, вот он я — а вот меня нет. Я видел жестокую толпу, потешающуюся над моей несчастной, потерявшей память матерью, и никому не было до нее дела. Я был один — в таком одиночестве, будто шел по тропе, ведущей в ад. Несколько мгновений я все же колебался — и до конца своей жизни я буду стыдиться этих минут.

В какой-то прострации я шел обратно, Оля оглушительно смеялась, вспоминая все новые и новые подробности — для следующего взрыва хохота... Я спешил, будто пытался от

нее убежать. Чтобы не отстать, она вцепилась мне в рукав, стук ее каблучков бил мне в виски, звук ее голоса сжигал меня дотла.

Остаток вечера был как рассыпавшаяся мозаика: кухня, ванная, ледяная вода, стакан, потолок, темнота. Оля спала, как всегда, подложив под щеку кулачки, но такая далекая и чужая, что я до озноба не понимал: как же так? Только сегодня утром, несколько часов назад, я обмирал от запаха ее кожи, подмышек, волос, тайных и любимых — до невозможности — всех укромных уголков ее тела. Я долго глядел на нее, как на убитого ребенка, вдруг рыдания вырвались и потрясли все мое тело с ног до головы.

С этого дня началась моя новая жизнь. На следующее утро я нашел свою маму, она была там же, на рынке, и постарался прикрыть какой-нибудь одеждой, забрать, увести к себе в дом. Но все было напрасно. Она меня не узнавала, и когда я пытался взять ее за руку, приходила в ярость: визжала дурным и враждебным голосом, толкала меня грязными костлявыми руками и громко призывала на помощь. Я сам чуть не тронулся умом, пытаюсь наладить с ней отношения, если эти слова вообще как-то могут соответствовать той ситуации. Я осторожно проследил, где она живет. Вместе с бомжами и пьяницами она ютилась в заброшенном детском садике с разбитыми окнами и наполовину разрушенной крышей. Вонь и смрад, нечистоты в каждом углу — никогда я не мог себе представить, что можно опуститься до такого скотского состояния. Мамино место было в углу одной из комнат, она спала на куче старых газет, брошенных на бетонный пол. Спала она на удивление крепко, но лицо ее во сне постоянно вздрагивало, рот по-детски кривился. Еще она

крепко прижимала к себе небольшой камешек, всегда новый, который подбирала на дороге. Почему она не выпускала его из рук? Кожа на ее руках была такой тонкой, почти прозрачной, виднелась каждая темная жилка. Только когда она спала, я мог, сидя на коленях и не спуская с нее глаз, пригладить ее волосы: расчесать их было невозможно, не разбудив ее. Да и что я мог сделать? Никогда я не чувствовал себя таким жалким, ничтожно слабым...

Ночью и днем здесь ходили и спотыкались, кричали и умирали люди, а я сидел возле матери и молча смотрел, как она спит. Черты лица ее порой смягчались, и она снова казалась прежней — вот сейчас она проснется, увидит меня и спросит про очки. Что я скажу? Квартира, в которой я вырос и где жила мама, давно через много рук продана. Почему так произошло? Я страшился задавать себе эти вопросы, я знал ответ. И если бы я узнал, что мама давно умерла, возможно, это не явилось бы для меня таким ударом, но видеть, как она живет, как над ней потешаются, как в любой момент она может быть до полусмерти избита, было невыносимо. Теперь мы с ней поменялись местами — я отчаянно, до полного исступления хотел быть рядом с ней — она бежала от меня, как черт от крестного знамения. Я смотрел, как она сосет хлеб, шамкая беззубым ртом, как отмороженными пальцами скребет в голове и чему-то смеется, и пытался разглядеть в ней свою ненаглядную, погибшую, светлую и бесконечно любимую мать. Любовь, о которой я никогда не подозревал, пробуждалась во мне, а вместе с ней — и невыносимая боль. Несмотря ни на что, я верил, что она вспомнит. Стараясь придать своему голосу

утерянную детскость, я читал ей свои первые стихи, с которыми выступал на утренниках и которые она заучивала со мной с бесконечным и мягким терпением. Вновь и вновь я рассказывал ей те далекие истории, которые были дороги только нам двоим. Порой мне казалось, осязаемо мерещилось, что в пустых глазах ее загорается свет, верно, он был, я видел его, он мягко струился из ее безумной глубины. Затаив дыхание, я следил за этим светло-опаловым отблеском — такой свет излучают в темноте холодные камни. Как я ошибался! Это был свет самой смерти, между нами существовало то же препятствие, которое бывает между живыми и мертвыми. Как она попала в это недоступное пространство, где испарялся великий инстинкт самосохранения, материнский инстинкт?

Порой я думал: приходилось ли кому-нибудь видеть пустые глазницы своей матери? И что эти люди испытывали? Возможно, это случалось, когда мать достигала преклонного возраста, да и сам ребенок давно был покрыт седыми волосами и слоями усталости, защищавшими от излишних эмоций. Моей матери было пятьдесят лет, мне — двадцать два. При другом раскладе судьбы она могла быть цветущей женщиной, женой, возлюбленной. Верите ли, порой я мечтал, чтобы она умерла, так мучительно было видеть ее, но еще страшней было не видеть ее. Я хотел уехать, иногда не возвращался несколько дней, но ужас гнал меня обратно, в кошмарных снах я видел мать покалеченной, избитой и окровавленной. Прошла зима, весна, наступило лето, и в один из теплых дней я не нашел ее. Нигде. Я обыскал детский сад, рынок и все окрестности вокруг, я без усталости расспрашивал всех обитателей трущоб — никто

не знал, где она. Говорили, что она отправилась куда-то вместе со своими неизменными спутниками. И действительно, двое оборвышей, что часто были с ней, тоже исчезли. Я искал долго, и каким бы счастьем для меня было найти ее могилу и узнать, что душа ее наконец успокоилась. Но бог каждому посылает то, что положено. Я больше никогда не видел ее. Порой, лежа ночью без сна, я ужасаюсь: а что если она до сих пор жива?

Я излечился мгновенно — это было почти чудо. С отвращением я взирал на весь свой прежний мир: на Олю, игру, друзей, деньги. Все эти ценности вмиг потускнели, покрылись пеплом, а новые пока не появились. Потрясение было слишком велико, его не выдержала даже моя любовь к Оле. Я готов был заботиться о ней, но не более того, она стала мне чужой. Она не сразу поняла, не восприняла всерьез, поэтому настойчиво пыталась меня обольстить, вернуть, но в конце концов ожесточилась и оставила меня в покое. Отныне у меня не осталось ничего, к чему я был привязан, — даже город стал мне чужим. Обросший и грязный, питаюсь чем бог пошлет, я бродил где придется...

Наверное, я бы погиб, так невыносимы и безрадостны были мои дни, но внезапно дорога привела меня в церковь. Я забрел случайно, ненадолго — а остался навсегда. Я даже сохранил в памяти этот первый день: как, озираясь по сторонам, я неловко пытался поставить свечу перед иконой Спасителя — она трещала и дымилась, потом выскользнула из моих рук и упала. Ко мне шел человек в красивом церковном облачении. Ожидая немедленного изгнания, я уже пятился к двери. Но он неожиданно принял большое участие в моей

судьбе, с его помощью я стал священником. Какой страшной тропой привели меня сюда небеса, и разве я, неверующий человек, мог когда-либо об этом помыслить? Жизнь словно очертила круг красными флажками: явились для меня стены с иконами, горящие свечи, молитвы и прихожане. Только в этом пространстве я мог свободно дышать. Когда я переступал порог и выходил на улицу, в глаза и грудь било солнце, я шатался, как пьяный. Перерождение само по себе мучительно, в нем нет ничего светлого. Потом передо мной возникли лица, и я пережил второе потрясение в своей жизни — я увидел страдания других. Никогда не думал, что в мире столько страдающих людей. Растворяясь в их бедах и несчастьях, распутывая все мутные узлы чужих жизней, я забываюсь и обретаю мимолетный покой.

Мои силы поставили меня перед выбором: чтобы выжить, мне надо было выстроить новую жизнь, нового себя. Нельзя оглядываться назад — прошлое убивает. Исправить ничего нельзя. Прошлое — это царство Аида — серое бесконечное пространство, где сам воздух наполнен душевной виной... Какое-то время я метался между двумя мирами, и, поверьте, тот, мертвый, обладает большей притягательной силой, потому что он принадлежит вечности и в нем мы пребываем гораздо дольше, чем в жизни.

Я до сих пор не понял — зачем это случилось со мной? Ясное дело, мать своим безумием вырвала меня из игровой зависимости, я приобрел свободу страшной ценой. Но, прослужив несколько лет в церкви, я приучился смотреть на жизнь... как на священный замысел, где все тщательно подогнано — цветом, формой, действием, всеми нашими чувствами, как лепестки в цветах или ра-

дуга. Я должен был стать священником — это я разгадал. Никакая другая дорога не смогла бы быть короче, тем та, что привела меня сюда. Но есть кое-что еще...

— Что? — спросила я.

— Чего я не могу уловить... Это как предчувствие, интуиция, оно из более тонкой сферы, которую невозможно обрисовать или тем более выразить словами.

— А вдруг?.. — Я прикусила язык, но он мгновенно понял и мой полувопрос, и то, почему я не смогла его проговорить.

— Вдруг все иллюзия? Я запутался и попал в ловушку простого ума? Все это возможно, но у меня есть ориентир, знак, если так можно выразиться.

— И какой? — Затаив дыхание, я взирала на отца Владимира, как на какое-то высшее существо.

Черты его лица, классически правильные, своей надменно-нежной красотой напоминали статуи древнего мира. Порой слова его поражали легким безумием, но даже в нем были подлинное достоинство и глубина. Он не отчитывался передо мной и не пытался оправдаться.

— Знак простой. Я думаю, если судьбе угодно, она даст знать, пошлет знак, единственный, который я буду ожидать до последних дней своих, до последнего вздоха. Известие — горькое ли, страшное, любое — о судьбе своей матери.

— Но вы писали, я сейчас покажу. — Я достала помятые листы рукописи, которые всегда были со мной, и нашла нужные строки, толкнувшие меня в дальний путь, вдохновлявшие и вселявшие надежду. Я знала их наизусть — каждое слово, но почему-то старательно зачитала: «Если вы все же умудрились опуститься до такого положения вещей — ваш сын или возлюбленный больше не воспринимают вас, вы понаделали слишком много ошибок и слишком

все запустили, — выход все же есть. Но об этом — в конце этой книги».

— Вы не можете помочь сыну, — быстро ответил отец Владимир. — Вы можете помочь только себе. Чем сильнее в душе демон, сильнее и Бог. Ищите в своей душе эту силу. Постарайтесь ее открыть. Но только — в себе.

Я вдруг поняла, что священник увидел во мне отблеск своей матери, именно поэтому он так много уделил мне внимания. Но мне стало обидно — чем я могла так напомнить ему мать? Ведь я совсем, совсем другая. И потом, отец Владимир был старше меня. Неожиданно я посмотрела вниз, оглядела себя со всех сторон: вид у меня оказался действительно жалким.

Я скорбно молчала. Что я могла сказать? Признаться, что у меня остались одни гроши? Что мне негде жить? Если я вернусь в свой город, в привычный мир, разрушивший меня, то пропаду? И что буду делать здесь, в этом незнакомом городке? Кто примет меня на работу в таком нищенском одеянии?

Находясь в постоянном движении, рыская по дорогам бесчисленных сёл, я была будто добровольно взята в плен какого-то слепого намерения, хмельного вина. В продолжение этих бедственных дней я брела, как во сне, словно по тонкой пленке первого льда: простые слова священника тяжело упали и пробили его — я взглянула и ужаснулась. Грязное платье давно потеряло свой цвет и выглядело ржаво-серым, сандалии были разношены и привязаны к ногам обрывками веревок. Руки — темные и исцарапанные, будто я продиралась сквозь колючий кустарник, а ноги... бог мой! Кожа от самых щиколоток покрыта незаживающими темно-красными пятнами. Я приобрела их после одной неосторожной

ночевки в лесу. Утомленная дорогой, я рухнула в низкий кустарник с пряным, одурманивающим запахом. Фиолетово-малиновые цветы, как выяснилось утром, оказались ядовитыми — кожа ног горела, потом появились мокнувшие пятна. Про волосы и говорить нечего — я горестно провела по ним рукой и насупилась: впервые в глубине своей души я услышала тихий плач униженной гордости. Мои ноги в нелепых сандалиях непроизвольно повернулись на дорогу: мне хотелось как можно скорее убраться прочь. Какой невыносимо тяжелый и мучительный был сегодня день! Воздух сухой и тяжелый, пресыщенный светом... Будто нарочно, невдалеке, за густыми зарослями ивы, жалобно заржала лошадь, потом послышался легкий топот копыт и снова, уже издали, — неприятные, раздражающие слух крики...

До меня наконец дошло, что настал конец пути — я нашла своего священника. Я тайне надеялась, что при одном взгляде на него приобрету определенную устойчивость, быструю опору. Я хотела, чтобы перемена свершилась сразу, внезапно, а не капля за каплей. С льдины, на которой я неслась по ревущему водовороту, сразу выпрыгнуть на прочный берег, на землю!

Моя опора оказалась совсем не такой, как я ожидала. Огромный могильный крест, подгнивший в нижней своей части, вдруг рухнул на моих глазах, подняв облако песка и пыли. А что я ожидала, кроме этой кучи трухи? Что священник предложит мне древнюю священную мантру, глоток святой воды или небывалый священный заговор, прочный и надежный, как ключ и замок?

Что значили для меня эти рекомендации — про светлого Бога? Смысл их не проникал в меня, как не доходит свет в редкие расщелины бездны. Пока я слушала отца

Владимира и кивала головой в такт его словам, я что-то ощущала, но очень смутно...

Я обманулась. Так, когда нет денег, нищему обычно отвечают: «Бог подаст».

Мне казалось, даже сердце мое отказывается работать. Жизнь оказалась неподвластной мне — она требовала большей тонкости, особого умения приспособливаться к новому. Я предположила, что сам священник, не зная избавления, закрыл свою книгу, как зима смыкает уста рекам. Он спрятался от себя в монастырь, но разве для меня это выход? Что мне оставалось делать? Продолжать жить в теле переломанных костей и разорванных внутренностей, борясь за каждый вздох? Лучше бы он дал мне пузырек с настойкой из земляных червей, убедил в ее силе, сказав, что нет лекарства сильнее и надежнее...

Священник потянул меня за руку. Как обиженный ребенок, еле сдерживая слезы и боясь показаться слабой и навязчивой, я вырвала руку и пошла не оборачиваясь. Не признаваясь самой себе, в глубине души я все же отчаянно ждала, что он меня остановит — так в минуту опасности дети стремятся в объятия родителей.

И это действительно произошло. Вновь почувствовав прикосновение его руки, горячее желание помочь, я уже, не таясь, повернулась и рыдала у него на груди — и это было единственное, в чем я нуждалась.

— Оставайтесь на несколько дней в монастыре. Я найду вам работу. Я уже знаю, где вы будете работать.

Он быстро шел, огибая легкие буро-красные ветви, а я, тихо всхлипывая, покорно бежала за ним, как заблудшая овечка за пастухом. Церковь, монастырь, но-

вая работа... Я попадала в особый, совершенно новый мир, в котором все мои чувства разом обострились и откликнулись на любое движение. Под ногами было великое множество блестящих каштанов. Наступая на них дырчавыми подошвами сандалий, я чувствовала боль. Как же раньше я ходила по камням?

Навстречу шла пожилая благочестивая женщина в длинном черном платье. Отец Владимир негромко и быстро переговорил с ней, и мы двинулись дальше — к постройкам из красного кирпича, окруженным великолепными клумбами роз. Во всем, что окружало меня, чувствовались особый порядок, какая-то спокойная правда, и это успокаивало лучше, чем слова священника.

Быстро и неотчетливо промелькнули последующие события и разговоры, и вот я — в долгожданной горячей воде! Как блистали и сверкали струи! Я блаженно плескалась в них, кружилась и брызгалась. И мне не надо было вздрагивать и пригибаться от каждого шороха! Я намыливалась непередаваемо душистым мылом, почему-то дрожали руки, лихорадило все тело, я фыркала, как лошадь, и то и дело пыталась расчесать пальцами свои спутанные волосы. Обмывая груди и бедра, стекая по ногам, вода уносила прочь мои скитания и дурные видения. Журча и шумя, хлеща паром, она будто подговаривала меня, тайно подстрекала: «Ты пришла ненадолго, времени мало, торопись...»

Трапезная была большая и светлая, из свежего и пахучего дерева, возможно, сосны. Из всех округлых окон струился мягкий вечерний свет.

Я опоздала на ужин. За столом сидели кроткие женщины в одинаковых длинных платьях, молодые и старые послушники

цы, они тихо и молчаливо ели, передвигали чашки, брали из больших и глубоких тарелок хлеб. Я села, куда мне показала рукой, по-видимому, самая старшая или главная, она была невероятно приветлива: всем своим небольшим и полным телом, белыми руками, прямой посадкой головы на мягких и женственных плечах, открытым взглядом серых глаз. Кое-кто из тех, кто закончил скромную трапезу, замешкались, исподтишка бросая на меня любопытные взгляды. Что привело их сюда: искренняя набожность или что-то другое?

Сероглазая женщина отвела меня в монастырские покои, открыла келью — маленькую комнату с двумя окошками на уровне земли, — и, не донимая меня расспросами, удалилась. Я осталась одна. Несмотря на вполне защищенное пространство, меня пугала надвигающаяся ночь. Хмурая, необъятная ночь в чужом городе... Я села на деревянную койку, скорбно обхватив колени руками, закачала утомленной головой: вверх-вниз, вверх-вниз... Мысли против моей воли всплывали на поверхность, как черви из грибов, опущенных в соленую воду.

Перед глазами плясала безумная мать священника. Схлестывая листья с кустов и целые сучья, она уходила все дальше и дальше в лес, кружась черными полотнами похоронного платья, дергаясь, как заводная, без передышки. Я вдруг вспомнила, где видела ее — в отделении милиции, куда меня впервые забрали на вокзале. Это была старуха, сидящая со мной рядом. Неужели она? Небывалое совпадение... Говорить ему или нет?

Я встала с кровати и стала ходить по комнате. Сколько же времени я готовилась к разговору с отцом Владимиром? Сидя в игровом зале, бредя по дороге, лежа в траве, я постоянно

прокручивала в голове все мыслимые варианты исповеди, но всегда получалось так, что я живо и подробно, по порядку, рассказывала ему о всех своих бедах. И что же получилось в действительности?

При одном взгляде на него у меня словно язык присох к гортани, я смогла выдавить из себя несколько незначущих слов, которые не выражали и соотой доли того, что я пережила и в данный момент испытывала. Понял ли он огромную значимость для меня нашей встречи? Может, я не смогла все выразить словами? И у него создалось впечатление, что, небрежно гуляя по селам, я случайно набрела на него?

Неуловимая суровость, потусторонняя отрешенность его лица испугнули меня. Или изысканная утонченность рук, тела? А вот он, напротив, будто ожидал меня. Легко и необычайно красочно, ничуть не смущаясь, он смог рассказать мне почти всю свою жизнь. И я, стараясь угодить, почтительно останавливалась, с нетерпением дожидаясь, когда он переведет дыхание и снова продолжит. Как так получилось? Его грустная судьба, этот живой приступ тоски не выходят у меня из головы. Какие-то слова пробились в мое сердце и надолго остались — я даже испытала легкую зависть. Никогда, никогда не смогу так искренне открыться...

Я снова пришла в состояние неопределенности. Я верила отцу Владимиру и не верила, я хотела остаться в этом городе и с такой же силой рвалась обратно. Я вздымалась волнами, как океан. Миллионы тонн воды, способные изувечить целый город... И как океан, поколебавшись некоторое время, обретает неподвижность и на его ровной литой глади отражаются лишь облака, так и я, не в силах совер-

шить свой выбор, покорила воле священника и слепо пошла за ним...

Наутро он предложил мне поработать домашним учителем десятилетнего мальчишка, родители которого часто были в отъезде. У мальчишка была редкая болезнь ног, и началась она два года назад. Он почти не ходил, пропустил много занятий, в мои обязанности входило восполнить недостающие пробелы в знаниях и продолжить дальнейшее обучение.

— Работа для вас, — улыбнулся отец Владимир. — Не придется ломать себя, перестраиваясь на что-то новое. Семья отличная, я их хорошо знаю. Завтра пойдем знакомиться, и если вы им понравитесь, а я в этом полностью уверен, сразу приступите к работе.

— Сразу? — удивилась я и сама толком не поняла, чего я испугалась. Того ли того, что не была до конца уверена в своем внешнем виде? Или страшилась расстаться с монастырем, где могла видеться с отцом Владимиром?

— Да лицо как лицо, — весело рассмеялся священник, — очень милое, хотя в настоящий момент немного испуганное. Сегодня парикмахер, а потом Мария Сергеевна подберет вам одежду. А с вами мы, конечно, будем часто видеться.

Спрятаться от него не было никакой возможности, он все ясно видел и отлично чувствовал. Я улыбнулась в ответ. Разумеется, я не считала себя, как он выразился, «миллой». Сразу же после купания я внимательно рассмотрела себя в зеркало. Я сильно похудела и, вероятно, никогда в жизни столько не весила. Ключицы костляво выпирали из-под выреза платья, пришлось с Марией Сергеевной (это была та женщина, что отвела меня в келью) подбирать такое

платье, чтобы ворот приходился под самое горло. Зато на загорелом лице глаза — ярко-зеленые, в коричневую крапинку — смотрелись ярче и казались огромными. Губы обветрились на солнце и приобрели темный оттенок, какой бывает у индианок, а волосы, наоборот, стали светлы, как ковыль. Все молодило мое лицо, а может, виновата была моя новая стрижка? всю жизнь я носила длинные волосы, скручивая их на голове в незамысловатые пучки или завивая в мелкие кудри, как это делали старшеницы.

После того как недовольная парикмахерша, добросовестно повертев мою голову в разные стороны, ввиду особого состояния волос обкорнала меня, сообразуясь разве что со своими детскими фантазиями, я стала похожа на прилежного мальчика: пушистая челка смешно топорщилась над моими выгоревшими бровями. Светло-золотистая щетинка, что покорно стояла по всей голове, щекотала ладонь. Я казалась себе лысой и почему-то голой. В соседнем кресле сидела красивая женщина и с удивлением смотрела на меня. Как она была любовно ухожена — от головы до кончиков пальцев! Волосы у нее были чудесные, палево-светлые, пряди сверкали и искрились, но, несмотря на их природное богатство, вторая парикмахерша — худенькая и черноволосая — продолжала привычно хлопотать над этими блестящими зарослями, бережно брызгая чем-то невероятно душистым и розовым, похожим на земляничный сок. Меня поразило красное шерстяное платье, плотно обтягивающее ладную фигуру. Черты лица были немного кукольными, светло-малиновые губы — пухлыми и капризными. Крупные глаза удачно оттенялись лилово-синими стрелками, ресницы накрашены густо и аккуратно.

Такая изящная, как хрустальный сосуд, незнакомка. Любуясь на себя в зеркало, женщина поправляла то локоны, то жемчужное ожерелье, украшавшее ее белую шею. Тайная, сказочная жизнь, дверь в которую мне наглухо закрыта...

ГЛАВА 9. ОСОБНЯК

Я несла себя в богатый дом, будто хрустящую рукопись с красными пометками на полях: «исправить», «отрастить», «сшить», и страшилась, что не подойду, меня не возьмут, я окажусь непригодной, как оказывалась непригодной до этого на всех этапах своей жизни. Особняк, богатые родители — все напомнило мне об элитной школе. Весь мозг мой будто воспламенился — возгорелись даже мысли. Я суетливо забегала вперед и забивала вопросами отца Владимира, неторопливо идущего рядом:

— А мальчик? С кем он сидел раньше? Почему вы уверены, что меня возьмут? А кто еще живет в доме? Почему он заболел? Почему такой дом — как замок, и кто в нем жил раньше?

Дом действительно был огромен и далеко виден издали — со всеми остроконечными башнями, устремленными ввысь, с богатым декоративным убранством из статуй и витражей. И пока мы шли к нему, отец Владимир неторопливо и обстоятельно рассказывал все, что знал о доме и его обитателях.

— Мальчика зовут Артур. Это очень умный и хороший ребенок, внезапная болезнь ног, конечно, плохо отразилась на его характере. Родители его люди весьма богатые и увлекающиеся. Приличное состояние позволяет им вести такой образ жизни, какой им нравится, а они большие любители путешествовать. Когда Артур был здоров, они ездили

вместе. Оставить свое любимое увлечение они не в силах даже ради сына. Его отец, Владимир Сергеевич, написал много книг об исчезнувшей цивилизации — древней Атлантиде. По всему миру он ищет ее следы, я восхищаюсь людьми, настолько увлеченными, как он. В доме огромная библиотека, и я благодарен семейству за то, что они любезно предоставили мне возможность познакомиться со многими редкостными книгами.

Его жена Элеонора — женщина с весьма шаткими нервами, именно из-за нее они и переехали в это тихое место лет пять назад. Купили замок, весьма недорого, до революции он принадлежал хозяину богатейшего поместья. Сохранился прекрасный сад, пруд.

В доме помимо хозяев живут массажист Костя, садовник Михаил Леонидович, прачка и стряпуха с племянницей. Есть приходящая прислуга. Владимир Сергеевич — человек довольно щедрый, у вас будет хорошая зарплата. У Артура недавно умерла старая няня, он был к ней сильно привязан. Несмотря на возраст, она следила за порядком в доме.

— Откуда вы все так хорошо знаете? — удивилась я.

— Священник должен знать все.

— Вы не сказали, почему решили, что меня возьмут на работу.

Но отец Владимир не успел ответить: открывались ворота, и мы ступили на зеленую лужайку. Навстречу, махая хвостом, выбежала рыжая собака, она с усердием меня обнюхала. С удивлением оглядываясь по сторонам, я не знала, на что смотреть и чем любоваться. Вдыхать хотелось больше, чем любоваться. Густой и свежий аромат источали бледные розы, окаймлявшие дорожку, по которой мы шли. За ними возвышались более высокие и развесистые

кусты роз — винно-красные и бордовые, с голубовато-восковыми блестящими листьями. Цветов было такое обилие, что они целыми кистями свисали вниз, даже приспособления из светлого дерева были не в силах их удерживать. Из-под моря красных лепестков не было видно травы...

— Здравствуй, Михаил Леонидович, — сказал отец Владимир, и только тут я заметила садовника, высокого худенького старичка, стоящего невдалеке под грушей. Тот вежливо и с достоинством поклонился.

Поднявшись по высоким ступенькам, мы уже входили в дверь, которую широко распахнул перед нами полный мужчина лет сорока пяти — пятидесяти с живыми и любознательными глазами. Он слегка напоминал медведя, вставшего на задние лапы: виноваты были то ли густые каштановые волосы, в изобилии торчавшие во все стороны, то ли своеобразное движение ног...

Мы прошли в гостиную. Она представляла собой что-то среднее, образующееся при смешении разнородных вещей. Первой странностью, к которой впоследствии привыкал глаз, была белая старинная мебель с золотой росписью в виде полустертых амурчиков и цветов. Витые ножки стульев, стола и диванов, полукружьем расположенных вдоль комнаты с высоким потолком, напоминали узкие щиколотки молодой девушки, всем своим юным телом стремящейся как можно скорей оттолкнуться от пола. Огромный пустой зал словно был полон веселого движения и неуловимого шелеста. Совсем неуместными казались деревянные стеллажи для книг, высокие, до самого потолка. Книг было великое множество, и по чьей-то прихоти они стояли не в соответствии с их размерами, цветом и качеством переплета. На блестящем столе из белого мрамора помпезно возвы-

шалась большая ваза, инкрустированная яркими камнями: бирюзой, лазуритом и голубым опалом. На стенах висели аляповатые картины, написанные масляными красками, на многих были изображены алые маки.

Тяжелые шторы цвета темной вишни, подбитые золотым кружевом, раздольными складками закрывали все окна. Их было, наверное, с десяток — такой объемной и высокой показалось мне гостиная.

— Здесь раньше устраивали балы, — тихо шепнул мне на ухо отец Владимир. Он наблюдал за мной, когда я крутила головой из стороны в сторону, разглядывая зал.

Хозяйкой оказалась маленькая сорокапятiletняя дама, худая настолько, что даже я выпрямилась и горделиво расправила плечи. Ее худоба была истерического свойства — это сразу было видно по отрывистым движениям острых и выпирающих частей тела: плеч, рук и ног. Некрасиво смотрелись даже колени под плотным шелком, когда все мы после знакомства уселись в белые мягкие кресла. Ее редкие и длинные серовато-пепельные волосы были высоко подняты над ушами, их поддерживала гребенка, украшенная стразами. На костлявых пальцах блестели разноцветные перстни и кольца, на темной ткани юбки лучились их блики. На хозяйку я поневоле обратила внимание, потому что она сразу же уставилась на меня ревнивыми и недоверчивыми глазами, похожими на воспаленные узелки. Предположив, что в выборе учительницы за ней, как за матерью, будет решающее слово, и догадавшись о ее непреодолимой склонности к сценам ревности, я незаметно старалась понравиться — хотя бы тем, что не обращала на ее супруга ровно никакого внимания. Муж

ее был красив, весел и румян, он и то и дело вставлял в беседу лукавые шутки, веселившие, правда, его одного. Да и весь разговор, перебирая общие темы, они вели лишь вдвоем со священником. Правда, пару раз Владимир Сергеевич на меня быстро взглянул и восхищенно кивнул головой...

Не было никакой возможности укрыться от немигающего и напряженного взгляда Элеоноры, он словно расщеплялся на тончайшие жгучие волокна. Ежась от них, я мечтала хлопнуть хозяйку по голове чугунной сковородой. Не дай бог, оставят нас вдвоем. Наконец, вздохнула с облегчением, когда отец вкатил в комнату инвалидную коляску с черноволосым надменным мальчиком. Тот быстро, почти не взглянув на нас, поздоровался и стал рассматривать потолок, будто впервые увидел по краям его золотую роспись цветов. Затем взгляд его, поблуждав, остановился на хрустальной люстре. Лицо его было болезненно-бледным, недовольная гримаса кривила выразительный рот. Я с удивлением увидела, что сбоку, на голове, у него тщательно выстрижена сеть паука — это было похоже на татуировку. Его ноги прикрывал легкий плед. Неожиданно для всех он сбросил плед на пол и натужно, помогая руками, вытащил ноги. Худенькие ножки казались мертвыми и заочеченными. Я отвела взгляд...

— Артур, — слегка прикоснувшись рукой к его голове, мягко сказал отец, — знакомься, это твоя учительница Вера Николаевна.

Хозяин семейства уже принял меня на работу, сразу показав, кто в доме главный. Я незаметно вздохнула, встретилась взглядом со священником и не таясь улыбнулась. Допив чай, Владимир Сергеевич отвел меня на второй

этаж и показал комнату, в которой мне отныне надлежало жить. Она была светлая и уютная: с широкой кроватью, аккуратно застеленной кремовым покрывалом, со старинным торшером, стоящим у окна, деревянным столом и двумя стульями посередине. На широких полках, прибитых к стене, стояли две пустые рамки для фотографий. Рядом лежал моток белой шерсти. Может, здесь жила прежняя няня? В комнате стоял запах лесного одеколона.

Вещей у меня почти не было. Надо еще успеть проникнуться доверием к этому скоропалительному движению судьбы...

Словно спелый, но незнакомый плод, упала мне в руки новая работа. Несмотря на то, что я была учительницей начальных классов, мне предстояло жить с этим мальчиком, находиться с ним круглосуточно, ведь буквально через несколько дней его родители надолго покинут усадьбу. Зарплата была в три раза больше, чем в элитной школе, питание бесплатно. Я смогу скопить денег и, возможно, куплю себе квартиру. Если сложатся мои взаимоотношения с мальчиком...

И напрасно я вообразила, что главным в доме являлся Владимир Сергеевич и что именно он взял меня на работу. Отец Владимир, провожая меня вечером в монастырь, легко разбил мою очередную иллюзию, тем самым еще раз подтвердив тот факт, что женщины не всегда бывают проникательными. Я пропустила то неуловимое движение ребенка, легкий наклон головы, которое и явилось решающим. До меня он уже отверг многих учителей, практически всех, и худо-бедно с ним по учебникам занималась старая няня. Я так и не получила ответ на свой вопрос, почему священник был так уверен, что я понравлюсь Артуру. В кон-

це концов, это было не столь важно...

Первым на следующий день я увидела массажиста Костю. Он стоял перед домом, расслабленный, в белом теплом костюме и, прищурившись от солнца, беззастенчиво следил, как я приближаюсь. Смуглая бычья шея, широкая грудь и курчавые черные волосы на миг привлекли мое внимание. Не поздоровавшись, он весьма бесцеремонно обратился ко мне:

— Я могу предложить вам массаж. Разумеется, бесплатно. Какой вы предпочитаете: маньячный, мазохистский или садистский?

Возможно, это была шутка, ведь он тут же сам неудержимо рассмеялся, показав целый ряд плотных и белых зубов, но меня она покорила, и я не сообразила, что нужно ответить. Все мне в нем не понравилось: небритое лицо, широкий нос, волосатые руки и грудь, крупные яркие губы. Насмешливо-обнаженные глаза... На вид ему было лет тридцать пять. Почему его взяли на работу? Отец Владимир рассказал, что Костя очень хороший специалист, он многих, даже совсем безнадежных, поставил на ноги, и родители мальчика верили в него. К тому же ребенка надо купать, переодевать, выполнять с ним все процедуры. Кроме Кости, Артур никого к себе не подпускал, и, видимо, поэтому тот возомнил, что имеет какие-то особые права в доме. Мне никогда не нравились красивые мужчины, я всегда их опасалась...

Мальчика был прикован к инвалидной коляске. Все дни напролет он сидел у компьютера, играя в различные игры. Особенно он любил ужастики. Артур был неуправляем, упрям и своеволен. Любую мелкую провинность со стороны прислуги он воспринимал как драму и тут

же бросал в нее тем, что мог достать рукой со стола или полки. Как же он порой изматывал всем нервы — худенький чело-вечек, похожий на маленького злодея! Бывали дни, когда его до исступления раздражало все: от массажного масла у него чесались ноги, от пирогов болел живот, от солнца резало глаза. Он не давался стричься, глаза его были полны ненависти — это доводило всех до изнеможения. Только Костя относился к его истерикам с юмором — похоже, он шел по жизни легко. Он спокойно садился с газетой куда-нибудь в дальний уголок и словно исчезал. Много учителей сменилось за это время, и всех их выгнал сам Артур.

Нет, мне определенно не везло. Артур держался со мной примерно так же, как и я с ним, — настороженно и отстраненно, как с незнакомым зверьком. Я не настаивала, не проявляла никаких эмоций, когда он отказывался со мной заниматься. Завтра — значит завтра...

Комнат в доме было много: кабинет Владимира Сергеевича, отдельные спальни для супругов, столовая, игровая и учебная... Моя находилась на втором этаже, там тянулся длинный коридор, дальше маячили обитые черной кожей двери — в них я никогда не заглядывала.

Стряпухой, так по старинке ее все называли, оказалась черно-волосая полногрудая женщина лет шестидесяти пяти. Звали ее Ариадна. Большое лицо ее с нездоровой коричневой кожей портили полузакрытый глаз и искривленный рот — похоже, у нее когда-то случился инсульт. Маленькую голову покрывали короткие и блестящие волосы. Несмотря на крупное и рыхлое тело, ходила она быстро и ловко, слегка припадая на левую ногу. Странные чувства она у меня

вызывала — все мне в ней нравилось, даже обезображенное лицо, но вместе с тем что-то пугало и даже отталкивало. Встретила она меня приветливо, называла рыбка или кисой. Готовила просто сказочно, даже привередливый Артур редко отказывался от разнообразных салатов и пирогов. Первое время я часто приходила в ее хозяйство — небольшую пристройку к особняку. Половину комнаты занимала хорошо выбеленная, настоящая русская печь. Здесь царил отменный порядок: кастрюльки блестели, стаканы и рюмки сияли, чугульки были тщательно выскоблены. На веревке аккуратно висели ароматные пучки трав, многочисленные склянки были плотно набиты разноцветными семенами и зернами — благовоние стояло невероятное. Толстые мясистые руки ее, покрытые красными родинками, находились в непрестанном движении: толкли корешки, что-то мололи, крошили и резали, ссыпали в новые банки.

Спала она за стенкой в небольшой комнате вместе со своей племянницей, болезненно-тучной девушкой с сонными глазами — апатичной, угрюмой и молчаливой. Как я поняла, ее родители умерли, и кроме тетки, у нее никого не было. Она и жила с ней, вроде как помогая по хозяйству, на самом же деле бестолково путаясь под ногами. Ее Ариадна могла хлопнуть по задку половником, грубо обозвать коровой, сидящей на ее шее, но когда стряпуха незаметно смотрела ей вслед, глаза ее теплели.

Я привязалась к Ариадне, у меня тоже, кроме нее, никого в доме не было. Но присутствовала и некая странность, нелепая и до конца мною не понятая. Когда уезжали хозяева, она становилась невероятно скупой, и в зону этой скупости

попадала именно я. Изображая из себя хозяйку, она смешно распрямляла плечи и поднимала грудь, величаво задирала нос вместе с косматыми бровями — только Артура она и боялась. Еды за столом она мне выделяла мало: вначале я приписала это забывчивости, когда она наливала мне треть тарелки супа и бросала в миску ложку картофельного пюре. Потом я заметила в этом какую-то упорную и вероломную настойчивость, граничащую с ненавистью. А иначе как можно объяснить то, что она урезала мои порции? И всегда при этом, воинственно подбоченившись, жеманно спрашивала, не желаю ли я еще чего-нибудь. Я робко отвечала: нет, спасибо.

Я перестала ходить к ней. Никто, разумеется, не замечал нашей тайной вражды, как и того, что я постоянно голодала. Да разве мне много надо? Булку да стакан киселя, которого я не смела спросить! Садовник, он же и сторож, ел у себя в саду, в крошечном деревянном домике. Прачка редко бывала за столом, но иногда я ее видела. Она была чем-то похожа на акулу — большим ртом, расположенным ниже, чем у обычных людей, и утолщенным посередине телом, покрытым дряблой серой кожей. Свисающим, стелющимся и ползучим, как повилика, голосом она тихо нюнила — просила подать то или другое блюдо, заглывала куски, не жуя...

Оставшись без покрова природы, без ее мощной целительной защиты, я вновь становилась жалким и беспомощным существом. Я снова боялась этой жизни и не верила в ее силу.

Как же опостылела мне эта комната с кисейной занавесью и покрывалом, которое хотелось коварно изодрать! Лучше б я мела своим подолом худые дороги и сосала сухари, чем ежедневно вхо-

дила в эту комнату и выходила из нее! Над потолком слышались редкие звуки, будто по крыше цокало мелкое стадо овец, блеющие звуки то замолкали, то вновь усиливались. Может, так по ночам завывал ветер?

Терпи да терпи! Сиди за столом, с жадностью глядя на полные дымящиеся тарелки, благородно сцепив губки, отламывая по кусочку, как мелкая птичка, когда хочется засунуть в рот весь, жирный и сочный, ароматный кусок мяса!

О, эти прекрасные черты радужной и хитрой старости, пропитанные одним равнодушием! Этот слащаво-терпкий, издевательский голос, от которого вяжет рот! «Не хочется ли вам, рыбка, чего-нибудь еще? Может, принести сыра или колбасы?»

— Нет, благодарю. Я сыта, спасибо.

Однажды, в глухую полночь, проберусь в ее погреба, изгрызу все запасы еды, выпью из бочки вино, ударю напоследок палкой по изуродованному, спящему лицу! И, расправив крылья, унесусь прочь из этого чудовищного замка с увечным ребенком, похабным массажистом, жадной поварихой... Где дышат, открывая пасти, шипя и потрескивая, одни гадюки...

Моя комната ревела беспомощной яростью. В скитаниях я не ощущала такого голода, как здесь. Если бы испытала что-либо подобное, давно бы вернулась обратно. У меня проснулся нечеловеческий, волчий аппетит, даже воздух в комнате был голодного, сосущего оттенка. Я спускалась ночью в сад — грызла поздние яблоки, пока не начинало ломить зубы. Скоро зима, получу жалование... Как же нам с тобой худо жить, неуклюжая моя Вера Николаевна! Пойдем хоть напьемся воды...

Я безуспешно пыталась выжить на дрожащей палубе тонущего

корабля. Я ли ошиблась — сбилась с пути, отец ли Владимир, направивший меня сюда — не все ли теперь равно?!

Когда приезжали родители, Артур становился невыносим и даже переставал спать — в доме воцарялось угнетенное больничное настроение. Его несносное поведение изнуряло родителей настолько, что, проведя со своим ребенком несколько тревожных недель, они вновь спешили в путь, придумывая себе новые и новые цели.

В поисках следов древних атлантов они путешествовали по всему миру, мечтая найти их останки — захоронения пятиметровых фигур с вытянутыми черепами. Я видела эти снимки: на песке лежал огромный скелет, и человек, стоящий рядом, был не больше его пальца. Владимир Сергеевич считал, что после всемирного потопа атланты расселились по всему свету, чтобы передать людям свои знания. Бескрайние степи, земли и горы хранили их тайны. Найти бы хоть клочок папируса — вышла бы новая книга...

Когда Владимир Сергеевич рассказывал, лицо его необы-

чайно светилось, он весь ожидал и воскресал, будто брал откуда дивные запасы красок. Он вставал с кресла, начинал взволнованно кружить по залу, заражая меня неведомой страстностью. Безразличная к далеким предкам, я замороженно слушала его. Элеонора настораживалась, скользила по мне отсыревшими глазами и недовольно морщилась. Когда они уезжали, все вздыхали с облегчением.

Постепенно я привыкала к мальчику. Неохотно он отвлекался на уроки, его спасали природный ум и сообразительность. То, что ребенок его возраста постигал за недели и месяцы, Артур усваивал за считанные часы. Порой своими расспросами он ставил меня в замешательство. Он был капризен, мог неожиданно оцепенеть и забиться в истерику, но так же внезапно успокаивался и искренне просил прощения. То он был ласков, как котенок, то невероятно мнителен, повсюду видел врагов и предполагал, что над ним все сменяются. Иногда он легко и охотно что-то рассказывал и тогда был похож на обычного, здорового ребенка. Но так

же внезапно замолкал, лицо его каменело, он больше не отвечал на вопросы и ни на что не реагировал. Глаза его бесцельно блуждали по окнам, не останавливаясь ни на чем, и были одиачными и горестными, как у взрослого старичка. В эти минуты он так напоминал мне моего сына! Что происходило в его голове? Я не знала и ничем не могла ему помочь.

Невыплаканные слезы превращались в ночные кошмары, полные смертного крика. Плохо спали мы оба, я и Артур. Я торопила события, жаждала убыстрить бег времени, я вообразила, что пробуждение личной силы сопряжено с большой деятельностью, искала ее повсюду — и не находила. Я пыталась зачерпнуть горсть воды из ревущего горного потока, который грозил опрокинуть меня, как перышко, и в страхе отскакивала в сторону. Но ночам кусала ногти, меня лихорадило, болели ступни — но ничего, ничего не наступало. Надо что-то делать, иначе я опоздаю, и будет поздно. Но именно эти слова роковым образом вводили меня в состояние полного отупения.

Продолжение следует.

г. Липецк


Виктория ЛЫСЕНКО

Виктория Лысенко родилась в Москве. В 1964 году окончила Московский финансовый институт. С 1965 по 1998 год работала во «Внешэкономбанке» на разных должностях — от экономиста до заместителя начальника управления.

С 2004 года начала писать рассказы. Член Союза писателей России (Московское отделение). Публиковалась в «Роман-журнале» и журнале «Российский колокол».

Живет и работает в поселке Сосны Московской области.

УГОЩЕНИЕ

Квартира Надежды Борисовны находилась на третьем этаже шестизэтажного дома в загородном поселке. Этажом ниже жила пенсионерка, ее ровесница Диана Дмитриевна с мужем и взрослой дочерью Ириной, работавшей в какой-то научной организации.

Надежда Борисовна симпатизировала этим людям и считала, что у них много общего: высшее образование, интерес к книгам, одинаковые взгляды на многие жизненные вопросы. Иногда Ирина помогала ей в работе с компьютером, а она редактировала некоторые ее статьи для журналов. Случалось, соседи угощали Надежду Борисовну чем-нибудь вкусненьким, и она в долгу не оставалась. Если она пекла блинчики или готовила домашние пельмени, а Диана Дмитриевна варила холодец, они нередко делились друг с другом.

Сын Надежды Борисовны со своей семьей жил в городе и до-

вольно часто привозил к ней дочек-двойняшек — подышать свежим воздухом и навесить бабушку. В этот раз их привезли в конце декабря — родители улетали на неделю в Египет.

Девочки обожали Ирину. У них была книжка «Для юных леди». Ирину они считали настоящей леди: высокая, стройная, красивая, модно одетая, всегда вежливая и приветливая — словом, образец для подражания.

Под Новый год нарядили елку. Ирина принесла девочкам шоколадные конфеты, которые привели их в восторг. Только Ирина могла подарить такие необыкновенные конфеты. Их не сравнить с теми, что обычно продают в магазинах. Через пару дней Ирина зашла снова. В руках у нее был небольшой торт. Девчужки запрыгали от радости:

— Здорово! Давайте все вместе попьем чаю. Бабушка, поставь чайник.

— Чайник только что вскипел.

И тут одна из сестер спросила:

— Ирина, а у тебя нет больше таких конфет, которые ты нам недавно подарила?

— Нам они очень понравились, — поддержала вторая.

Дальше случилось невероятное. Ирина изменилась в лице, побледнела и произнесла:

— Как вам не стыдно просить об этом! Вы невоспитанные дети, не умеете себя прилично вести.

Надежда Борисовна растерялась и с трудом нашла слова, чтобы ответить:

— Ира, как так можно? Девочки еще маленькие. Ну что плохого они сказали!

— Я принесла торт, который стоил четыреста пятьдесят рублей, неужели вам все мало!

— Ну хватит! Уносите свой торт домой, нам от вас ничего не нужно!

Ирина ушла. Надежда Борисовна сказала девочкам, что хотя

Ирина не права, они получили урок и его надо запомнить на всю жизнь — обращаться с просьбами можно только к самым близким людям, а еще лучше ничего ни у кого не просить.

Общение с соседями на некоторое время прекратилось. С годами этот случай стал забываться. Надежда Борисовна решила не придавать ему большого значения. В конце концов, это просто мелочь по сравнению с множеством серьезных проблем. Постепенно отношения возобновились, в том числе вернулись и взаимные угощения. Внуки выросли, через год закончат школу. Теперь у них много дел, и приезжали они реже. Ирина по-прежнему жила с родителями.

В поселке был маленький продуктовый магазин. Раз или два в году Надежде Борисовне доводилось покупать там замечательные ватрушки в виде небольшого конвертика из тонкого рассыпчатого песочного теста, щедро наполненного нежной творожной массой. Обычно в магазинной выпечке бывает много

теста, а начинки мало. Но вкусно-то как раз наоборот. Казалось, те ватрушки готовила искусная, радушная хозяйка, чтобы порадовать дорогих гостей. Каждый раз, заходя в магазин, Надежда Борисовна спрашивала про ватрушки и, как правило, слышала ответ, что их не привозили.

Магазин месяц был закрыт на ремонт. После ремонта владелец поехал к поставщикам — надо было скорее заполнить прилавки товаром. По дороге на молокозавод он увидел вывеску пекарни и зашел туда. Менеджер сказала, что у них больше всего пользуются спросом ватрушки, которые они делают по особому рецепту. Он подумал, что одна из его постоянных покупательниц, возможно, искала именно их, и взял коробку на реализацию.

Надежда Борисовна пришла в магазин. Ее любимую выпечку наконец привезли, но уже почти раскупили. И она взяла все, что осталось, — полтора килограмма.

Дома она положила в пакет три ватрушки и отнесла соседям. Диана Дмитриевна поблагодарила:

— Спасибо. Ватрушки выглядят очень аппетитно. Мы их обязательно попробуем.

Диана Дмитриевна оставила пакет на кухне и ушла в спальню. Ирина вышла из своей комнаты, увидела ватрушки, съела сначала одну, а потом и две другие.

Диана Дмитриевна вернулась на кухню, когда Ира доедала последний кусочек:

— Доча, что же ты мне и отцу ничего не оставила?

— Ой, прости, мамочка, я не удержалась. Ватрушки такие вкусные. Они домашние? Откуда они взялись?

— Надежда Борисовна купила и угостила нас.

— Я сейчас пойду в магазин и тоже куплю их.

В магазине они закончились.

На обратном пути Ира зашла к Надежде Борисовне, рассказала, что сама съела все три ватрушки и спросила, не может ли она дать ей еще для мамы и отца. Надежда Борисовна завернула Ирине несколько ватрушек, и в ее памяти всплыл давний эпизод с шоколадными конфетами, но напоминать о нем Ирине она не стала.

Московская обл.



Валерий ЛАМЗОВ

Продолжение. Начало в № 2 за 2015 год

ВИЗИТ КОРРЕКТОРА

ГЛАВА 7. ПОСЛАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Вертолет приземлился на крыше в ЦРУ в районе офиса генерального инспектора. Причиной такого решения было желание максимально избежать огласки.

В салоне вертолета стояла камера. Два сопровождающих агента, вняв совету Роберта Кетлера, надели черный мешок на голову Рудди-пришельца, чем значительно облегчили свое и без того ужасное положение. Если Кетлер и Патрик уже привыкли к дикому виду человека, несущего в себе биопланетный модуль, то агенты находились в предобморочном состоянии от страха. Глаза Рудди практически вылезли из орбит и вращались, словно локаторы, освещая все фосфоресцирующим светом. Его резкие, роботоподобные движения пугали своей силой. Казалось, одно неловкое движение рукой или ногой — и вертолет развалится.

Пока вертолет летел, такое жутковатое зрелище наблюдали на мониторах собравшиеся в комнате для совещаний. Здесь присутствовали сам директор

ЦРУ Джек Сильвер, генеральный инспектор и руководитель научно-технического департамента. Пригласили и начальника департамента внутренних расследований Гарольда Стоуна. Предстоящая встреча носила характер абсолютной секретности. Все сотрудники ЦРУ, услышав сигнал «красной» тревоги, прекратили всякое движение по зданию.

Было принято решение сначала во всем разобраться в ЦРУ, а потом докладывать результаты президенту, которого о самом факте уже поставили в известность.

Чем ближе подходило время встречи, тем сильнее становилось ощущение тревоги. Но никто не хотел показать слабость. Присутствующие нервно передвигались по помещению и вопросительно заглядывали в глаза друг другу.

Джек Сильвер уже откровенно пожалел, что дал согласие на проведение дознания в ЦРУ. Хотелось переложить проблему на другие плечи, например ФБР. А вдруг он террорист? Оглядев присутствующих, он понял, что подобного

желают все. Открыв было рот, чтобы дать указания, Джек был остановлен вошедшими в помещение первыми двумя сопровождающими. За ними следовал роботизированный Рудди, осматривая всех светящимися глазами. За Рудди шли Роберт Кетлер и Патрик. У Патрика был вид охотника, завалившего льва. Кетлер всем своим видом показывал полное безразличие.

Генеральный инспектор — седовласый, холеный мужчина с красным то ли от волнения, то ли от аллергии лицом, — слегка поклонился «пришельцу» и жестом попросил проследовать к столу.

Патрик взял Эгона за руку и направился с ним к стульям. Когда расселись, обратили внимание, что директора и Роберта Кетлера за столом нет.

Чуть в сторонке Кетлер рассказывал суть дела. Выслушав Роберта, директор торжественно сел на председательское место.

— Господа! — начал он слегка взволнованно. — Все, что здесь происходит, не должно выйти

наружу. Надеюсь, персонально разъяснять никому не надо? Чуть позже господин Стоун возьмет у всех подписку о неразглашении.

— К нам с визитом прибыл инопланетянин. — Он закашлялся от значимости сказанных слов и слегка смущенно добавил: — Биопланетный электронный модуль, который внедрен, или как нам объяснили (он посмотрел на Рудди), сидит в одном из наших граждан. Он, как я понимаю, — продолжил мистер Сильвер, — посланец дальнего космоса, решил совершить визит именно к нам, в Соединенные Штаты Америки. Видимо, там, — он указал пальцем на потолок, — знают, что главные живущие на Земле — это мы, и здесь правит Америка.

Сильвер замолк, величаво оглядывая всех. Наконец его взгляд остановился на обезображенном лице Рудди, который дико вращал глазами. Стушевавшись, он с надеждой махнул рукой Кетлеру.

Кетлер подошел вместе с Патриком к сидевшему в кресле Рудди. Реально опасаясь за здоровье носителя, Патрик судорожно искал, в кого бы можно было переселить модуль. Но вот Рудди слабо спросил:

— Начинаем?

— Что с вами, Эгон? — забеспокоился Патрик.

— Стекланный шар остался в другом месте!

И Патрик вспомнил, что видел, как жена Рудди клала в карман халата красивый стекланный шар. Он поделился мыслями с Кетлером.

— Скажите, Эгон, можно как-то вам помочь?

— Да! — тихо ответил модуль. — Мне подошел бы любой включенный в розетку прибор, его бы хватило на небольшое время. Впрочем, не знаю. Это мое предположение.

На стене висела огромная телевизионная панель. Патрик подвел Рудди к экрану.

— Вперед!

И от Рудди прямо в экран еле заметным электрическим импульсом проскользнул слабый разряд тока. В это мгновение экран телевизора вспыхнул невыносимо ярким бело-голубым свечением. Из центральной точки медленно стало приближаться лицо человека. Выглядел он несколько необычно: одежда — голубого цвета, форма черепа напоминала человеческую, но была более массивной. Притягивал взгляд выдающийся лоб. Глаза обычные, рот маленький, слишком миниатюрный нос. На экране виднелись руки — длинные и с недоразвитой мускулатурой.

— Я вас приветствую, ваши превосходительства, от имени народов планеты Флорентида, вашего космического близнеца.

Все тут же захлопали.

Человек на экране продолжал:

— Меня зовут Эгон. Я специалист по межпланетным коммуникациям. За последние сто лет нам впервые удалось установить контакт с Землей, предполагающий обратную связь. Из-за недостатка энергии я включаю запись биоэлектронного модуля, в котором содержится послание от нас, флорентийцев, к вам, землянам, сделанное нашим планетарным парламентом в лице председателя его превосходительства господина Атаба Индлона.

Через несколько мгновений на экране появился президент Соединенных Штатов Америки — живет всех живых.

— Это провокация. Так не шутят! Это русские? — Все повскакивали из-за стола и окружили директора, как цыплята квочку.

Патрику стало дурно — он на мгновение представил, что с ним будет. Ведь это он втянул всех в дело... «А что по-

думают в центре? Это же категорически не вписывается в мою программу!»

Но неожиданно голос Эгона за кадром сказал:

— Не волнуйтесь, пожалуйста. Мы не причиним вам вреда. Обращаясь впервые к другим мирам, мы делаем это в образе лидеров их анклавов. К анклаву Соединенных Штатов Америки на планете Земля обращается его главный гражданин — президент, чтобы было естественно. В нашем мире это рассматривается как знак наивысшей признательности.

— Друзья мои! — начал президент. — Вас, безусловно, интересует вопрос, почему гость из космоса посетил именно Соединенные Штаты Америки. И это ключевой вопрос, которым открывается тайна моего визита. — В зале стояла мертвая тишина. — Дело в том, — продолжал президент-пришелец, — что уже очень давно мы, флорентийцы, сканируем биосферу вашей планеты. Вы не знаете о том, что пятьдесят тысяч лет тому назад мы с вами находились на одном уровне планетарного развития. Однако в силу того, что мы располагаемся на одной планетарной оси, центром которой является Солнце, и одинаково от него удалены, имеем одну и ту же массу, диаметр и скорость вращения вокруг собственной оси, мы удивительно зависим друг от друга.

Пятьдесят тысяч лет назад на вашей планете возник кризис, который перерос в грандиозное вооруженное столкновение с применением ядерного оружия. Эпицентром конфликта были сегодняшняя ваша Европа и Южная Америка. Цивилизация погибла. Из-за мощного физического воздействия на поверхность Земли энергетическими боевыми зарядами сместилась ось и уменьшилась скорость вращения. Мы делали

замеры, после катастрофы ваши сутки стали на три часа длиннее. Изменился температурный режим, климат. В пятнадцать раз увеличилась вулканическая активность из-за процессов внутри земной коры.

Как вы понимаете, ваши катастрофы здесь принесли нам на Флорентиду страшные последствия из-за синхронизации и взаимозависимости. Именно поэтому уже пятьдесят тысяч лет планетарный совет Флорентиды ежегодно выделяет двадцать пять процентов из бюджета только для того, чтобы сканировать биополе планеты-близнеца.

Скажу больше, состояние биополя планеты Земля у нас ежедневно освещается в прогнозе погоды.

Директор научно-технического департамента не выдержал:

— Я никак в толк не возьму, что такое биополе?

Президент на экране умолк, как бы прислушиваясь к чему-то, потом с опозданием одобрительно закивал головой.

— Правильный вопрос! Извините за задержку связи. Приходится через ваш спутник Луну и нашу Мулу транслировать. Солнце убивает все сигналы.

На экране появилась заставка.

Директор ЦРУ, воспользовавшись паузой, обратился к своему заместителю:

— Послушай, Филл, может, это сам бабай (кличка президента в среде силовиков) нас разыгрывает?

— Нет, Джо! Не думаю. Уж очень все серьезно. Я дал указание проверить мощность электромагнитного импульса здесь.

— И что? — с тревогой спросил директор.

Заместитель посмотрел на шефа так, как смотрят на ребенка, собирающегося накатать в штаны.

— Когда этот парень-пришелец зашел сюда, все радиосигна-

лы сдохли. — Он достал приборчик. — Смотри, лишь одна супернизкая частота. У нас таких источников не производили. Мощности нет такой. Видишь, только одна частота без параметров. На Земле мы таких не принимаем.

— Черт! Знать бы, чем все это закончится! — выругался мистер Купер. — А может, это все-таки русские какую-то диверсию устроили?

— Надо было ФБР прижать, они бы тебе ответили точно, Джек.

Директор так и не понял, шутит он или нет, и вновь уставился на экран.

Тем временем президент разъяснял, что такое биомагнитное поле нашей Земли и с чем его едят.

— Биополе на планете образуется в результате гибели живых существ. Это своего рода их внутренняя, высвобожденная энергетика. У вас говорят — душа или карма. Это несущественно. Главное — что остается после физической смерти. Естественно, это в первую очередь касается людей как самой массовой популяции доминантного вида.

Это поле покрывает всю сушу. Ее максимальная плотность, или, лучше сказать, проводимость, — в мегаполисах, столицах, где скопление людей более плотное. Существует шкала возбуждения поля. Оно находится в прямой зависимости от уровня агрессии населения, нации. Именно беспрецедентно опасный уровень возбуждения биомагнитного поля с периодическими вспышками агрессии вот уже более двадцати пяти лет мы наблюдаем над анклавом под названием Соединенные Штаты Америки. Вы несете большую угрозу своей планете, при этом не осознавая, что эта угроза касается в первую очередь вас.

Американский континент и ваши правители в последние годы возо-

мнили себя властителями планеты. Мы хотим предупредить: вы идете по дороге самоуничтожения. Если вы не одумаетесь, придет беда. Мы видим, зреет большая сила, способная стереть вас с лица Земли. Даже если они не применят силу, а просто отвернутся от вас, последствия все равно будут страшными.

Вы должны понимать, вы — самая большая ошибка эволюции на этой планете. Не может быть нации без человеческого корня. Без генетической памяти народа. И ее надо исправлять.

Жителям Флорентиды не нужны проблемы из-за вашей жадности и агрессивности. Начните любить мир на своей Земле и ее народы, не пытайтесь из них сделать своих вассалов. Если вы не сделаете правильных выводов, мы избавим эту часть Земли от вашего присутствия. Мы не позволим истории повториться.

Спасибо за внимание. Но, как говорят у вас в Америке, «шоу продолжается!».

Наступила мертвая тишина.

Экран гигантского монитора снова ярко засветился и неожиданно тихо разлетелся на мелкие кусочки. Началась паника.

— Никто не выходит, перекрыть выходы! — закричал Гарольд Стоун. — Все к столу!

Он раздал бланки с эмблемой ЦРУ в верхней части листа, чтобы взять подписку о неразглашении.

Кто-то нервно писал, кто-то метался по помещению. Директор сидел молча, обхватив голову руками. Спокоен был только Кетлер. Он сделал успокаивающий жест Патрику.

Старый волк был доволен. Он нажал свою любимую кнопку, и вся связь в помещении накрылась. Он же благополучно записал на камеру выступление «президента». Модуль, находящийся не в теле, позволил это сделать.

— Роберт! — услышал он голос директора. — Ты все-таки мой консультант. Что скажешь?

— Это бомба, босс! — ответил Кетлер.

— И что мне с этой бомбой делать? У нас, оказывается, ничего нет. Ни пришьельца, ни его выступления.

— А разве вы не поручили...

— Поручил. Но все провалено. Кто мог ожидать, что этот модуль вырубит всю электронику? Что я доложу президенту?

— Я постараюсь вам помочь, вы же знаете, у меня все зафиксировано. Я к ланчу сделаю абсолютно достоверную стенограмму. А вы доложите устно.

— Спасибо, Кетлер! — Джек взял Роберта за шею и пригнул его к своему лбу. — Как мне не хватает таких волков, как ты, дружище.

— Мое время вышло! — ответил Кетлер и почувствовал, что Сильвер совсем слаб и пытается за него держаться.

ГЛАВА 8. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ СОМНЕВАЕТСЯ

Вечером Виктор Михайлович приехал на дачу к Андропову. Татьяна Филипповна — жена Юрия Владимировича — встретила, как всегда, приветливо, предложила поужинать вместе, но мужчины отказались и уединились в летней беседке.

— Ну тогда я вас чаем напою, — предложила она.

Зная Андропова много лет не только как патрона, но и как друга, Чебриков предположил, что разговор предстоит серьезный. Тем таких было немало, и он гадать не стал. Знал, что Ю. В. после наезда и трех минут разговора «не о чем» спросит в лоб. Так и произошло.

— Что ты думаешь о Горбачеве?

Виктор Михайлович был готов к такому вопросу генсека, но

все равно оказался растерянным потому, что в ЦК и в КГБ в верхних эшелонах знали: Горбачев в фаворе у Андропова уже много лет.

Виктор Михайлович настороженно посмотрел на Андропова, а про себя подумал: «Видимо, генсек раскусил этого ставропольского балабола».

— Говори как есть. Личное мнение и если что есть по оперативной линии — тоже. Это твоя вахта. Не стесняйся. Мне можно, — нажал Юрий Владимирович.

Услышав фразу «мне можно», Чебриков понял: у Андропова есть серьезная информация, и он хочет ее проверить. Он вздохнул, посмотрел на осунувшееся и сильно похудевшее лицо генсека и произнес следующее:

— Юра! Ты не на того ставишь.

— Хорошо! Допустим, ты прав! Но какие основания? Что он делает не так? Что вызывает сомнения?

— Все намного серьезнее, — продолжил Чебриков. — У нас есть основания полагать, что Горбачев не тот человек, за кого себя выдает. Он ориентирован откровенно на Запад, он не может быть врагом, но преклоняется перед всем американским, английским, канадским, французским. Его супруга поощряет эти его пристрастия, но постоянно одергивает: «Михаил Сергеевич, лишнего не говори... Еще не твое время...» Особенно он изменился после того, как завел дружбу с нашим послом-«русофобом» Николаем Яковлевичем Александровым. Это та еще штучка!

— А что же ты раньше, дорогой мой человек, не говорил об этом? — спросил Андропов.

— Серьезных оснований не было, во-первых. А во-вторых, вопрос так конкретно не ставился. Член политбюро все-таки!

— Шляпа ты, Виктор Михайлович, вот что я тебе скажу. Ты ведь мог об этом меня проинформировать

не как председатель КГБ, а хотя бы как товарищ!

Оба помолчали, думая об одном и том же. Чебриков понимал: Ю. В. лукавит, недоговаривает, сам ищет подтверждение своим сомнениям.

Молчание нарушил Андропов.

— Как раз по поводу этого Александрова и его дружбы с Горбачевым я тебя и пригласил сегодня к себе. Дело щепетильное и очень тонкое. У меня нет никаких сомнений в том, что Александров мог в свое время быть завербован американцами. Я помню, у нас была такая информация. Но вот, став генеральным секретарем, я узнал то, что от меня и других членов ЦК тщательно пытались утаить. — Андропов сделал паузу, как бы давая почувствовать важность последующих слов.

Подошла Татьяна Филипповна и принесла чай в больших чашках.

— Юра, твой почечный на травах. Режим надо соблюдать, а твой, Витя, с жасмином. И вот тебе пастилка. — Поставив все это на стол, она удалилась.

Сделав глоток, Андропов сморщился: горячий!

— Так вот, — продолжал Юрий Владимирович, — и у Хрущева, и у Брежнева были люди, которые помогли им конспиративно решать вопросы за границей, минуя официальные государственные структуры. У Никиты этими делами втихую занимался Аджубей. А у Брежнева, как ты думаешь, кто?

Чебриков развел руками — не знаю.

— То-то и оно, — с обидой в голосе сказал Андропов. — И я не знал! — И тут же добавил: — Александров. Николай Яковлевич.

— Не может быть! — возмутился Виктор Михайлович. Он был поражен.

— Факты — упрямая вещь, мой дорогой!

— И что, Леонид Ильич тоже пользовался его услугами?

— Хороший вопрос, Витя! Пользовался, и неоднократно. И весьма результативно. Ты помнишь «железного» Шурика?

— Шелепина, что ли?

— Да-да! Александра Николаевича Шелепина. Так вот, — продолжал Андропов, — доподлинно известно, что именно Александров, будучи послом в Канаде, по поручению Брежнева через своих английских друзей организовал выступление английских профсоюзов против въезда Шелепина в Англию, после чего того, как основного конкурента Леонида Ильича, благополучно спровадили с политического олимпа.

— Вот это дьявол! — не выдержал Чебриков. — Так что будем делать?

Но Юрий Владимирович сделал вид, что не слышит.

— Помнишь, Витя, твои ребята подготовили года три назад докладную записку по Александрову, с которой я пошел к «Лене»? Она была о том, что у комитета есть неопровержимые доказательства его сотрудничества со спецслужбами американцев?

Чебриков кивнул головой.

— Так вот, — продолжал Андропов, — сейчас становится совершенно понятно, почему он тогда, прочитав эту докладную, бросил мне буквально следующее: «Член ревизионной комиссии ЦК не может быть предателем». Понимаешь?

— Так что будем делать? — снова спросил Чебриков, расстроенный тем, что старый товарищ, и без того не блестящий здоровьем, совсем разволновался.

— Надо держать его поближе. На глазах. Я подумаю, где. Ты же сейчас активно займись его проработкой. Но только очень, очень осторожно... Нельзя спугнуть! Важно выявить его связи. Это очень может пригодиться.

— А что насчет Горбачева? — поинтересовался Чебриков: разговор-то был начат с него.

Андропов открыл уже рот, но не успел сказать. Подошел дежурный охранник.

— Юрий Владимирович, доктор приехал. На укол.

Андропов раздосадованно махнул рукой.

— Ты мне напомни, на следующей неделе эту тему надо завершить. Времени у нас не так много. — И, попрощавшись, зашел в дом.

— Как он? — спросил Чебриков у начальника охраны.

— Так вроде ничего! — как-то по-домашнему ответил офицер. — Похудел сильно, видно, нездоровится.

— Я сам вижу, что нездоровится, — глухо ответил Виктор Михайлович. И, повернувшись к своему телохранителю, сказал: — Пойдем пешком.

О чем думал Виктор Михайлович, никто никогда так и не узнает. Так и сейчас он не знал, что меньше чем через год Юрия Владимировича не станет, что он на целых семнадцать лет переживет своего Ю. В. и скажет незадолго до смерти: «Я знаю столько тайн, что лучше унести их в могилу».

Но сейчас чувство тревоги не покидало его. Он почему-то вспомнил недавний разговор с главным кремлевским врачом Чадовым, который был близок и с ним, и с Юрием Владимировичем. Тогда в сердцах он сказал: «Ничего не понимаю, как так получается? Все вроде делаем, чтобы люди жили — приобретаем лучшие препараты, привлекаем блестящих специалистов, а они все равно умирают, хотя, казалось бы, должны жить! Что же тогда говорить о простых смертных, у которых ничего этого нет?»

В тот момент он не придал этим словам значения и просто отшутился.

— Они, Евгений Андреевич, на свежем воздухе и физически работают куда больше нашего. А у нас, у членов, всегда одна поза — потому в заднице геморрой, а в голове склероз.

— Что, уже беспокоит? — шутиливо спросил Чадов. Он тоже ценил юмор. — Если что, приходите, Виктор Михайлович, поможем. — Нет, что вы! Боже упаси! Я только после вас.

На том и расстались.

Но сейчас этот разговор Чебрикову виделся совершенно в ином ракурсе. Андропов не зря спросил, как он относится к Горбачеву. Значит, его это сильно беспокоит. По сути дела, Андропов сделал его секретарем ЦК и ввел в состав политбюро. И Виктор Михайлович знал, почему. Семья Горбачевых генсеку была очень близка. Каждый год один-два раза он ездил на воды в Ставрополе, там и сблизился с молодым первым секретарем крайкома, стал его потихоньку воспитывать, делиться идеями, мыслями. Надо отдать должное, Михаил все впитывал как губка. Кроме того, была Раиса. Она слыла большой кокеткой, но была прозорлива и умна. По минному полю политики вела его своей интуицией сапера. Андропов видел в Горбачеве будущее страны, хотел, чтобы такие люди не были зашорены идеологическими штампами. Видимо, именно поэтому еще в 1973 году он отправил его с женой на несколько недель во Францию по их просьбе — очень уж хотелось посмотреть Париж без посторонних глаз. И вдруг дружба с Александровым! Что это? Потеря бдительности? Или что-то другое?

Он остановился, дождался, пока не подошла машина, и распорядился быстрее ехать на работу. Удивившись, водитель резво развернулся, и авто помчалось на Лубянку.

По дороге Чебриков позвонил помощнику и попросил подготовить материалы по умершим членам политбюро за последние пять лет. Ему вдруг вспомнилось еще одно интересное обстоятельство разговора с Чадовым. Тогда Чадов рассказал, что Андропов хочет перевести Горбачева в Москву, но находится в затруднении относительно того, как бы ему это вернуть. Попросил тогда Виктора Михайловича посодействовать. На что получил ответ, что если Ю. В. хочет помочь, он поможет, можно даже не волноваться. Да, что ни говори, но Михаил Сергеевич умел заводить нужные знакомства и всегда этим пользовался. Сейчас же Чебриков корил себя за то, что проявил беззубость, утратил чувство бдительности только потому, что «объект» был симпатичен руководству.

В приемной ждали полковник Олег Семенович Федотов с несколькими серыми папками и его начальник генерал-майор Борис Петрович Пономарев.

Когда вошли в кабинет, Федотов подал первую папку:

— Кулаков Ф. Д., секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству, умер 17 июля 1978 года. Смерть вызвала большие подозрения. Люди, близко знавшие Федора Давидовича, утверждали, что он был здоров как бык. Юрий Владимирович ездил с ним на дачу.

— Причина смерти? — спросил Чебриков.

— Заключение там, в конверте, — ответил Пономарев, — острая сердечная недостаточность, приведшая к остановке сердца.

Виктор Михайлович отложил папку.

— А что у нас по линии оперативной информации?

Генерал и полковник молчали.

— Борис Петрович, я вас спрашиваю!

— Юрий Владимирович приказал все уничтожить.

— А что конкретно?

— По линии первого главка мы получили агентурную информацию от нашего человека в Лондоне о том, что секретарь ЦК КПСС готовит захват власти. Андропов доложил Брежневу — скрывать такую информацию нельзя.

— Доказательства были? — раздраженно спросил Чебриков.

— Да, были, — подтвердил Федотов, — косвенные: была распечатка разговора Кулакова с английским дипломатом, в котором Кулаков просил поддержки правительства ее величества в случае его прихода к власти.

Виктор Михайлович подумал: «Шелепин — информация из Лондона. Кулаков — тоже информация из Лондона. Интересно».

Чебриков вспомнил похороны Кулакова. На Красной площади не было ни Брежнева, ни Косыгина, ни Сулова, ни Черненко. На похоронах ограничились выступлением Горбачева, невероятно быстро назначенного секретарем ЦК, с трибуны Мавзолея.

— Любопытно! — обронил Виктор Михайлович.

— Еще вот что важно, — вдруг вспомнил Федотов, — я хорошо помню рапорты начальника охраны Кулакова. Они были здесь подшиты... Там указано, что начальнику охраны и личному врачу Кулакова приказали покинуть дачу.

Пономарев продолжил:

— После расследования сделали идеологическое прикрытие. Чтобы разного толка сплетен не было. Но они все-таки появились.

— Я это все прекрасно помню, — неожиданно резко оборвал его Чебриков. Затем помолчал.

Полистал папку. Поднял глаза на приглашенных: — Похоже, мы с вами по чьей-то дьявольской воле стали участниками преступления. Что еще у нас есть интересного по этому делу? Здесь же, насколько я помню, была информация из Ставропольского

КГБ относительно телефонного разговора Горбачева со своим вторым секретарем Казаковым, где говорилось, что Горбачев радостно в 8:30 утра сообщил ему о смерти Кулакова. Выходило, что он узнал новость практически одновременно с высшим руководством страны... А возможно, и раньше!

Теперь, после разговора с Ю. В., Чебрикову был совершенно ясно виден след Александра, который, с одной стороны, убрал мощного и перспективного Кулакова, которого недолюбливал Брежнев, а с другой — посадил на нужное место Горбачева. И проделали эту работу так, что все были счастливы, кроме покойника, разумеется.

— Я вас попрошу, товарищи, материалы нужно восстановить. Вас, Олег Семенович, прошу особенно. Вы человек дотошный, скрупулезный, наверняка какие-то следы еще найдете. Это очень значимо для страны, ее будущего. Когда все сделаете, я хочу еще раз посмотреть.

Виктор Михайлович остался один. Рядом с делом Кулакова лежали дела Цвигуна, Сулова, Брежнева, Гречко. Но их он читать не стал. Чебриков уже почти физически ощущал стальную сеть, которая незаметно, словно воздушная паутина, окутала кремлевский олимп. Железная рука то и дело удивительно ловко хватала лучших, или неподходящих, или мешающих кому-то прорваться к вершине власти, и пожирала, освобождая дорогу другому. Было похоже, что за всем этим стоят спецслужбы. Но чьи? Или кто?

Немного успокоившись, он решил подвести черту под этими размышлениями. «Так, что мы имеем? — рассуждал он. — Ю. В. дал мне понять, что допустил ошибку. Он думал, что расчищает себе дорогу, а оказалось, что есть рычаги,

которые позволяли ему стать чистильщиком для открытия дороги наверх другим. И этим рычагом управляют извне! Кто — мы не знаем. Пока! Но этого не может быть. Тогда для чего существуем мы, Комитет государственной безопасности, ставший при Андропове мощной, высокопрофессиональной организацией, на счету которой целый ряд блестящих операций по обезвреживанию пособников и откровенных врагов государства?

Наши разведчики и контрразведчики считаются одними из самых лучших. Сколько разоблачено агентов и сколько еще знаем, но молчим... А здесь, можно сказать, под носом, на самой вершине государственной власти, орудует кто-то и, скорее всего, враг! Возможно ли такое? — задавал себе вопрос Виктор Михайлович и сам же отвечал: — Возможно. Но при условии, что ему помогает кто-то, кто является небожителем. Или этот кто-то, находясь на вершине власти, стремится еще выше. Но в любом случае здесь руководящее звено, которое вроде бы и ни при чем. Но есть же... Нет! Должны быть исполнители! Да, именно! Мы никогда не задумывались над тем, что в структуре власти может существовать организация, которой вроде нет. Но она есть и "живее всех живых". И она работает над чем-то. Или на кого-то. Эти привычки остались еще от старых коминтерновцев, которые не доверяли чекистам.

А возможно, это какая-то секретная партийная структура, которая убирает всех неудобных и о существовании которой никто не знает, кроме генсека. Если так, то Андропов наверняка ему бы об этом сказал. А может, и нет? Все-таки генеральный секретарь партии — это ой как серьезно. Но тогда бы он не задавал мне таких вопросов. И более того,

зачем давать мне информацию по Александрову, которая в другое время хранилась бы под семью печатами?

И опять же Горбачев! Почему? Он мне что-то хотел сказать еще! Черт!.. Как эта врачиха не вовремя. А ничего цыпочка. Надо бы к ней приглядеться. Много знает красавица!»

Андропов умел подбирать людей в свой ближний круг, и они его боготворили. Виктор Михайлович был одним из них и, пожалуй, самым преданным. Он первым увидел, что, став генсеком, Ю. В., как говорят, сдулся, осунулся, похудел, стал чаще болеть. Произошло то, что бывает с людьми, когда они в конце концов добиваются заветной цели. И тогда, на пике жизни, ни человек, ни организм не видит смысла в существовании. Сознание говорит, надо делать одно, второе, третье. А душа трудиться не хочет. Все! Дело сделано, стимула больше нет. Это для Андропова было полной неожиданностью и последней трагедией, которую еще предстояло осознать, но которую уже было не пережить. Он хотел смотреться активным, держаться бодро, но нетрудно было увидеть этот угасающий взгляд, эту маску, которую надевает каждый, собираясь в мир иной. Да и Чебриков видел это. Но не предполагал, что все произойдет так быстро. Знай это, он наверняка был бы намного расторопней. Но человек предполагает, а бог располагает.

И все-таки Виктор Михайлович сделал тогда для себя определенные выводы. Его терзало предчувствие того, что он на пороге какого-то важного открытия, но никак не может подобраться к нему. Как ускользающая из памяти фамилия, которую надо вспомнить. И вспомнил: читая все последние заключения о смерти членов политбюро, он выявил

закономерность: причина смерти у всех одинаковая. Остановка сердца вследствие острой сердечной недостаточности. Именно! Он вспомнил, что после смерти Сулова его дочь обращалась в Комитет с просьбой разобраться. Ее мучили сомнения, так как накануне вечером в больнице, ужиная с отцом, который, кстати, неплохо себя чувствовал, она заметила, что после прихода медсестры и приема каких-то таблеток отцу стало хуже. А утром он скончался. Медсестру проверили. Она взяла таблетки, которые прописал врач. Ничего особенного. Дело спустили на тормозах. Но главное было в другом: смерть Кулакова была нужна Горбачеву как воздух. Как возделенная мечта. И Александров эту мечту исполнил. А дружба, скрепленная убийством, дорогого стоит! «Но это не может быть правдой, — заключил Виктор Михайлович. — Иначе где мы тогда живем? И кто здесь правит бал?»

ГЛАВА 9. ЭФФЕКТ ВЗОРВАВШЕЙСЯ БОМБЫ

Наши дни

Соединенные Штаты Америки — молодая, еще не сформировавшаяся как нация страна сама не заметила, как в бесконечных попытках доказать всему миру свое величие и превосходство скатилась до уровня стран третьего мира. Негритянская культура доминировала во всем: в музыке (джаз, рэп), особенностях литературы и речи, образе жизни. А после избрания президентом негра подражание негритянской субкультуре стало признаком лояльности к власти. Ку-клукс-клан уже не помнят, а расовый дискриминации вроде никогда и не было. Что поделаешь, мода меняется куда чаще, чем хочется.

Американцы на генетическом уровне чувствуют свою отсталость и оторванность от ценностей европейской цивилизации, отсюда и агрессивность в поведении, и стремление прикрыть отсутствие общей культуры и образованности лозунгами защиты прав человека и величия американской демократии. Ущербность вынуждает тащить со всего мира произведения искусства и прятать их в частных коллекциях. Что впрыскивает новую кровь в эту страну и делает ее великой? Нескончаемый поток эмигрантов, особенно молодых, не сумевших найти приложение своего таланта на родине. Они-то и везут его в Америку, делают карьеру. Не все, конечно. Но кто делает — становится героем. Американской мечтой. И нет ничего удивительного в том, что самыми горячими патриотами в США являются не коренные американцы во втором или третьем поколении (они уже устали от зомбирования), а удачливые эмигранты.

К числу таких относился и Рудди — муж Габриэлы Винстон. Они только два года жили вместе. Сейчас он подъехал к дому на такси, ввалился в прихожую совершенно опустошенным, испытывая нестерпимое чувство голода. В голове была пустота, Рудди не помнил, что с ним произошло, что могло вызвать такое утомленное состояние. Страшно болели глаза и голова. Что сильнее, он так и не смог определить. Сощурившись, он увидел сидящую на диване Габриэлу в коротком халатике, аппетитно обтягивающем шоколадного цвета ляжки. Боль в голове внезапно исчезла, и возникло другое желание, не терпящее отлагательств. Но Габриэла будто не замечала его присутствия. Она влюбленно смотрела на экран телевизора, где вещал президент. Рудди даже показалось, что они общаются.

— Габби! — закричал он.

Но Габриэла махнула на него рукой, продолжая пялиться на экран, где президент говорил, говорил, говорил...

Рудди прислушался. До него донеслись слова хозяина Белого дома:

— Вы божественно прекрасны, Габби! Ваши очаровательные формы богини красоты Флорентиды вводят в смятение меня и команду моих товарищей. Мы потрясены вашей изысканностью манер, вашей улыбкой, вы — сама женственность...

— Ни фиги себе! — возмутился Рудди и напрямик шагнул к телевизору, чтобы прекратить это безобразие. Но ничего не получилось — телевизор не выключался.

Неожиданно президент прервал свою речь и обратился к Рудди:

— Вы меня извините, мистер Винстон, я высказал несколько трепетных комплиментов вашей супруге, чтобы доставить ей удовольствие, пока вас не было.

— Похоже, вам это удалось.

— О, мой друг! Вы меня совсем не помните?

— Как же! — с обидой в голосе ответил Рудди. — Я ваш почитатель, вернее, был им до сегодняшнего дня, пока вы не стали приставать к моей жене.

— Я биомагнитный космический модуль. Я — Эгон — общаюсь с вами через модуль, которому очень комфортно в телевизоре. А вначале я был в вашей жене.

— Ничего не было! — в испуге закричала Габриэла. — Врет он. Никакой он не модуль. Он — президент.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в этот момент в дом не ворвались люди с пистолетами, среди которых был и Патрик. Он догадался, что, получив электрический заряд в Лэнгли, модуль вернется к стеклянному шару, который лежал в халатике Габриэлы.

Президент в телевизоре сказал: — Я все понимаю, господа. Делайте что считаете нужным. Цель моей миссии — донести до человечества и вашего президента конкретную мысль об угрозе, которую вы несете планете и себе в первую очередь.

— Заткнись, — закричал один из офицеров, — сволочь! — И пнул ногой по экрану.

Остальные посмотрели на него как на смертника. Не выдержав укоризненного взгляда коллег, офицер рукавом пиджака протер экран телевизора.

— Где шар? — заорал зычным голосом старший.

Патрик подошел к нему и вежливо сообщил:

— Должен быть в халате у хозяйки.

— Шар! — заорал старший, обращаясь к Габриэле, которая ничего не понимала и с ужасом наблюдала, как телевизор с мило говорящим президентом опускали в резиновый ящик.

Старший, подойдя к Габриэле, дернул за карман. И тогда тонкий махровый поясок на талии развязался. Халат упал на пол, и перед взорами изумленной публики предстала женщина в чем мама родила. Увлечшись этим очаровательным зрелищем, никто не заметил, как шар покотился по полу, затем запрыгал по ступенькам крыльца. Встретив на своем пути столб с электрическими проводами, молнией выстрелил по изолятору и исчез. В это же мгновение президент исчез с экрана телевизора. Но на это никто не обратил внимания, так как все пялились на Габриэлу, пока Рудди не растолкал всех, подбежав к жене, и не надел на нее халат. Габриэла заплакала.

— Убирайтесь отсюда вон. Отморозки. Вон! — кричал он им в спину. — Дебилы!

Больше Рудди не был патриотом Америки.

Патрик не понимал, что делать. Сотрудники АНБ и ФБР запаковали телевизор и погрузили его на заднее сиденье автомобиля. Но Патрик знал, что там уже ничего не будет. И он решил поинтересоваться у сотрудников спецслужб, что они запомнили из речи президента. Но оказалось, что никто из них ничего не видел и не слышал. А вот прелести Габриэлы не давали им покоя.

Это означало, что Патрик находится в полном дерьме. Дело в том, что в Лэнгли никто не мог подтвердить, что общался с модулем и слышал его обращение в образе президента США о том, что Америка сама несет себе смерть.

Но самая большая беда для Патрика заключалась в том, что его доклад президенту и обращение модуля к нему в его обличье по сути своей были похожи по содержанию. И по взгляду «маски сфинкса» понял, что во всем этом при желании можно увидеть систему.

Из дома вышел Рудди.

— Как она? — спросил Патрик.

— Спит как ребенок.

— Ну и досталось ей сегодня, бедная, — произнес Патрик с сочувствием.

— О чем это ты? — удивился Рудди.

Похоже, модуль не воздействовал только на Патрика и на Кетлера.

Они бы еще долго обменивались вопросами, но тут подъехала Кэтрин.

— Патрик, — позвала она, — быстро садись.

Он прыгнул в машину, не спрашивая зачем.

— Дед тебя ждет в «Пурпурном сердце», хочет с тобой к кому-то заехать.

— Я не могу!

— Почему? — удивилась она.

— Дженифер ждет моих объяснений, а у меня ничего нет.

— Именно поэтому Роберт хочет с тобой поговорить. У него что-то есть.

«Хорошо бы!» — подумал Патрик.

— Деда говорит, что президент эту информацию держит под своим контролем.

— Да! Дженифер, естественно, ему все доложила. Я вначале пожалел, что она с нами не полетела в Лэнгли, но теперь понимаю. От нее не было бы никакого толка. Еще неизвестно, как все можно повернуть. Директор ЦРУ от всего отрещивается, хотя сам просил Роберта написать отчет, изложить свою версию. Он ничего не помнит, представляешь?

— Представляю! — отвечала Кэтрин.

Через несколько минут они сидели в небольшом ресторанчике «Пурпурное сердце» в предместье Вашингтона.

Роберта Кетлера не было. Они прошли в дальний угол зала, где официант предложил им столик с окном на парковку. Не успев сделать заказ, они заметили, что из глубины зала к ним приближается фигура, которую было трудно разглядеть из-за отсутствия освещения.

Патрик мгновенно сжался, но страх улетучился, когда в незнакомце он признал Кетлера.

— Деда! Ты брось эти свои штучки. Мы и так натерпелись сегодня!

— Я потому и попросил вас приехать, чтобы эти безобразия прекратить. За мной следят, а вас впутывают в какие-то авантюры с инопланетянами. Происходит что-то непонятное и опасное. Я думаю, что все это взаимосвязано. Короче, мне нужна встреча с президентом. Патрику через своего босса это сделать нетрудно.

— Но что я скажу? Зачем? Это же не шутки!

— Вот именно! — подтвердил Кетлер. — Совсем не шутки. Речь идет о национальной безопасно-

сти. Тебе, Патрик, надо постараться, чтобы президенту напомнили мое имя. И еще. У меня есть запись выступления модуля из космоса, где он в образе президента США.

Патрик тут же позвонил Дженифер на мобильный. Ответили быстро.

— Кетлер требует встречи с президентом. У него запись модуля. Вопрос национальной безопасности, — сказал он быстро в трубку.

— Патрик, ты молодец! — шепотом сказала Кэтрин, хлопая в ладоши.

Кетлер жестом руки остановил ее порыв.

— Я ему доложу, — после небольшой паузы ответил голос в трубке. — Жди на линии.

Через минуту Дженифер нервно позвала:

— Приезжайте как можно быстрее к западному крылу, в офис. Я закажу Кетлеру пропуск. Сам очень занят, но согласился. Десять минут у вас, не больше!

Добрались быстро. Собрались в кабинете Дженифер. Ждать пришлось минут пятнадцать. Наконец появился хозяин Белого дома.

В комнату вошел быстро, держа одну руку в кармане брюк, другой поприветствовал собравшихся. Быстро сев на место Дженифер, внимательно посмотрел на Кетлера.

— Мы где-то встречались? Я знаю вас.

— Да, сэр, — спокойно ответил ветеран. — Мне пришлось вытаскивать вас в Кабуле из передраги, где вы с помощниками в бытность сенатором не туда заехали. Слава богу, все обошлось.

— Да-да! Вспомнил! — смутился президент. Видно было, что эти воспоминания ему не очень приятны. — Водитель был неопытный, завез нас в неблагополучный район города, а охрана задержалась. Я рад вас снова видеть, Роберт, если не ошибаюсь?

«Играет плохо, — подумал Кетлер, — ему про меня уже все доложили».

— Да, господин президент, я Роберт Кетлер. Я тоже рад нашей встрече.

Президент уже перехватил инициативу:

— Так что у нас произошло?

Начала Дженифер.

— Как я уже докладывала, произошел неординарный случай. Речь идет о биомагнитном космическом модуле, который, как информировал нас наш сотрудник Миллер, управляется извне. Из космоса. Точнее, с обратной стороны Солнца...

Дженифер умолкла и обвела присутствующих взглядом — не подумали ли они о том, что помощница потеряла рассудок. Однако все слушали внимательно. Лица были серьезны.

— Модуль внедряется в организм человека и вступает в диалог. Причем сам человек меняется до неузнаваемости. Но оказалось, что модуль может внедряться в телевизор, и тогда качество его речи значительно улучшается. Модулю, как выяснилось, постоянно требуется электричество. При попытке его забрать он исчез в электропроводах, выкачав из них весь ток.

— И где же он сейчас? — с усмешкой спросил президент.

— Я не знаю! — ответила Дженифер, беспомощно опустив руки.

— Как я понимаю, у нас все-таки есть возможность взглянуть на этого пришельца? — вопросительно посмотрел на Кетлера и Патрика президент.

Патрик взял у Роберта флешку и вставил в ноутбук, который был подключен к большому экрану на стене.

Прошла секунда, другая... и истошный вопль Дженифер заставил президента вскочить с места. На экране был он — президент Соединенных Штатов Америки.

Он обращался с экрана телевизора к нации, и речь его была эмоциональной.

Рассказав о вреде, который Америка наносит человечеству, президент развил идею пагубности однополярного мира, при которой происходит объединение сил, жаждущих уничтожения государства-монстра. И противостоять им невозможно. Это война, которая погубит и Америку, и цивилизацию. Затем президент рассказал, какие последствия в связи с этим обрушатся на Флорентиду.

— Это все? — спросил президент, когда экран погас.

— Все! — ответил Роберт Кетлер.

— Это самая настоящая провокация. Это русские! Это путинские штучки. Он ненавидит меня. Вас в очередной раз развели, как идиотов.

Затем он прищурил свои карие глаза и посмотрел недобро на Патрика.

— Ваша аналитическая справка, молодой человек, странным образом связана с этой телевизионной подделкой. К чему бы это?

Патрик весь сжался, покраснел и встал.

Выручила пришедшая в себя Дженифер.

— Видимо, это был тот случай, когда гипотеза в выводах совпала с реальной проблемой.

— Чепуха! — возразил ей президент. — Это диверсия конкретно против меня. И дело рук русских. Они меня ненавидят.

Неожиданно экран телевизора очень резко и неестественно ярко засветился. Все присутствующие в испуге отпрянули от него. На экране возник Эгон.

— Здравствуйте, ваше высочайшее превосходительство! Позвольте приветствовать вас от имени верховного правителя объединенных народов планеты Флорентиды. Прошу с пониманием отнестись к нашей просьбе. Ради вашего же блага.

И исчез.

Президент сел на свое место и обхватил голову обеими руками.

Все тревожно смотрели на него.

— Он, конечно, прав! — сказал президент больше для себя, чем для присутствующих. — Мы живем давно не по средствам и как вечные должники знаем, что никогда не вернем долг. От этого грубим, хамим всему миру. Но я, к великому сожалению, не могу ничего изменить.

К нему подошла Дженифер.

— Почему, Бобби? — спросила она совсем неофициально. — Кто же тогда должен изменить ситуацию?

— Финансовыми делами президент США давно уже не управляет. Моя компетенция распространяется только на систему процедурных обязательств.

Кетлер достал из внутреннего кармана пиджака список из двадцати фамилий.

— Извините, сэр. Вам знакомы эти люди?

Президент просмотрел список.

— Я знаю большую половину из них. Почти все они состоят в оппозиции к проводимой политике федеральной резервной системы. Выступают против монетарной политики банков и администрации Белого дома.

— Эти люди в опасности, господин президент. Двое из них уже мертвы.

Президент поднял на Роберта удивленный взгляд. В его глазах было сомнение.

— Вы сможете им помочь? — снова задал вопрос Кетлер.

— Я постараюсь сделать все, что в моих силах, — ответил президент. И тут же спросил: — Эту штуку с «моим» выступлением вы, конечно, оставите здесь?

Кетлер ждал такого вопроса.

— Безусловно, сэр! — с какой-то радостью ответил Роберт.

— И у вас нет копии? — настаивал президент.

— Есть! — ответил Кетлер. — Я не очень уверен, что наш с вами разговор никто не слушает. Пусть это будет моя маленькая гарантия и наша с вами маленькая тайна. Когда все закончится, я вам ее верну.

Президенту это явно не понравилось.

— Но я могу рассчитывать, что утечки записи не произойдет?

Кетлер пообещал.

1983 год. Оттава. Канада Посольство Советского Союза. 0:45

— Ну, Николай, ты даешь! Такие отношения с премьер-министром — это здорово. Спасибо тебе! Поставки зерна, да еще по таким ценам — большая удача и большая политика. Для меня на новой должности это серьезная победа, ты понимаешь?

В дверь постучали. Вошла Раиса Максимовна.

— Михаил Сергеевич, вы спать идете?

— Нет пока. Дай мне с человеком поговорить. Такое дело сделали, а ты — спать! Нехорошо, Раиса Максимовна.

— Ну, я пошла. Много не пейте, завтра домой. — И закрыла дверь.

Горбачев явно был навеселе.

— Главное, Николай, ввязаться в драку, как учил великий Ленин, а там как получится.

— Это говорил Наполеон, — поправил его Александров.

— Да? Ерунда, кто говорил, главное суть!

— Понимаю! — грустно согласился Александров. — Суть — квинтэссенция всего!

— Чего?

— Говорю, что правильно, перспективно мыслите, Михаил. Теперь уже ясно, не зря тебя в ЦК перевели. Далеко пойдешь...

— Похоже на то. Поддержка есть, — согласился Горбачев, выплевывая косточку от маслины. — Надо немного удачи и терпения. Знаешь, жить среди этих старых аксакалов невозможно. Ничего конкретного. Решения принять не могут. Энергии, движения нет. Время не чувствуют. И, что самое ужасное, нет рядом таких единомышленников, таких монстров от науки, как ты, Николай. Поговорить не с кем. Тебе надо в Москву, поближе ко мне. Мы там такого наворотим... Разгоним весь этот балаган. Все перестроим по-новому, по-нашему, как у них, понимаешь?

— Понимаю! Я это давно понимаю! Да только вот до встречи с тобой высказаться было некому. Пустота, — грустно сказал Александров.

— Спасибо тебе за доверие, — поблагодарил Горбачев.

— Тебе, Миша, в генсеки надо прорываться, и как можно скорее, а то не ровен час!

— Согласен! Надо! Но пока необходимо немного подождать. Там своя кухня. Я еще не разобрался. — Потом, сделав глоток виски, спросил: — Я могу на тебя рассчитывать, в случае моего избрания генеральным секретарем, на твоей связи с Западом, на твой опыт?

Александров улыбнулся своей мягкой доброй улыбкой.

— Иначе зачем мы здесь?! Безусловно! Всегда. В любое время.

— Ты мне нужен, Николай. Мне нужны свои люди в политбюро, чтобы разогнать эту камарилью. Нужна Америка. Мы должны с ней дружить. Нужна Европа — с ней надо стать одним целым. Что этот СЭВ? Всю кровь выпил. А взамен болгарские консервы и чешские тряпки. А как здесь люди живут?! — продолжал он. — Ты знаешь, я в душе, наверное, капиталист. Когда еще работал на комбайне, всегда представлял, что это поле мое,

что этот урожай — мой. И хотелось работать, работать, работать... для себя.

А как зарплату выдадут — от жेलания ничего не остается. И сразу же, как только орден получил, на учебу и в партию. Чтобы всем этим управлять... иметь...

Александров слушал и улыбался. Он знал, что сейчас в хозяйственных помещениях посольства люди пакует коробки с покупками, которые заказала семья Горбачевых. Своих денег на такие аппетиты у Николая Яковлевича при всем его достатке не хватило. Пришлось лично обратиться к премьер-министру Трюдо и попросить друга... Так что большой багаж — только в большой самолет. «Загребистая парочка, — думал он. — Странно! Что такого Андропов в нем нашел, сам-то он человек чести, аскет. Или он с ним другой? Само внимание. Конечно, есть у нас на югах такая порода. Если так, то далеко пойдет. А мы поможем голубчику!»

— А как Юрий Владимирович? — спросил Александров. — У нас здесь поговаривают, что он с особым пристрастием продолжает тебя опекать. Говорят, что и Кулаков ушел в мир иной, чтобы тебе местечко освободить.

— Брехня! — грубо возразил Горбачев. — Это все понятно. Завидуют моему выдвигению, молодости. Мы же не в бандитской стране живем. Разливай? — И протянул бокал Александрову. — Просто мое время пришло, понимаешь?

— Понимаю, — согласился в очередной раз Александров, думая о том, что их разговор слушает его друг Роберт Кетлер и ему он очень понравится.

Разошлись в третьем часу ночи. Но Александров не мог уснуть до утра. Он почему-то вспомнил войну, армейский госпиталь с убийственными запахами отгноящихся ран. Жуткое ожидание

ампутации ноги. И этого армянина-хирурга, подполковника, который успокаивал его: война, мол, кончится, хороший протез получишь, будешь как новенький. Вспомнил он почему-то и ужасное беспмятство во время операции, когда к нему явился неизвестный, весь в красном, и встал спиной.

— Хочешь ногу спасти?

— Хочу! — закричал Николай. — Хочу!

— А чем платить будешь? Что дашь?

— Все! Все что хочешь!

— Так у тебя ничего нет. Ты гол как сокол. Коммунисты у твоего отца все забрали. Разве что-нибудь осталось?

Николай заплакал навзрыд.

— Ну что я могу тебе дать? У меня, ты сам видишь, ничего нет!

Он чувствовал, что доктор режет по живому, он даже, как ему казалось, видит, как медсестра вытирает с его лица крупные капли пота.

Боль была невыносимой.

— Помоги мне, — снова кричал он красному.

— Так что, заплатишь? — настаивал тот.

— Нету, нету у меня ничего!

— У человека всегда есть чем платить. Просто не все это понимают, — отвечал красный вкрадчиво.

— Так скажи! Не мучай меня, все отдам — оставь ногу! Умоляю!

И красный повернулся к нему лицом. Оно принадлежало хирургу-подполковнику, только было какое-то бесовское, хитро улыбающееся.

— Душу свою отдашь мне? Можешь? И будешь с ногой, и будешь удачлив, и станешь известным. Одна загвоздка.

— Говори! — заорал снова Николай.

— Счастлив не будешь никогда!

— Согласен! Только спаси ногу.

— Будь по-твоему, — сказал красный и исчез. А Николай еще долго находился в беспмятстве.

Когда он очнулся, была ночь. Нога страшно ныла. Сам он не помнил ничего. Дрожа от страха, сдернул одеяло... Нога была цела, только сильно перебинтована от колена и выше.

— Сестра! — закричал Николай.

Подбежала Танечка.

— Тихо! Тихо, товарищ лейтенант. Людей разбудите.

— Что со мной было? Нога-то цела!

— Целая! Целая! Арсен Амаякович применил методика, которую разрабатывал сам до войны. Сделал вам пересадку кости. Все будет хорошо. Ну, будете хромать, конечно. Но это ерунда.

И тут Александров начал вспоминать. Это видение в бреду. Он испугался! А потом успокоился. А по прошествии времени, когда начал ходить без костылей, и вовсе забыл.

И когда его сверстники гибли на фронтах Великой Отечественной, он уже был демобилизованный по ранению офицер-фронтовик, герой. Перед ним открывались новая жизнь и невиданные перспективы.

Ход его мыслей был прерван телефонным звонком. Звонил дежурный по посольству.

— Прибыл журналист. Ему назначено на девять тридцать утра, встреча с Горбачевым. Говорит, пришел брать интервью.

Александров посмотрел в зеркало. Вид ничего. Глаза, правда, еще осоловелые.

— Я буду через десять минут.

Он вышел в приемную свежий и хорошо пахнущий, с почти незаметным запахом алкоголя.

Шарль Дорнье встал навстречу идущему Александрову и приветствовал старого знакомого. С надеждой поинтересовался: — А господин Горбачев будет?

— Извини, господин Дорнье, мы с Михаилом Сергеевичем практически до утра общались. Если вам нужно интервью — берите у меня. Он думает, как и я. А ему давайте дадим отдохнуть...

На следующий день в газете появилось обширное интервью с Александровым с очень пространным содержанием. Но тогда в Москве на него почти никто не обратил внимания. Кроме одного человека.

На следующий день у Александрова состоялась встреча в резиденции премьер-министра Канады. Место было выбрано случайно. Посла и его помощника, когда они прибыли в резиденцию, сопроводили до канцелярии, но в рабочий кабинет Александрова естественно, пригласили одного. Там его ждал премьер-министр Трюдо.

Они встретились как старые добрые друзья, довольные друг другом. Поговорили о поставках зерна в СССР больше для проформы, чем для дела, тем более что все было давно уже решено: разницу между рыночной и фактической ценой взяли на себя США, а Канада получала свой процент, о чем в Москве, конечно же, никто не догадывался, считая сделку очередным успехом нашей дипломатии. Так во всяком случае думали в Лэнгли и Госдепе. Теперь же и Александрову, и американцам хотелось понять, стоят ли затраты того, что вновь назначенный секретарь ЦК по сельскому хозяйству будет той темной лошадкой, на которую они поставили.

В кабинете у господина Трюдо имелась дверь, ведущая в уютное помещение для переговоров. Именно там господина Александрова с нетерпением ожидали посланник посольства США Тони Батлер и резидент ЦРУ в Канаде Роберт Кетлер.

Важность и секретность этой встречи объясняла ту конспирацию, которую Госдеп принял, воспользовавшись лояльностью и возможностями премьер-министра.

Хорошо отдохнувший Александров встретился с друзьями с чувством удовлетворения.

— Молодец, Ник! Мы переслали в Лэнгли материал. Очень хорошо. Можем рассчитывать на дополнительное финансирование. Большой привет тебе лично от директора. Обещал подъехать. Хочет с тобой встретиться сам, тет-а-тет.

Александров молча улыбался.

— Присядем, — предложил Батлер на правах старшего.

— Ник! Один вопрос. Неужели ты думаешь, что именно этот человек встанет во главе СССР, великой ядерной державы? У вас, русских, много талантливых людей. Ну, скажем, Щербицкий на Украине — друг Брежнева и другие, — с места в карьер начал Батлер. — Или Романов из Ленинграда.

— А почему вдруг такие сомнения? — удивился Александров. — Когда готовились к этому мероприятию, таких вопросов не было.

— Да, согласен! — ответил Батлер. — Но и таких материалов, как вчера, не было. Наши аналитики послушали запись и пришли к выводу — очень уж посредственный и амбициозный наш клиент.

— Можно сказать, что еще необразованный, — добавил Александров. — И что из этого? Вам нужен другой? С мозгами интеллектуала, патриот?

— Нет-нет! — возразил Кетлер. — Вы нас не так поняли. Такой нам как раз и нужен. Но, согласись, парень мелковат. И нам показалось, что вы старались нам это показать.

— Этот мелкий парень уже секретарь ЦК, член политбюро. Вы представляете себе, что это такое? Он первый человек в сель-

ском хозяйстве страны. Он на олимпе живет. Судьбы миллионов людей решает...

— Не надо нервничать, Ник, — успокоил его Кетлер. — Мы уверены, все будет хорошо, тем более если ты будешь рядом. Нас, честно говоря, это беспокоит гораздо больше. Тебе действительно пора в Москву.

Александров неожиданно задал прямой вопрос Батлеру:

— Скажите, Тони, смерть Кулакова — это моя наводка? Или счастливое стечение обстоятельств? Или у вас есть еще одна параллельная линия?

Кетлер рассмеялся, а Батлер, похлопав Александрова по плечу, сказал:

— Вы, Ник, сильно переоцениваете наши возможности. Но тема, безусловно, интересная. — Затем, помолчав, как бы рассуждая про себя, добавил: — Вы ведь догадываетесь, что за вашим подопечным мы наблюдаем с 1973 года. С момента его поездки во Францию. Тогда ваш КГБ сильно расслабился, отпустив его с женой на Запад. Результат, как вы видите, налицо. Эта парочка обожает все зарубежное и презирает все свое. И это неслучайно! Мы над этим поработали. Очень аккуратно создавали условия для роста. Иногда, как, например, в данной ситуации, с вами, иногда — без вас. Мир большой. Да! У нас есть программы влияния на руководителей других стран. Но всегда главенствует индивидуальный подход. Ваш Горбачев нам подходит давно. Но нас пугает его одержимость все сломать, а потом сделать по-своему. Нам необходимо постепенное, последовательное перерождение СССР. Он же может все испортить. Легкость карьеры притупила в нем осторожность. Ни разведка, ни политика не терпят суеты. Горби — это тот случай, когда в его карьере заинтересованы и Москва, и Вашингтон. Но

цели в данном случае разные. Поэтому мы будем рекомендовать нашему руководству сделать так, чтобы вы были всегда с ним рядом. Стали его тенью, сдерживали его и направляли в нужное русло.

Кетлер добавил:

— Лучше, конечно, если бы вместо него были вы.

— Это возможно? — серьезно спросил Александров.

— В этом мире, Ник, ничего невозможного нет, — добавил Батлер.

Когда показалось, что тема исчерпала себя и пора прощаться, Кетлер неожиданно предостерег Александрова:

— У нас есть информация, Ник, что КГБ серьезно занимается вашей персоной. Их почему-то беспокоят ваши отношения с Горбачевым. Как вы можете прокомментировать это?

Александров отшутился:

— А вы спросите у КГБ. У вас такие возможности и индивидуальный подход к каждому. Я ничего не знаю.

Александров врал. Он прекрасно знал, что угроза исходит от Андропова — тот обладает природным даром чувствовать опасность. И, скорее всего, Чебриков не дремлет, ему наверняка известно что-то...

Вопрос Кетлера подпортил настроение. Надо было приличия ради расходиться. Помощник мог заподозрить неладное.

В этот же день Комитет государственной безопасности получил шифровку.

«Москва. Центр.

Сегодня в 10:30 местного времени Александров прибыл в резиденцию господина Трюдо. Наблюдателем установлено, что в 10:00 туда же к подъезду № 2 (дом приемов) подъехала машина дипломатии США. За рулем автомобиля находился Роберт Кетлер, руководитель штаб-квартиры ЦРУ, и пассажир Тони

Батлер, посланник посольства. Александров покинул резиденцию в 11:10. Американцы вышли из здания в 11:20.

Не исключаю возможности контакта Александрова, Кетлера и Батлера под предлогом встречи с премьером.

Подпись».

Вернувшись в посольство, Александров направился в свой кабинет и попросил его не беспокоить без особой надобности. Плюхнувшись в кресло, он зло выругался:

— Идиоты, они думают, что завербовали меня и ведут по жизни, не подозревая, что веду-то их я по многу намеченному пути.

И он вспомнил свой разговор с Михаилом Андреевичем Сусловым перед отъездом в Америку на стажировку в 1958 году в Колумбийский университет.

— Надеюсь, вы понимаете, Николай Яковлевич, выбор мой именно на вас пал неслучайно. Некоторые думают, что вашу командировку организовал Шелепин. Ну и пусть так думают. Это даже хорошо. Но вы мой работник. И у меня от имени партии есть право давать вам партийное поручение высшей степени секретности.

Александров чуть было не вскочил из-за стола, готовый продемонстрировать свою готовность, но Суслов движением руки осадил его.

— Слушайте меня внимательно, Николай Яковлевич, партии нужны связи. Неформальные, деловые связи в высших эшелонах развитых стран. Это не должно касаться наших органов. Это сугубо партийная, конспиративная работа, без которой партия и ее лидеры существовать не могут. Им нужны личные контакты при решении различных вопросов, совершенно секретные и неофициальные. Ваша задача — обзавестись хорошими знакомствами с нужными людьми. Чтобы всегда можно было на них рассчитывать. Рядом с вами будут

стажироваться перспективные политики из разных стран. Денег не жалейте. Делайте все, что надо, чтобы стать для них своим парнем. И главное, создавайте почву для будущих контактов. И вот еще что. Не будьте навязчивым. Сделайте так, чтобы они в вас нуждались. Станьте распушенной скромностью. Проявляйте себя, как они этого хотят.

Суслов умолк, а Александров был потрясен. Ему, идеологу по натуре и профи, кем он себя считал, такое в голову не могло прийти. Но внезапно ему это понравилось. Здесь были интрига, риск. Какая удача, что Михаил Андреевич разглядел в нем этот дар!

— Раньше, — продолжал Суслов, — эта работа была поставлена хорошо. Нам помогали коминтерновцы, жившие за границей. Сейчас эти возможности ограничены. Холодная война испортила все. Однако нынче наметилось потепление, и появилась лазейка. Вот мы ею и воспользуемся. Вы все уяснили, товарищ Александров?

— Я все сделаю, чтобы оправдать ваше доверие, товарищ секретарь.

— Не мое, — поправил его Суслов, — а партии! И имейте в виду, дело на первом месте, не безобразничайте. Вы там будете не один.

— Я все понял, — ответил Александров.

«Да, — подумал про себя Николай Яковлевич, вспомнив этот разговор с Сусловым, — он бы в гробу перевернулся, узнай как все обернется. Все-таки бытие куда сильнее сознания!»

ГЛАВА 10. ПРАВИТЕЛИ МИРА

Наши дни

Кетлер понимал, что, показав список президенту и не подкрепив его записью модуля,

он подписал бы себе смертный приговор. Однако теперь гарантия была железная. И ему оставалось только ждать выхода на связь заинтересованной стороны.

Кетлеру совсем не хотелось играть в шпионские игры. Но раз уж его втянули в эти дела против воли, а сложившаяся ситуация угрожает жизни его друга, он решил вести свою собственную партию.

Для себя самого он четко определился: нынешняя политика администрации ничего общего с интересами государства не имеет. Иначе как можно объяснить тот факт, что во время кризиса миллионы людей лишились крова, работы, а банки стали еще богаче, миллиардеров стало больше? «Раньше мешал СССР, теперь его нет, а нам по-прежнему угрожают войной. И это тогда, когда мы сами то тут, то там воюем за личные интересы нефтяных и финансовых кланов.

Президент заявил, что власть его ограничена. Врет, мерзавец. Врет так же, как тогда в Кабуле. Из ошибки водителя сделал шоу. Он что, решил рискнуть жизнью, разглядывая, как живут простые афганцы? Но дело не в этом. Проблема действительно стоит гораздо шире. Здесь и этот модуль космический, кто бы за ним ни стоял, и Патрик абсолютно правы. Непозволительная роскошь — строить из себя владыку мира. Наша привычка делать из политики шоу привела к тому, что сегодня Америкой правит человек, который в два прыжка — из утробы матери на пальму, а с пальмы в Белый дом, — попал в президентское кресло. Ликуй, Америка! Да здравствует демократия!

Да, — думал Кетлер, — эти русские не давали разгуляться нашему брату. Угробят они страну, угробят!»

Размышляя таким образом, он подъехал на такси к дому Батле-

ров. Очень хотелось поговорить. Кроме того, Роберт считал своим долгом рассказать старому другу все. Это он считал правильным.

Отпустив машину, Роберт зашел в дом. Но там никого не оказалось. Даже прислуги, которая в дневное время находилась дома всегда. Кетлер испугался. Осторожно оглядываясь, прошел к кабинету Батлера. Хозяина дома он заметил в странной позе. Тот полулежал на боку и клюшкой для гольфа пытался что-то достать из-под дивана.

— Ты чего делаешь? — спросил он старого друга. — Напугал до смерти. Захожу, никого нет! Где твои?

— Так сегодня же четверг. Барбара с Зитой на рынок уехали. А я вот пистолет уронил за диван. — И он показал беретту — подарок от Саддама Хусейна.

Кетлер усмехнулся.

— Лучше бы веревку попросил подарить. Веревка повешенного, говорят, счастье приносит.

— Так он тогда еще живой был, — возразил ему Батлер, — и веревки у него не было. Ты чего это так рано? Еще двенадцати нет, а уже злой как собака, случилось чего?

— Случилось! — ответил ему Кетлер. И рассказал другу обо всех хитросплетениях событий последних десяти дней, не упустив и того, что его приятель попал в список, что этот список он отдал президенту.

Как ни странно, Батлера эти новости нисколько не взволновали. Он будто бы даже был готов к такому развитию событий. А вот модуль и пришелец привели его в полный восторг. Особенно его возможности выступить в образе президента.

— И что? Я могу это увидеть?

— Можешь, но не сейчас. Поверь мне на слово, это правда.

— Но не ясно одно, Роберт. Какое отношение ты имеешь к этому списку? Почему выбор пал на

тебя? Ты в отставке. Даже странно, что об этом попросил Трауберг. Он же не дурак. Я этого не понимаю. И второе. Почему модуль в Америке, как возможно, чтобы какая-то штука с дальнего космоса, переодевшись президентом, выступила как президент, да еще в ЦРУ? Этого не может быть. И потом, НАСА в курсе? Что они говорят?

Кетлер развел руками.

— У НАСА нет никакой информации. Ты думаешь, нас кто-то разыгрывает? — настороженно спросил он.

— Однозначно. Других мнений быть не может. Космос здесь ни при чем. Надо искать новые технологии. Я не верю в пришельцев.

— Поверишь! — ответил ему Кетлер. — Будь совершенно уверен в том, что встреча с модулем еще состоится. Только сердечными таблетками запасись.

Не успел Кетлер закончить фразу, как зазвонил телефон. Номер не определился.

— Алло! Кетлер слушает.

— Здравствуйте, Роберт! С вами говорит Дональд Линк. Надеюсь, помните такого?

— Конечно, сэр! — ответил Кетлер, в полной мере понимая происхождение этого звонка.

— Роберт, как вы смотрите на то, если мы с вами сегодня поужинаем, скажем, в «Хилтоне»? Наша последняя встреча, мне помнится, была именно там?

— Я не возражаю, сэр. Тем более с вами мне всегда приятно поговорить.

Линк продолжил:

— Насколько я знаю, вы сейчас у своего старого коллеги Батлера? Не так ли?

— Вы, сэр, как всегда, правы!

— Прихватите и его с собой, надеюсь, он тоже будет рад меня видеть.

— Безусловно, мистер Линк.

— Ну тогда жду вас в восемь вечера.

Кетлер спрятал телефон.

— Это был сам Линк? — спросил Батлер.

— Да, Тони! И он нас с тобой сегодня ждет в «Хилтоне» в 20:00. Как понимаешь, рыбка захватила живца.

— Роберт, я стар для таких игрищ.

— Линк куда старше тебя и не против, как видишь. Значит, что-то есть горячее на закуску. Я ждал этого звонка. И потом, посмотри в окно. Видишь два джипа с правительственными номерами ФБР? Это меня по поручению президента охраняют. С моей головы волосок не должен упасть, ясно?

— А ты подумал о Кэтрин? Ты же знаешь, это твое самое уязвимое место.

— Мое уязвимое место сейчас далеко отсюда. Иначе почему ты думаешь, одни мне звонят, другие охраняют?

— Ну, слава богу, — облегченно выдохнул Тони. — А вот мое слабое место сейчас на рынке.

— Ты не беспокойся, тебя не тронут. Я твоя гарантия.

Встреча, как и договаривались, состоялась в отеле «Хилтон». Роберт знал, старый Линк здесь снимает апартаменты уже много лет и только по пятницам уезжает в свою загородную резиденцию. Часть весны и осени проводит в Майами.

У этого человека было все, что только может пожелать простой смертный. Ему уже было семьдесят семь с небольшим, но держался он молодцом. Белый, как лунь, с загорелым лицом старого развратника, Дональд Линк продолжал стрелять своими когда-то голубыми глазами по аппетитным попкам вальжных дам. Увидев приглашенных им людей, он встал и церемонно поздоровался с каждым.

— Роберт, я не видел вас с тех пор, как вы вернулись из России.

Прекрасно выглядите. Часто вспоминаю те незабываемые дни.

— Вы тоже молодцом, мистер Линк. Кому угодно фору дадите, — вернул ему комплимент Кетлер.

— Мой мальчик! Если бы тебя, как меня, массировали, да обтирали кремами, да золотые нити вшивали, ты бы был как новорожденный. Я беру от этой жизни все.

С Тони Батлером он также был разговорчив.

— Тони, рад. Совесть ты нашего Госдепа и само обаяние. Поражаюсь, где нынешний госсекретарь помощников набирает. Сплошное хамло необразованное. Украину путают с Пакистаном, Сирию с Сербией. Черногорию с Монте-Карло, Ливию с Ливаном. Раньше этого не было, правда, Тони?

— Правда, мистер Линк!

— Прошу к столу.

Когда расселись, Кетлер заметил, что в зале по меньше мере пять человек охраняют территорию встречи. Не считая одного бугая рядом с Дональдом.

«Многовато, — подумал он. — Похоже, я не рассчитал свои силы. Что-то намечается».

— Ну что, господа, будем заказывать или прямо к делу?

Кетлер посмотрел на Батлера — Тони явно собирался хорошо поужинать.

— Давно не виделись, думаю, не помешает немного выпить и закусь.

Пока заказывали, Кетлер думал: почему он так свободно себя чувствует? Линк один из тех людей, которые реально управляют страной. Он уже больше пятнадцати лет нигде не светится, не дает интервью. За границу летает инкогнито. Всегда выражает интересы себе подобных. Двери Белого дома для него открыты всегда.

Роберт включил свой приборчик, который глушил прослушки.

Охранник, стоявший сзади Линка, медленно опустился на пол и растекся на нем безвольным воздушным шариком с водой. То же самое произошло с другим. Из кабинета раздался крик, показавшийся Кетлеру очень знакомым. Он рванул туда. Перед ним сидели Кэтрин и Патрик со связанными капроновыми наручниками руками. Роберт быстро помог им избавиться от пут, забрал у охранника пистолет и приказал немедленно уезжать, сказав что-то на ухо Кэтрин.

В ресторане поднялась невообразимая паника, подбежавшие сотрудники отдела охраны оттащили лежавших и вызвали скорую.

— Что с ними? — как можно спокойнее спросил Линк, но было видно, как у него дрожали руки.

— Зачем вы это сделали, Дональд? Почему бы нам просто не поговорить?

— Теперь можно! — согласился Линк. — Вы отобрали у меня единственный оставшийся против вас козырь.

— Что здесь происходит? — спросил совсем растерявшийся и ничего не понимающий Батлер. — Нас что, пытались шантажировать?

— Да, Тони! Мистер Линк хотел нам предложить сделку на выгодных для него условиях. Но случай помог нам. Я слушаю вас, мистер Линк. — Ужинать совсем не хотелось, но вина Кетлер бы выпил. — Но сначала закажите что-нибудь выпить.

Тот позвал официанта.

— «Шато Совиньон» 2008 года, пожалуйста.

— Начну издалека, — начал Дональд Линк. — Вы знаете, что я стараюсь не лезть в политику. Мои приоритеты распространяются на деньги. На финансовые инструменты. Я не демократ и не республиканец. Но республиканцы мне ближе.

Так вот, когда выдвинули кандидатом в президенты этого павиана, я и мои коллеги были категорически против. Но демократы начали нас убеждать, что мы в случае успешных выборов получим нефть и золото Ливии, а в придачу и Сирию. Более того, они гарантировали, что оторвут от России Украину. Это нас устроило, мы могли доллары превратить в реальные ценности. В этом суть нашего существования.

Но вы видели, как он ходит? Он ничего не видит, кроме своего гамадриловского носа. Он не вникает в суть вещей. Он окружил себя людьми, которые ни черта не смыслят в политике. Все можно было бы стерпеть, но кругом одни проколы, везде наследили. В Европе нас уже зовут скунсами.

— Я не понимаю, а я-то здесь при чем, мистер Линк?

— Не перебивайте! Все по порядку! Мы же контролируем финансы. И вот однажды мы заметили, что казначейские долговые обязательства, которые мы выдаем взамен денег, стали все чаще погашаться. Реальные деньги стали уходить из Америки, а мы, владельцы Федеральной резервной системы, стали терять проценты. Но самое ужасное не в этом. Очень многие страны пытаются избавиться от доллара. Русские вообще хотят от доллара отказаться. Хотя там долгое время были люди, которых мы содержали в рамках этой программы.

Швейцарцы вообще обнаглели, на их биржевых документах по долларовым сделкам появилась строка: «На территории США не действительно». Вы понимаете, на что это намек?

Тут, грубо говоря, Сирию профукали. С Украиной откровенно обосрались, хотя вбухали туда пять миллиардов. И тут вдруг эта информация о каком-то модуле. Речь президента. Если это попадет в эфир... Мне плевать на

республиканцев и демократов — деньги пропадут. Больше такой деловой жизни не будет. Никогда. Сама идея нашего государства, рожденная в умах праотцев, погибнет.

Я вижу, президент сделал все, чтобы вас охраняли. Ишь, какие штучки придумали. Охрану как корова языком слизала. Дайте мне эту запись выступления президента и просите что угодно. Мы вас озолотим! Не будьте дураком, Кетлер.

— Я ее отдал президенту. Возьмите у него.

— Не юлите, Кетлер. Я знаю, что вы сделали копию. Я здесь поэтому, и поверьте мне, это чистая правда, так как лучше других знаю, чем это грозит великой Америке. Пустыня Сахара покажется цветущим садом по сравнению с ней, если только эта информация попадет в массы.

— Кто вам сказал, что у меня есть копии записей?

— У нас везде смотрящие. В ЦРУ вас опекал Стоун. В администрации — Дженифер Джонс, они делают свою работу во имя государства. Я не хочу, чтобы с вашей легкой руки произошла утечка. Вы работаете на русских.

Скажу вам больше, вы и ваша внучка теперь до конца дней своих будете под строгой опекой государства. Другого пути нет. Или отдаете мне, или...

— Президент в курсе нашей встречи?

— Да! — ответил Линк

— Хорошо! Я все понимаю, — смягчился Кетлер. — Вопрос действительно затрагивает национальную безопасность. Но как тогда появился список из двадцати человек, подлежащих уничтожению? Это все люди, которые критикуют финансовую политику США, которые стараются развивать производство, а не банковский сектор экономики, которые просили вернуть заводы домой.

Вот один из этих людей — Батлер. Он из этого списка. Чьи интересы вы защищаете?

— Мы все люди, Кетлер. Тони, все ошибаются. Многие из моего окружения понимают, что мы увязли. Потому и эти локальные войны то тут, то там. У нас уже не получается то, что в 90-е делалось с легкостью. Америка — банкрот. Если она это сейчас признает, не нужна даже атомная бомба. Мы считали, что эти люди подливают масло в огонь. С ними надо было что-то делать. Гарольд Стоун предложил вариант. Наверху приняли. Мы ни при чем. Мы — финансы Америки.

Мне самому деньги не нужны. Я их в могилу не заберу, я прошу ради Америки. Отдайте мне эти пленки. Я...

— Мистер Линк, — остановил его Тони Батлер. — Я думаю, что даже если Роберт их вам отдаст, делу уже не поможешь.

— Как это? — удивился Дональд Линк.

— Дело в том, — продолжал Тони, — что этот модуль сейчас находится в электросетях Вашингтона. Он неуправляем. Один бог знает, когда и где он выстрелит.

Кетлер снял с шеи флешку со списком и протянул ее Линку.

— Возьмите.

— Что это?

— Это запись оригинала.

— А у президента?

— У него копия! — И Кетлер помог раскрутить слоника и достать флешку. — Возьмите, она ваша.

Линк спокойно взял флешку.

— Спасибо. Извините, так плохо получилось с вашей Кэтрин, но это не моя вина. — И он посмотрел в глубину зала, где за отдельным столиком за ними наблюдал Гарольд Стоун.

— Ну и кашу вы заварили, Линк! — с упреком сказал Кетлер.

Линк улыбнулся.

— Называйте это как хотите, но сегодня я вам и вашему другу спас

жизнь. И запомните, президенты приходят и уходят, а Дональды Линки остаются всегда.

Он аккуратно спрятал флешку в нагрудный карман пиджака.

В этот момент сзади к нему подошла шикарная блондинка лет тридцати.

— Нам пора идти, милый, — сказала она и слегка потянула Линка за руку к лифту, показывая всему залу изящество своих форм и убогость старого партнера.

— Зачем ты отдал ему запись, Роберт? — взволнованно спросил Тони, молчавший все это время.

— Не волнуйся, мой друг, все только начинается. Но с Кэтрин получилась промашка. Это моя вина.

В это время к их столику подошел Гарольд Стоун.

— Приветствую вас, господа!

Тони Батлер поздоровался, а Кетлер демонстративно отвернулся.

— Роберт, а хотите, я вам сейчас расскажу, что наболтал про меня этот старый ублюдок?

— Если вы все слушали, то это не составит труда.

— Нет, у этих денежных мешков понятие совести, долга или чести отсутствуют. Они сделают что угодно, только бы не отбирали право печатать деньги. И даже на президента наплевать. А вот что президент говорит, это важно. За речами надо следить. Поверьте, я ничего плохого не сделал.

Кетлер посмотрел Стоуну в глаза — врать ему было незачем.

— Да что же это за люди, Гарольд?

— Они не люди! Они правители. Поверь мне. Они нисколько в этом не сомневаются. А президент — их любимое развлечение. Они даже на него ставки делают в своем подвальчике в Нью-Йорке.

— Ты мне песни не пой, Стоун. Видать, хорошо бурбоном поправился, так поешь складно. Откуда список?

— А ты угадай с трех раз.

— Линк?
 — Вот видишь, какой ты умный. Президент сегодня их боготворит. Потому что они делают деньги из воздуха. Вся остальная Америка этого сделать не может. Это тамплиеры, кредиторы, дающие жизнь банкроту. Отсюда и наглость кредитора, и уступчивость президента.

— Вам, Гарольд, с такими речами в Сенате выступать или в Конгрессе.

— Мне плевать. Я уйду.
 — Куда, если не секрет? — поинтересовался Кетлер, думая, что Стоун шутит.

Гарольд рассмеялся.

— Завтра с утра слушайте новости.

Они разошлись. Гарольд умчался на своем «мустанге», а Кетлер со своим другом на такси разъезжались по домам после того, как Тони, похлопав Роберта по плечу, сказал:

— Хорошо посидели!

ГЛАВА 11. НА ПЛАНЕТЕ ФЛОРЕНТИДА

Эгон сидел за своим изобретением в большой просторной комнате и пялился на гигантский экран, на котором то и дело менялось изображение. Он перемещал джойстиком позицию модуля с места на место, сканировал местность и пространство. Стоящая позади мать удивлялась:

— Где ты эти виды нашел? Странные такие изображения. Очень похожи на муравейник, увеличенный в несколько раз.

— Нет, ма. Они называют себя людьми и очень похожи на нас.

— Это те самые, которые живут на той стороне Солнца? У тебя получилось?

Эгон кивнул головой.

— Отец еще не знает. Может, он захочет пообщаться с ними. Они же очень тревожат его. Наши природоведы подготовили ему

доклад с мрачными перспективами. Они заявляют, что биополе Голубой планеты сильно возбуждено агрессией. Это плохо сказывается на нас и влияет на солнечную активность.

— Эгон, а они знают о нашем существовании?

— Уже да! Но очень мало людей, и еще меньше информации. Заряд моего модуля так мал, что он практически не может сохраниться в их памяти. Но я сделал открытие. У них есть электронные приборы и электричество, и мой модуль там чувствует себя хорошо.

Я записал послание, которое оставил отец. Попытался его передать словами их лидера-американца, но ничего не получилось. Прибор взорвался. Перебор с накопленной энергией, а память у людей слабая.

— Ты, пожалуйста, доложи его величайшему превосходительству о своем открытии сам. Он ведь твой отец. Ты его гордость. Я думаю, все флорентийцы будут рады. Может, и вправду они перестанут там драться и накапливать ненависть. Я стала бояться землетрясений и солнечных бурь.

Пришел отец Эгона Эвон. На Флорентиде все мужские имена начинались с буквы «Э», а женские — с «Ю». Все мужчины носили одежду только белого цвета, а женщины — только голубого. Но зато существовало бесконечное множество причесок и косметики. Всякий разукрашивал свое лицо, будь то мужчина или женщина, как хотел. Потому внутренний мир каждого был виден всем, так сказать, на лице.

Эгон при виде отца встал и поклонился, сложив ладони перед лицом.

— Эвон! — обратилась к нему жена. — Твой сын сделал открытие.

Верховный правитель подошел к Эгону.

— Ну, показывая свои успехи.

— Мой биомагнитный космический модуль наконец выстрелил и достиг Голубой планеты, отец!

— Как тебе это удалось, сын мой?

— Я смог рассчитать точку пространства, когда спутник Голубой планеты находится на максимальном отдалении от нее. И я использовал его для отражения сигнала. Надо было попасть в одно место — в зону высоких напряжений биополя, где агрессия зашкаливает. Но я попал в море, поймал там транспортное средство и теперь пытаюсь с окаянностью добраться до зоны высоких напряжений.

— И что, у тебя с ними есть связь?

— Да, я уже общался с жителями Голубой планеты. Они, как ни странно, говорят на разных языках. Но сам же говорил эмоциональными сигналами, нам речь не нужна. А они еще говорят, поэтому я их понял запросто.

— Возможно, ты сможешь передать им мое послание?

— А я и так его передал! Помнишь, мы с тобой играли. И ты сделал запись про угрозы Флорентиде со стороны Голубой планеты, про опасность ее напряженного биополя?

— Ты так и передал эту запись?

— Нет! Без разрешения я этого сделать не мог. Я просматривал территорию и выбрал того, кого они больше других показывают. И он по их информационному передатчику сказал людям то, что ты думаешь о них.

— А я могу это увидеть?

Эгон дотронулся до джойстика и сказал:

— Речь носителя!

На экране появился людиец в странном темном одеянии и с черной колотушкой ниже шеи. Был он другого, более темного цвета, то ли с шерстью, то

ли с чепцом на голове. Говоря, он все время пытался улыбнуться.

— Они всегда так говорят?

— Не знаю! Так получилось.

— И что, все люди это видели?

— Нет, отец, не больше десяти.

— Ну, слава богу! Позор-то какой. Когда будешь готов, скажи мне. Я хочу к ним обратиться в своем обличье. Как все-таки хорошо, что Господь в этой Вселенной никому не дал возможности встречаться друг с другом и совершать визиты. И то, что сделал мой сын, после моего обращения надо будет уничтожить!

Эгон понял все.

ГЛАВА 12. СЮРПРИЗ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Суббота, 19 июля. Наши дни

Он смертельно устал за эту проклятую неделю и потому спал как убитый.

Ему снился сон. Он стоит на вершине высокой скалистой горы так высоко, что задевает головой проплывающие мимо облака и чувствует их прохладное прикосновение.

Там, внизу, на огромном зеленом плато, покрытом островками синих тюльпанов, будто гигантские черные валуны, разбросанные то тут, то там, пасутся буйволы.

Ярко светит солнце, в лучах которого он замечает огромные черные тени, плывущие по зеленому ковру плато.

Он поднимает голову вверх и в испуге закрывает руками лицо, чудом устояв на ногах.

...Это прямо на уровне его глаз. Кружат в каком-то смертельном торжественном танце гигантские птицы — сипы. Они не машут крыльями, а, зорко всматриваясь вниз, планируют, широко раскинув их и вытянув вперед свои длинные лысые шеи.

Неожиданно для себя он понял, что это кружение представляет

собой многоуровневую вращающуюся по кругу этажерку, как в аэропорту Хитроу. Которая по мере того, как буйволы приближаются к пропасти, опускается все ниже и ниже, сужая радиус кружения.

Тишина стояла такая, что звуки ручья, бегущего на дне ущелья, казались ревом горной реки.

Когда сипы оказались ниже его, к своему удивлению он обнаружил, что на крыльях отдельных птиц сидят вороны. Они перескакивали с крыла на крыло или вообще перелетали с одного монстра на другого, отыскивая что-то съестное в оперении. Зрелище было удивительным, и он продолжал замороженно наблюдать за происходящим.

Иногда отдельные сипы, отделившись от этажерки, подлетали к нему и заглядывали прямо в лицо. И тогда он видел их налитые кровью глаза, огромные клювы с глубокими прорезями ноздрей и белые манжеты оперения шей. Но больше всего его поразили ноги птиц. Они были огромны и похожи на кисти человеческих рук, сжатых в кулак, и, казалось, готовы немедленно нанести смертельный удар.

А между тем кружащаяся этажерка опускалась все ниже и ниже, и он словно плыл в облаках рядом с ней, созерцая происходящее величие природы.

Неожиданно он заметил, что там, внизу, два огромных буйвола, отделившись от костяка основного стада, подошли к самому краю пропасти, где особенно буйствовала сочная трава. Они так опрометчиво увлеклись своим делом, не обращая абсолютно никакого внимания на парящих над ними птиц, что, казалось даже, их устрашающие тени, плывущие по лугу, лишь призывают буйволов подойти к краю бездны ближе.

Он уже видел, как из-под копыт животных вниз то и дело летят камни и покрытые травой куски почвы, оторванные под тяжестью их веса...

Это был сигнал для сипов. Они словно по команде ринулись на одного из несчастных животных, заходя на него со стороны плато. Ужас своего положения буйвол осознал только тогда, когда его задние копыта судорожно стали искать опору, дергаясь в диком исступлении и пытаясь зацепиться хоть за какой-нибудь выступ. Сипы один за другим подлетали к нему и толкали своими сильными лапами в голову. Животное собрало последние силы, ноздри буйвола округлились, глаза залила кровь, он выдохнул горячую струю пара и с диким мычанием дернулся вперед, отдав этому отчаянному броску остатки сил, но копыта передних ног медленно, как будто не замечая усилий своего владельца, заскользили по влажной траве навстречу бездне.

Буйвол полетел вниз, ударяясь о торчащие выступы скалы и продолжая издавать истощенное мычание. Сипы, кружа над пропастью, наблюдали падение животного до конца. Затем, немного покружив и не обратив никакого внимания на второго буйвола, улетели.

Патрик проснулся.

Не сразу понял, что он у себя дома. Из столовой доносился запах жареного бекона. Он вспомнил, что Кэтрин сегодня у него. «О'кей, — потянулся Патрик, — как хорошо, что настала суббота. Не надо бежать на работу. Никому не надо доказывать свою нужность. Не пудрить себе мозги политической мишурой. И главное, Кэтрин дома». Не успел он о ней подумать, как Кэтрин собственной персоной появилась в дверях.

— Подъем, соня! Быстро умыться — и к столу!

Патрик вскочил с кровати и, высоко поднимая колени, бегом проследовал в ванную комнату.

Кэтрин схватила подушку и кинула ему вдогонку, но подушка угодила в быстро захлопнувшуюся дверь.

— Жулик! Кто обещал мне сегодня кофе в постель? А сам проснулся в одиннадцатом часу! Нет тебе прощения, Миллер!

Она принялась собирать постель и вдруг у изголовья, где только что была подушка Патрика, увидела маленького серебряного слоника на тонкой цепочке, точно такого же, как ей передали в Стамбуле для Кетлера.

«Странно, — подумала Кэтрин. — Слоники редкие. У нас не продаются. И почему я его раньше не видела?»

Она более пристально стала рассматривать вещицу и неожиданно для себя поняла, что это такой же контейнер для флешки. Она потянула слоника за хобот... и он разделился надвое. Левая часть, где находилась голова, действительно оказалась флешкой. Не совсем понимая, для чего она это делает, Кэтрин воткнула флешку в свой планшетник и открыла файл...

Там было обращение человека, которого она никогда не видела, но он обращался к ее деду, Роберту Кетлеру, и просил встретиться в Стамбуле, рассказывая об опасности, грозящей каким-то людям.

«Какая же я дура, сразу не догадалась, что вся эта поездка в Турцию была организована не для моей работы. Она являлась какой-то миссией Кетлера. Куда бы я ни пошла, везде сотрудники посольства или вообще какие-то подозрительные типы». Кэтрин плюхнулась на кровать и заплакала.

— Какая же я идиотка! — причитала она. — Как я сразу не догадалась...

В таком состоянии и застал ее Патрик, вышедший посвежевшим из ванной комнаты в предвкушении вкусного завтрака и вообще хорошего дня после всего пережитого.

— Кэтрин, что с тобой? — закричал он, подбегая к девушке. — Ты плачешь? Что случилось, малыш?

Кэтрин, вся в слезах, указала рукой на слоника и на планшетник. Она рыдала так, что не могла говорить. С трудом Патрику удалось ее успокоить. Сделав глоток воды и продолжая всхлипывать, девушка спросила:

— Откуда у тебя этот слоник?

— Какой слоник? — удивился Патрик.

Она вытащила из планшетника флешку с головой и присоединила к ней заднюю часть.

— Вот этот!

Патрик с удивлением смотрел на вещицу.

— Красивый слоник, — сказал он, ничего не понимая. — Ты их собираешь, я знаю. И что?

— Этот слоник-кулон — не мой. Он был у тебя под подушкой, — почти закричала она, снова заливаясь слезами.

— Ну и что тут такого? — по-прежнему ничего не понимая, спросил Патрик, но уже более озадаченно.

— Ты мне ответь, это твой слоник? — не унималась Кэтрин.

— Нет! Откуда у меня такой?

— Тогда объясни, как он сюда попал?

— А я откуда знаю? — раздраженно ответил Патрик. — Я его под подушку не клал. Зачем мне это? И вообще, объясни мне, что происходит, малыш?

— На вот, возьми и подсоедини флешку снова.

Патрик внимательно прослушал запись Трауберга.

— Кэтрин, — обратился он к ней, когда запись закончилась, — это не мое. Ты же видишь, она адре-

сована Кетлеру, твоему деду. При чем тут я?

— Ты хочешь сказать, что это не твое и не ты ее сюда положил? Да?

— Да!

— Хорошо! Допустим! Но теперь послушай меня. Меня от Библиотеки конгресса откомандировали в Стамбул, чтобы заполучить некоторые материалы по истории турецкого Курдистана, которые всячески замалчиваются и нигде не публикуются. Представляешь, какая это радость для меня, для человека, который специализируется на тематике Ближнего Востока и Турции в частности! Я, конечно, поработала с первоисточниками, встречалась с консультантами и профессором Эльдерганом. Однако нужный материал смог найти только друг деда, адмирал какой-то. Толстый такой.

— Ну и что? — перебил ее Патрик. — У него такие связи. Ты же знаешь, кем был твой дед раньше. С ним и сейчас все считаются. С ним президент встречается. Они даже раньше знали друг друга, и он...

— Я не об этом! — остановила его Кэтрин. — Перед отлетом из Стамбула, пока Роберт утрясал какое-то дело в миссии, я отправилась погулять в город, на Золотой базар. Пока охранник пил кофе, продавец незаметно вручил мне этого слоника и велел передать деду, сказал, что дед очень обрадуется...

— И что, обрадовался?

— Обрадовался и надел на меня.

— Ну вот и хорошо! Так в чем же дело, моя хорошая?

— Это тот самый слоник! — уверенно заявила Кэтрин.

Патрик взял флешку и пошел к своему рабочему столу. Он тщательно стал слушать и изучать запись Трауберга.

Сзади к нему подошла Кэтрин, не одетая, лишь в накинутой рубашке Патрика.

— Ты понимаешь? Дед ездил в Турцию не из-за меня. Я была его прикрытием, ширмой. Он выполнял задание, — заключила она.

— То, что здесь находится, очень важно. И опасно, — добавил Патрик. — Кому надо было подкидывать эту вещичку ко мне домой? — И уже на ухо прошептал: — Если подложили, то наверняка прослушивают. У меня есть прибор, обнаруживающий такие вещи. Тихо сиди и говори громко что-нибудь.

— Что? — прошептала она.

— Лучше громко включи телевизор!

Патрик рыскал по квартире, но, не обнаружив никаких подслушивающих устройств, успокоился.

Оба одновременно вспомнили про биомагнитный модуль. Про Эгона. И, не проронив ни слова и наскоро перекусив, решили поехать к Рудди. Патрик на всякий случай проверил машину на прослушку. И здесь все нормально.

— В понедельник доложу «сфинксу» о флешке. Интересно будет посмотреть на ее реакцию.

Патрик, в отличие от Кетлера, еще не знал, что еще один из списка Трауберга журналист Николас Засиматас отравился в машине выхлопными газами в гараже собственного дома. Был, как выяснилось, с любовницей. Пикантность ситуации уже сегодня распишут в утренних новостях во всех подробностях.

Рудди и Габриэлу они нашли в хорошем расположении духа. Патрик был поражен тем, что об Эгоне, то есть биомагнитном модуле, они почти ничего не помнили. Эгон оказался прав: те, в кого модуль внедряется, очень быстро забывают о его существовании. Но Рудди вел себя подозрительно. Попив чай и поболтав ни о чем, они не стали надолго отвлекать

хозяев и отправились к Роберту Кетлеру.

Кэтрин все-таки полюбопытствовала у Патрика:

— А в чем секрет такой короткой памяти после всего пережитого?

— Я думаю, что это биотокси. Общение Эгона происходит через тело на уровне биотокси, и делается это как обмен или передача информации. Для них это нормальный высший разум. Представляешь, они прошли путь цивилизационного развития на 50 000 лет больше нас. Вот где, наверное, технологии! А? Фантастика!

— Да, интересно! Но мне сейчас как-то больше со слоником хотелось бы разобраться, — обиженно ответила Кэтрин.

— Ничего, разберемся, — ответил ей Патрик, недовольно уставившись в спину таксисту.

Вскоре они подъехали к дому Роберта, в котором выросла и жила Кэтрин. Это был ее родной дом. После исчезновения родителей это место оставалось для нее тем островком, где могла отдохнуть ее душа. И если бы не эти визиты от случая к случаю к Патрику, она бы никогда отсюда не выезжала. Но оставаться с ним здесь при Кетлере она не могла себе позволить.

Им показалось, что Роберт их ждал. Он стоял перед домом и смотрел, как машина подъезжает.

— А я уж и засомневался, привезут мне мою внучку сегодня или нет. У прислуги выходной, у внучки свидание, а у бедного Кетлера старческая скука.

— Ты, деда, давай не прибедайся. Знаем, какой ты живчик, — укоризненно заявила ему Кэтрин. Она взглядом попросила Патрика показать.

И тот вытащил из кармана джинсов слоника и протянул его Кетлеру. Роберт взял слоника,

даже не став его тщательно рассматривать.

— Прошу в дом, господа. А ты, хозяйюшка, давай организуй нам пивка и что-нибудь к нему. Мне здесь одному и не выпить, и не поболтать.

Во дворе уже припекало солнце. Кэтрин накрыла на террасе стол, подав пиво с орешками и чипсами.

Когда расселись, Патрик задал вопрос первым:

— У вас же есть такая?

— Есть, — ответил Кетлер.

— Вы можете ее показать?

— Детка, — обратился Роберт к внучке, — у меня такая же в ящике письменного стола лежит. Принеси.

Долго ждать не пришлось. Обе вещички были абсолютно одинаковыми.

— Как я понимаю, содержание у этих слоников такое же одинаковое, как они сами? — спросил Кетлер больше для проформы. Ему и так было все ясно.

— Если речь идет о Трауберге, то, видимо, да, — четко ответил Патрик.

— Значит, слоники — близнецы-братья. И значит, у кого-то они есть еще, — сделал вывод Кетлер.

— Вы думаете, что кто-то заинтересован в выбросе негативной информации на этих людей? — снова задал вопрос Миллер.

— Нет! Я думаю, что речь идет о чем-то другом. О чем мы пока не знаем. Кстати, — продолжил Роберт, — сегодня убит уже третий человек из этого списка — журналист Николас Засиматас. Утром передали в новостях. Не слышали?

— Нет, еще не слышал, — ответил Патрик.

Слоники сбили его с толку. Они ломали всю конструкцию модели, отработанную в центре. Но он четко держался правила — ни шага в сторону. Ситуация под контролем.

— Послушайте, молодые люди, — неожиданно предложил Кетлер, — оставайтесь-ка вы сегодня у меня. Я думаю, Кэтрин будет не против, а мне веселей. Сделаем барбекю. У меня несколько хороших бутылок калифорнийского шато имеется. Погуляем! А заодно и обсудим минувшую неделю и нашего инопланетянина. Как там Рудди и его жена Габриэла?

— Они ничего не помнят! — ответила Кэтрин с чувством глубокого разочарования. — Не представляю, как такое можно забыть.

Кетлер усмехнулся.

— В Лэнгли все на ушах стоят. Там решили, что это все-таки русские из них идиотов сделали. Прямо сказать нельзя, оснований нет! И позор какой. А меня охраняют. Вон видите, машина стоит с тремя агентами. По мою душу.

— А чего они боятся, деда? — вдруг забеспокоилась Кэтрин.

— Ты у Патрика спроси.

Патрик ответил:

— Эгон в ЦРУ толкнул откровенную антиамериканскую речь в образе нашего президента.

— Нашего?

— Его самого!

— У меня была запись этой речи, — продолжил Роберт. — Мне израильские друзья подарили одну штучку, она вырубает всех, а ты можешь писать что хочешь! Ее надо только интегрировать с собственным телефоном. Ну вот я и записал. А президент не верит, что не оставил копии. Пока я ехал из Белого дома от вашего западного крыла, здесь уже похозяйничали. Все перевернули, особенно в моем кабинете. Идиоты, нашли где искать.

— И у вас действительно сохранилась копия той его речи, Роберт?

— Патрик, дорогой мой человек, большим старым дядькам такие вопросы не задают, тем более

системные аналитики из аппарата помощника президента по национальной безопасности.

Пиво и орешки шли в охотку. И вдруг как-то неожиданно Кетлер сказал:

— В этом списке не враги, а настоящие патриоты Америки. Не той Америки, которую создали Рейган, Буш, Клинтон и этот павиан, а Америки Джорджа Вашингтона, Рузвельта, Линкольна, Кеннеди, Америки, которая провозглашает истинные человеческие ценности. Теперь что касается наших слоников.

Все замерли в ожидании.

— Я сделал ошибку, — продолжил Кетлер. — Вместо того, чтобы, получив этого слоника в Стамбуле, отдать его Гарольду Стоуну, я решил докопаться до истины сам. Потому что, как вы могли заметить, в списке есть имя моего друга Тони Батлера.

— Но зачем эта информация подкинута Патрику, когда о ней известно президенту и Дженифер Джонс?

— Видимо, потому, — продолжил мысль Патрик, — что они не будут ничего предпринимать в их защиту или сделают вид, что ничего не знают.

— Нет! — возразил Роберт. — Президент не желает принимать решение на основании информации, которую ему передал я. Человек, который знает, что у президента грязная задница, и молчит, и будет молчать, потому что воспитан по-другому. Это его оскорбляет и напоминает о его мирской жизни. Понимаете? А сейчас Дженифер Джонс получит эту информацию от Патрика. Выбор сделан с исключительной прозорливостью. Видимо, самой Дженифер. Она умная девочка. Секретариат подготовит справку. Президент ее прочтет и отдаст в ФБР на проверку.

Кэтрин не удержалась:

— Как мелко! Как некрасиво!

— Зато правильно, — возразил Роберт. — Строго по протоколу!

— Ну ладно! С этой темой мы более или менее разобрались. Однакостораживает другое, — приступил к размышлениям вслух Патрик. — Посмотрите, что происходит. Я делаю аналитическую справку для моего шефа по ее заданию и беспристрастно прихожу к выводу, что наши многолетние усилия по развалу СССР ликвидировали равновесие и создали дисбаланс. И, став главной державой, Америка утратила самоконтроль и чувство меры, которые создали предпосылки к целому ряду глобальных системных ошибок, которые и включили механизм самоуничтожения.

Люди, которые находятся в этом списке, призывают власть одуматься и отойти от политики однополярного мира, серьезно пересмотреть свою доктрину. Мир гораздо сильнее нас. Они говорят, что мы плодим врагов гораздо больше, чем печатаем денег! И вдруг этот биомагнитный модуль говорит, что, если мы не перестроимся, они сами нас уничтожат. Мы всем мешаем, даже инопланетянам. И трудно, конечно, не согласиться с Робертом Гейтсом в том, что истинный враг Америки находится не за океаном, а на двух квадратных милях, где стоят Белый дом и здание Конгресса США.

— Правильно, мой мальчик, — подбодрил его Кетлер. — Послезавтра у тебя будет веселый денек. Но только о том, что рассказал сейчас, больше никому ни гу-гу.

Кэтрин прижалась к Патрику.

— Уходи ты от них. Этим людям служить нельзя. У них баксы в глазах. Там ни морали, ни нравственности. Ты так изменился. Я иногда тебя не узнаю.

Патрик насторожился. «Значит, — подумал он, — Кэтрин

постоянно фиксирует в моем поведении какие-то неточности. Хорошо, что она сказала это только сейчас».

И тут же шутливо задал вопрос: — В какую сторону — в лучшую или худшую?

Кэтрин серьезно ответила, немало подумав:

— Как работник, наверное, к лучшему. Стал рассудительней, прилежней что ли, много работаешь. А как мой парень — что-то часто забываешь про свою девушку.

Патрик смутился, покраснел. Наступила неловкая пауза.

Но Кэтрин весело рассмеялась. — Я шучу! Все нормально! Все хорошо.

— Ну и напрягла ты меня, дорогая, — выдохнул Патрик.

Но думал он совершенно о другом. «Почему флешки-слоники? Та, что у Кетлера, совершенно непонятно, откуда возникла. Моя — в рамках программы. Остается только узнать, знает ли Кетлер, что Трауберг — это не совсем то, что он думает».

— Роберт, — обратился он к Кетлеру. — А этот человек в записи, что на флешке, кто он? Вы его хорошо знаете?

— Нил был моим стажером. А потом стал помощником и большим другом. Его в свое время крепко подставили мои коллеги. Ему можно доверять.

— А где он сейчас? — снова спросил Патрик.

— Я думаю, когда-нибудь мы это узнаем, молодой человек.

Роберт оказался прав. В понедельник, когда они пришли на работу, Миллера тотчас же вызвала «миска сфинкса».

— Патрик, что у вас нового по этому биомагнитному модулю? Президент очень беспокоится. Полное отсутствие объективной информации, — с ходу начала она.

— Я занимаюсь, мэм! Как только что-то будет, вы узнаете первой.

— Спасибо, Патрик!

Она от него чего-то ждала. И Патрик не мог этого не заметить.

— Что это? — спросила Дженифер, увидев в протянутой руке Патрика слоника с цепочкой.

— Это кто-то подсунул мне в спальню!

— Интересно, — сказала «миска», — кто бы это мог быть? — И, взяв в руки слоника, спросила: — И что там?

ГЛАВА 13. НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ

Москва. 1983 год

В середине 1983 года Николая Яковлевича Александрова перевели в Москву. В аппарат ЦК Андропов его не пустил. Дали не столь громкую, но достойную должность — директора Института мировой экономики и международных отношений. Однако довести дело до конца Ю. В. не удалось. Прихватил недуг. Да так, что не до работы было. Но не тот это был человек, чтобы без боя сдаваться.

Виктор Михайлович, зная о тяжелом состоянии друга, каждую неделю навещал его в Кунцевской центральной клинической больнице. Из беседы с Чадовым он уже знал, что конец неизбежен. Видимо, знал это и Андропов, но все же надеялся на лучшее.

За день до смерти Ю. В. был относительно бодрым. Он тяжело отходил от гемодиализа, но, как только чувствовал себя более или менее хорошо, все надо было начинать сначала. Это его измучило. Он сильно похудел. Палату уже практически не покидал.

Чебриков настаивал на операции, но врачи категорически отказывались из-за ярко выраженного

атеросклероза сосудов. Боялись, что организм не выдержит.

Рядом с Андроповым постоянно находился кто-то из его помощников, люди Чебрикова были здесь же.

Сложность положения заключалась в том, что Юрий Владимирович, став генсеком, как-то резко встряхнул страну. Поднял вопрос укрепления дисциплины и порядка. Нанес сокрушительный удар по коррупции в МВД. Повел решительную борьбу с хищениями и взяточничеством. И вдруг! Празднование дня Октябрьской революции — Андропова на трибуне нет. Поползли слухи. Очередной пленум ЦК — Андропова опять нет. Зачитывают его письмо к участникам пленума.

Чебриков знал, что вокруг этого идет мышиная возня и что есть немало таких, кто хотел бы жить по-старому, — ему регулярно докладывали и про частушки, и про водку. Однако чекиста больше всего интересовала ситуация в ближайшем окружении генсека, здесь он имел более или менее объективную информацию, так как, в силу специфики жизни «наверху», все было значительно видней, чем в низах. Виктор Михайлович пришел к заключению, что в политбюро не может быть людей, способных на какую-то заговорщическую деятельность. Старая гвардия видала многое, и главное для нее не власть захватить! Боже упаси! А спокойно, со всеми полагающимися почестями уйти на покой. И каждый из них думал, что он будет первым, потому что до настоящего времени никому еще этого не удавалось. Умирали на рабочем месте в лучшем случае. А в худшем — получали под старый зад, но с соответствующими льготами. Не убивали.

Беспокоила старую гвардию другая весьма подозрительная вещь. Все они были людьми

старыми, с приобретенными болезненными недугами. Но почему-то умирали с одним и тем же диагнозом.

«Гречко вообще никогда не жаловался на здоровье. Без молодухи спать не ложился и, говорят, в постели был хорош. Умер же от сердечной недостаточности.

Словом до баб был не любитель. Пожаловался только на ломоту в суставах. Прошел обследование «велосипед» — здоров! Принял таблетку, а утром диагноз — острая сердечная недостаточность.

Кулаков — это вообще ни в какие рамки не лезет. Здоров, как бык, ан нет, и тоже — острая сердечная недостаточность.

Леонид Ильич — опять же острая сердечная недостаточность. Хотя понятно, что и травма, полученная в Ташкенте, да и общее состояние... Мог ведь дуба дать от инсульта или от разрыва аорты. Нет — острая сердечная недостаточность.

А вот Ю. В. — почки. Причем пятнадцать лет лечили человека нормально, все было терпимо. Стал генсеком — и на тебе. Обострение болезни. Все как-то ненормально. Система просматривается. Даже не система, а стиль как почерк», — так думал Виктор Михайлович, идя по хрустящему снегу по тропинке в корпус, где его ждал Юрий Владимирович.

Поднявшись в дежурные покои, где находились помощник, охрана и дежурный врач Андропова, он поздоровался со всеми и спросил:

— Как он?

Присутствующие пожалы плечами.

— Все понятно! Что делает?

— По телефону с Николаем Ивановичем Рыжковым разговаривает.

Через минуту начальник охраны заглянул в палату:

— Юрий Владимирович, Чебриков к вам.

— Проси!

— Ну, здравствуй, Витя! Как ты?

— Спасибо, Юрий Владимирович.

Хорошо. Вы-то как? Динамика есть?

— Динамика-то есть! Сил только нет. Этот гемодиализ доконал меня, и ничем заменить нельзя.

После каждой процедуры с трудом отхожу. Устал.

— Ну должен же быть какой-то выход?! — не выдержал Виктор Михайлович. — Надо действовать, надо делать что-то.

— Надо! Надо, Витюша! Я вот сейчас с Рыжковым разговаривал. Спрашиваю его: Николай Иванович, какое там материальное обеспечение вы мне сохраните, если я уйду на пенсию? А он молчит, ничего не отвечает. Или не знает. Вот так-то, друг. Вы там подумайте о том, что я вам сказал. Ты меня понимаешь, Витя, для чего я ему это сказал. Пусть попробует. Глядишь, получится. Если что, ты ему подсоби.

— Обязательно, Юрий Владимирович. Мы еще вместе не один кроссворд разгадаем.

— Да! Да! Думаю, времени у меня не так много, как хотелось бы, но месячишко-другой я еще протяну. Одна беда — слабею сильно. Нет сил ни в руках, ни в ногах. Все время соленого хочу. Ты в следующий раз придешь, помидор хотя бы один мне принеси. Такой, знаешь, бочковой, настоящий. А то Чадов хоть и друг, но тиран, ничего не разрешает.

— Юра, все сделаю. Не волнуйся. Завтра принесу или с помощником передам.

— Вот и хорошо! — облегченно сказал Андропов и облизал сухие губы. Его большой лоб покрылся капельками пота.

Чебрикову стало так жалко своего друга, что он не заметил, как слезы неожиданно нахлынули на глаза.

— Не смотри на меня так, Витя. Говори, что хотел спросить.

— Что делать с Александровым?

— А как он на новом месте?

— Изображает из себя новатора в науке и международных делах. Людям не понравился. Это первое впечатление. Обещает навести порядок и выстроить новую концепцию развития. Вчера вечером был приглашен к Горбачевым.

— Михаил не догадывается о нашей работе по этой проблеме? — спросил Андропов.

— Думаю, что нет!

— Это хорошо, Витя. Горбачева надо от него оградить. Он хоть и крепкий мужик, но доверчивый. Помогите ему! Я дам отмашку в ЦК, а ты подготовь материал, правильный и конкретный. Мне мои помощники недавно рассказали, что там, в окружении Михаила, много всякого воронья собирается.

Видя, как Андропов постоянно облизывает сухие губы, Чебриков подал ему стакан воды.

Отпив глоток, Ю. В. продолжил: — И главное, у меня есть ощущение, что всеми нашими процессами как-то пытается управлять со стороны. — Он посмотрел на Чебрикова. — Ты меня понимаешь, откуда ноги растут?

— Да, конечно, Юра! Все, хватит. Отдохни. Утомил я тебя.

— Нет! Мне хорошо. Здесь плохо, когда никого нет из близких. Сейчас Таня придет. Поить меня будет бульоном.

— Юрий Владимирович, извини, но очень важно для одной разработки: при тебе были случаи, когда наши люди кого-то ликвидировали с помощью медицины? Ну, скажем, помогли безболезненно уйти?

— А что ты у Чадова не спросишь? — заметил Андропов с горечью. И добавил: — Вот, видишь, даже тебя эта тема заставила усомниться. Никогда, Витя, мы в КГБ,

во всяком случае, в мою бытность, не занимались этим, тем более по отношению к нашим людям. Никаких отделов «Х» у нас не было. Это все либеральные страшилки отщепенцев.

— И даже с Кулаковым?

— И даже с Кулаковым. Я сам выезжал на место. Была крупная подстава. Звонил кто-то из МВД. А кто, так и не узнали. Все участники мертвы. Документы я распорядился...

Дверь приоткрылась, и появилась круглолицая, невысокого роста женщина, Татьяна Филипповна.

— К вам можно, больной?

Из Кунцевской больницы ехать недолго, не больше двадцати минут. Всю дорогу Чебриков думал об Андропове. А в голове возникали строки из недавно представленной ему справки из аналитического управления. «Анекдоты: "В кабинете у Андропова висит портрет Пушкина. Журналист спрашивает: "Юрий Владимирович, а почему не Дзержинского или Менжинского?" — "Так ведь Пушкин первый сказал: "Души прекрасные порывы!.."» Ничего не скажешь, гнилая наша либеральная интеллигенция. А как стучит. Знал бы кто. Нельзя! Виктор Михайлович ждал, когда генерал Пономарев доложит результаты группы, специально занимающейся анализом последних смертей руководителей партии и правительства. Ему уже доложили, что очень аккуратно проводились встречи с персоналом клиники. Были организованы наблюдения за ведущими специалистами, активизировали работу агентуры. Работники комитета заново подняли все акты вскрытия, все заключения о смерти. Подвергли повторному анализу фактологический материал. Теперь оставалось ждать результата. И Чебриков его с нетерпением ждал.

ГЛАВА 14. ИСТИНА — ЭТО ТО, ЧТО НАС УСТРАИВАЕТ

Александров оказался в доме у Горбачевых, в их московской квартире, впервые после приезда.

— Сказываются художественный вкус и высокая культура хозяйки! — Это были его первые слова, когда он перешагнул порог жилища.

— Проходите, пожалуйста, Николай Яковлевич, Миша на кухне занят. Это ваши тапочки. Надевайте. Ковер шелковый, таких всего несколько штук, — сообщила Раиса Максимовна.

— Красиво у вас, молодцы!

Он прошел на кухню. Друзья обнялись. Горбачев резал колбасу. Александров прищурил глаза:

— А я к вам не с пустыми руками.

И он извлек из портфеля две бутылки шампанского пятидесятилетней выдержки.

— Cristal — напиток королей, изготавливается домом Louis Roederer.

— Кончай умничать, — остановил его Горбачев, — мой руки — и к столу. Разбаловался ты, Николай, на буржуазных харчах. Надо к нашим привыкать. Шампанским пусть Раиса Максимовна балует, а мы по водочке ударим. И будет у нас полный консенсус. Все при своем интересе.

Сидели, болтали, шутили, вспоминали приезд в Оттаву. Затем тихо-тихо перешли к делам.

— Ну, как ты на новом месте?

— Пока ознакомился весьма поверхностно! Работы, думаю, будет много.

— Ты сильно не увлекайся. Я тебя скоро в ЦК заберу. Ты мне там нужен больше.

— В ЦК меня не пустят. Андропов не допустит этого! — с горечью в голосе произнес Александров.

— Ерунда все это! Сегодня на хозрайстве Черненко. А этот сделает все, что я ему скажу.

— С чего бы это? — удивился Александров.

— Ты не смейся, но там, наверху, своя кухня. Он спит и видит, когда его изберут генсеком. Говорит, потом и умирать не страшно. Я с ним часто беседую, это не Громыко. Мистер Нет к себе близко не подпускает. Но и это поправимо. Мы работаем с теми, кто на него влияет. Ты же понимаешь. Не только наверху вся каша варится. Но наши аксакалы про это забыли. Жалко очень, что Андропов скоро отойдет в мир иной. — Горбачев посмотрел с опаской по сторонам. — Я знаю, ему ничего не помогает и уже не поможет. Шансов никаких. Организм изношен. Мне так и сказали.

— Значит, надо действовать?

— А ты что, думаешь, мы тут даром хлеб едим? Все под контролем. Все схвачено!

— Мне что надо делать? — спросил Александров, сгорая от нетерпения, но вопрос задал как можно спокойнее, как бы показывая свою значимость и незаметность.

— Тебе, Николай, надо подготовить идеологическую почву наших преобразований, перестройки всего уклада жизни. Главное — ориентация на открытость и гласность и свободу слова.

Александров усмехнулся. Для этого необходимо всех антисоветчиков и диссидентов переименовать в прогрессивную интеллигенцию. Или, чего хлеще, назвать элитой общества! Иначе не получится. Только вместе с этими людьми можно уничтожить старые догмы и стереотипы мышления.

— Убить советскую мораль можно, только посеяв сомнения в ее сущности, — заключил Александров и, глядя в упор в обалдевшее лицо Горбачева, добавил, как бы подводя черту своему умозаключению: — Нужно вытащить на свет истину!

— Какую, на хрен, истину? — не понял Михаил Сергеев.

— Нашу истину! Которая нам нужна для перестройки.

— Этого никак нельзя! — возразил Горбачев. — Это опасно и рано. Надо тихо, шаг за шагом, метр за метром, но каждый день вдалбливать, что товарищи завели нас не туда. Сверху вдалбливать. Понимаешь? У нас, если вдалбливать сверху, — это реформы, если снизу — это революция. Нам никакой революции не надо. А то повесят, как Муссолини, ногами вверх, и крышка! — заключил Горбачев.

— Я это и имею в виду, — согласился Николай Яковлевич. — Но чтобы работа была эффективной, важно скомпрометировать базисные ценности. А для этого нужны новые ориентиры и новые кумиры.

— Вот ты, — остановил его Михаил Сергеевич, — этим и займешься, а пока надо серьезно готовиться.

Домой Николай Яковлевич ехал окрыленным: новая работа, новые перспективы...

Александров думал, что здесь, в Москве, после десяти лет отсутствия его ждут непростая жизнь, подозрения, разбирательства. Но все складывалось как нельзя лучше.

Попив с женой чаю и обсудив последние новости, он впервые уснул мертвецким сном, с каким-то праздничным чувством облегчения.

Утром, хорошо позавтракав, отправился на работу, по дороге планируя множество дел. Не успел он войти в свой кабинет, как в дверях возник заместитель.

— Вы уже слышали, Николай Яковлевич?

— Что? — спокойно спросил Александров.

— Андропов умер!

ГЛАВА 15. ПРИНУЖДЕНИЕ К ДОБРУ

Пенсильвания-авеню, 1600.
Белый дом. Наши дни. 11:15

В подвальном зале для заседаний высшего руководства, построенном в 1948 году президентом Трумэнном, собрались представители силового блока — председатель Комитета начальников штабов, директора АНБ, ЦРУ, ФБР и их заместители, помощник президента по национальной безопасности, несколько сенаторов и конгрессменов. Кроме того, в зале находились два приглашенных представителя из финансового мира — Дональд Линк и Ричард Пауэр.

Присутствовал еще один человек — высокий, сухощавый, с монголоидным разрезом глаз под седой шевелюрой волос, в котором легко угадывался Войцех Кржвинский. Прессу не приглашали, совещание было закрытым.

Президент вошел в зал, ведя под руку грузного пожилого джентльмена. В нем невозможно было не узнать монстра политической интриги Генри Бесенжера. Президент тянул с выступлением, шутил с присутствующими — ждал кого-то или чего-то. И действительно, вскоре в зал вбежал госсекретарь. Обнажая десны в своей неповторимой улыбке, он вручил президенту тоненькую папку и с чувством исполненного долга уселся на передний ряд.

— Господа! — обратился президент к собравшимся. — Все присутствующие в этом зале неплохо потрудились для того, чтобы я огласил выводы по нашей совместной работе по оценке внешних и внутренних угроз, которые стоят сегодня перед Соединенными Штатами Америки.

Он говорил долго, называя страны, апеллируя к цифрам, всячески подчеркивал достижения своего

президентства. Особо остановился на внешних факторах — на проблемах, которые сегодня ставят жизнь и которых еще не было в истории Америки никогда.

— Сегодняшняя Америка никогда еще не добивалась такого могущества, такого тотального влияния на мир. Все это стало возможным благодаря тому, что в стране величайшей экономики, породившей образец демократии и верховенство цивилизационных ценностей морали и нравственности, ставших эталоном для подражания для всего человечества, была создана невиданная по своей мощи финансовая система. Которая этап за этапом, год за годом привязывает к себе финансово-экономические системы других стран. И сегодня Америка располагает таким усовершенствованным механизмом управления экономикой мира, что ни одно государство не может и шага ступить без оглядки на США.

Однако всему нашему достоянию объявлена война. Мир нас ненавидит, как ненавидят маленькие и злобные карлики мощных гигантов. Это природа. Одни ненавидят открыто — это Россия и Китай, другие — тайно улыбаясь, это Европа и Япония. Ясно одно, друзей у нас в хорошем смысле слова мало. Вы это знаете хорошо, потому что именно ваши люди контролируют и слушают весь мир и знают, где, кто и как дышит.

Особую опасность представляет современная Россия. Именно она является мотором нового мироустройства, неприемлемого для нас. Увлечшись своими локальными делами, мы не заметили, как над нашей страной завис дамоклов меч. Мы прошли точку невозврата. С их президентом невозможно разговаривать. Он не приемлет ни нашей политики, ни нашей культуры. Россия считает себя преемницей СССР и говорит нам: все, баста однополярно-

му миру! Если в Европе кто-то стрельнет без нашего ведома, мы ударим атомной бомбой. Нам, говорят они, надоели ваш демократический диктат, ваши притязания. — Президент сделал глоток воды и продолжил: — К сожалению, это становится похожим на правду. Короче говоря, дело обстоит так, что нам надо или дружить с нашим потенциальным врагом, или перейти к открытой конфронтации, то есть к холодной войне. Раньше у нас в России была опора — либерально-демократическая интеллигенция, которая в итоге оказалась беззубой, народ ее презирает. И она сегодня влачит жалкое существование. Сколько ее ни корми, толку нет.

Но самое опасное в том, что появляются технологии, которые могут уничтожить в одночасье созданные нами правильные понятия о демократии, об американском образе жизни, об американской мечте и о людях, для которых она исполнилась.

Сейчас Дженифер Джонс со своим помощником продемонстрируют вам один из таких идеологических и технически нам еще недоступных приемов нашего вероятного противника.

Он спустился с трибуны, сел на свободный стул между госсекретарем и директором ЦРУ. На большом экране появился президент со своим обращением, которое всех повергло в шок.

И снова история повторилась. Присутствующие подняли невообразимый гвалт. Кто требовал выключить, кто называл происходящее провокацией, подделкой.

Зажегся свет. Президент снова водрузился в чрево трибуны.

— Нет, это не подделка. И это вам докажет любой авторитетный эксперт. Но это не я. И я этого не говорил. Вот какие угрозы перед нами ставит современное человечество! Вы понимаете? Я хотел

бы послушать ваши соображения по поводу всего того, что я вам сейчас сказал. Не стесняйтесь, давайте советы, выдвигайте предложения. Ставьте острые вопросы. Перед лицом стоящей угрозы мы должны быть как никогда едины и собраны.

Первым выступил директор ЦРУ Сильвер. Несмотря на то, что он уже слышал и видел это выступление, он не помнил ничего. Речь для него была открытием. И, естественно, он назвал запись диверсией, откровенной идеологической бомбой, направленной на дестабилизацию обстановки в стране. Он согласился с президентом в том, что Россия значительно окрепла, но не настолько, чтобы представлять угрозу для США.

В заключение он сказал следующее:

— Мы тщательно мониторим ситуацию у всех наших вероятных противников и действий, несущих реальную опасность США, не видим. И я не верю, что это сделали русские. Хотя думаю, что они это уже могут. Это технически несложно. Я разговаривал с директором АНБ, и мы считаем, что современные технические возможности для этого есть. Но подделка все равно обнаруживается. Но здесь не стиль русских, мы убеждены! И будьте спокойны. Мы внимательно следим за всем, что творится в мире.

Затем выступил председатель комитета начальников штабов. Он остановился на возросшей военной мощи России как самого теперь уже вероятного противника. И тоже усомнился, что это дело рук русских. Закончил он тем, что призвал всех никогда не воевать с русскими.

— Раньше, пятнадцать лет назад, ракеты русских могли нас уничтожить три раза, мы их — двенадцать. Сейчас же у нас такой гарантии нет. Русские активно создают свои буферные зоны. Как

континентальная держава, они действуют абсолютно логично, ожидая атаки с моря. Но я бы никогда не рискнул с ними воевать.

— Ну, вы, мой дорогой Джордж, прямо пацифистом стали. Не к лицу это главному военному страны.

Председатель комитета начальников штабов отреагировал на реплику с ходу:

— Россия — не Ирак. Это не туарегов в горах беспилотниками гонять. Я бы не хотел, чтобы созданный нами мир был уничтожен в одночасье.

После этого было еще много выступлений. Одни президенту нравились, другие не очень. Ему хотелось, чтобы его имя прозвучало в имеющихся достижениях и успехах. Но об этом никто не сказал.

В конце концов слово дали Дональду Линку. Тот не спеша вскарабкался на трибуну. Шикарной блондинки рядом не было, и потому он мог себе позволить покряхтеть. Из-за трибуны по причине его щуплости и маленького роста торчала только седая голова, и потому внешне все это напоминало флакон из-под одеколona.

— Я, дорогие друзья, выступаю здесь пятый раз. Первый раз это случилось в 1970 году при президенте Никсоне. Тогда он готовил новую стратегию обеспечения мира. И так же, как сейчас наш президент, решил посоветоваться со знающими людьми. Правильно я говорю, Генри? — обратился он к Бесенжеру.

— Абсолютно, Доди!

— С тех пор прошло пятьдесят лет — по статистике половина человечества до такого возраста не доживает. Полвека прошло. Но ничего не изменилось. Тогда мы проиграли войну во Вьетнаме. И во всех смертных грехах обвинили Советы, то есть Россию. Она была врагом номер один. Что

мы видим сейчас? Да то же самое! Что изменилось?

Тогда наш финансовый истеблишмент преподнес на блюдечке администрации, конгрессу и сенату финансовую схему изменения мира. В свою пользу! Над этим работали лучшие умы нации. ЦРУ, ФБР, АНБ. В конце концов механизм заработал. Господин Крежинский подготовил идеологическую подоплеку разоружения Восточного блока.

Но нас, видите ли, сильно озадачило, а некоторых даже напугало, что вместе с Восточным блоком неожиданно развалился Советский Союз. И мы вместе того, чтобы разорвать его, мы, счастливые и довольные, два десятилетия думали, что с ними делать, как бы лучше поиметь? И в результате из того яйца, из которого мы собирались сделать яичницу, но забыли на подоконнике, неожиданно вылупился крокодил. И теперь выгоняет нас с нашей собственной кухни. — По залу прошел рокот одобрения. — Получается, что Джордж Буш-старший был абсолютно прав, предупреждая нас о том, что надо было поддерживать Горбачева, а не разваливать Советы. Возрожденная Россия куда опаснее СССР.

Кто в этом виноват — военные? Нет! Разведка? Нет! Все было так хорошо, денег хватало на все. Причем легких, ничего не стоящих денег! Мы знаем, что ничто так не развращает человека, как легкие деньги. А власть — что человек, те же страсти. В итоге мы сели на иглу. И имеем то, что имеем. Я вам скажу больше. Этот кризис закончится только тогда, когда финансовый мир поменяет приоритеты. И у нас будет отличная от сегодняшней ситуация, появится возможность влиять на экономику мира. Мы, конечно, что-нибудь еще замутим. Золота у нас достаточно. Тем более что объединенная Европа прак-

тически весь свой золотой запас хранит у нас. Но для начала надо сделать выводы, трезво дать оценку своим действиям. И не надо искать виноватых на стороне. Мы все виноваты, что не добились России и подняли Китай. Надо снова играть в доброго «дядюшку Сэма». Иначе БРИКСы и им подобные лишат нас удовольствия почивать на лаврах в ближайшие годы.

К Линку подошел сотрудник протокола и попросил текст выступления. Не долго думая, Дональд раскрыл две странички текста.

— Друзья мои, Бог свидетель — я читал выступление, которому сорок четыре года. Я здесь почти ничего не изменил. — Все поощрительно, с пониманием загудели. — Я говорю чистую правду и рву на ваших глазах эту бумажку. И хочу сказать вам, что я думаю сейчас. Даже в вашей среде многие люди, несущие ответственность за безопасность Америки, иногда наивно рассуждают: а зачем это мы залезли в Ирак, повесили Саддаму Хусейна? Все зря: химического и ядерного оружия там не оказалось. Людей поубивали, страну разграбили — единого государства нет.

Или что мы сделали с Ливией? Зачем помогали повстанцам против режима Асада в Сирии? Я вам скажу: так думают наивные люди! И я вам объясню, почему. Мы — самая богатая страна мира. Мы умудрились впервые создать на Земле миропорядок, который угоден нам, Соединенным Штатам Америки. Государству без рода и племени, которое еще двести лет назад считали изгоем, пристанищем беглых, ненужных своим странам искателей приключений. Но сегодня мы управляем этим миром. Вчерашние наши гонители — сегодня наши вассалы. (Бурные продолжительные аплодисменты.)

И произошло это только потому, что мы знаем, как, когда и сколько в этом мире можно сделать денег.

Не было в этом мире войны, которая бы приносила людям богатство и благополучие. Мы сделали и такую войну — Вторую мировую, потеряв 400 000 своих сынов. Америка вышла из нее самой богатой страной мира.

Теперь же нам войны жизненно необходимы по простой причине: мир должен видеть — мы делаем что хотим. Даже если делаем неправильно. Да, мы признаем, что разбомбили какую-то страну ошибочно, мы это можем. И народы преклоняют перед нами колени, потому что мы — Америка. Мы должны быть постоянно на слуху. В любой точке земного шара есть наши интересы. И, как я понимаю, уже даже дальше...

В заключение хочу еще раз подчеркнуть: чтобы богатеть, надо постоянно где-то воевать. Это полезно для каждого доллара, для нации — она становится более патриотичной и медленно, но уверенно начинает думать: правильно! Потому что для нации мы улучшаем условия жизни. (Бурные продолжительные аплодисменты.)

Миру необходимо перманентное состояние напряженности. Это подчеркивает нашу силу, величие, дает стимул для экономики. И не дает возможности другим народам поднять голову. Я целиком поддерживаю нашего президента и хочу повторить свое предложение — то самое, которое сделал в конце 80-х годов относительно русских. Хотите их замочить — давайте уьем цены на нефть до восемнадцати долларов за баррель. И все повторится сначала. Они сдохнут от безденежья. У меня все!

Затем дали слово Генри Бесенжеру. Старожил американской дипломатии говорил недолго.

— Я со всем, что здесь говорилось, в целом согласен. В этом мире не меняется ничего, просто меняются условия. Условия в политике меняются как погода. Это жизнь. Надо учиться воспринимать это как норму и соответствующим образом реагировать. Сейчас же мы действуем тупо, словно зомби. Или как слон в посудной лавке.

У нас очень сильно за последние годы упал уровень эффективности работы дипломатического корпуса. Это недопустимо для нас. Я не вижу ярких, выдающихся личностей в среде дипломатов. Думаю, что причиной тому является чрезмерное сотрудничество ЦРУ и Госдепартамента. И наше увлечение фобиями. Бездумное увлечение! И как результат, ЦРУ утрачивает то, что у него осталось от разведки. А Госдеп из дипломатического офиса превращается в структуру ЦРУ. Это опасно и вредно.

Наконец слово дали Войцеху Крежинскому, который в своем выступлении не стеснялся в выражениях в адрес предыдущей администрации, открыто обвинил ее в беззубости и недалекости относительно России.

— Русские, — говорил он, — как черт из табакерки — в одно мгновение выскочили, и все изменилось в этом мире. Так, как будто и не был уничтожен Советский Союз с его военным потенциалом. Многие снова смотрят в сторону русских. Вы меня спрашиваете, почему? А я вам отвечаю: не добились мы советскую Россию. Слишком рано успокоились. Мы думали, что у них всегда будут политики типа Шеварднадзе или Козырева, которые станут постоянно смотреть нам в рот и спрашивать «чего изволите, господа?», и агенты нашего влияния в Москве и Восточной Европе всегда будут послушно исполнять нашу волю. Россия встала на ноги. И не удивляйтесь,

если завтра вы, проснувшись, обнаружите, что мир совсем не тот, каким его представляет себе Америка.

Сейчас самое подходящее время ударить по России волной сепаратизма. И главную роль мы отводим Украине. Она должна быть под нашим и только под нашим контролем и влиянием. Важно, чтобы Украина решительно смотрела на Запад. Я обращаюсь к вам, господин президент, — обернулся Крежинский к председательствующему, — надо нашим соответствующим службам, Госдепу всячески поощрять антироссийские настроения и, в первую очередь, в самой России и на Украине. Не допускать никаких интеграционных процессов. А лучше — это будет идеально! — развязать военный конфликт между Украиной и Россией. Маленькую такую войну, чтобы мир увидел, как русские поступают с теми, кто не хочет быть под их протекторатом. Европа нам поможет. (Бурные и продолжительные аплодисменты.)

Итоги подвел президент. Вернее, он собирался это сделать и уже привычно занял господствующее место за трибуной. Окинув присутствующих взглядом, сделал паузу, подразумевающую величие его речи, как вдруг раздался треск и неприятный шум, совершенно несвойственный данному мероприятию: экран телевизора стал медленно набирать свечение, становясь все ярче и ярче, и превратился в абсолютно светлое пятно, нестерпимое для глаз. Полная невесомость вдруг возникла в зале. Неожиданно откуда-то из света вышел человек, одетый в белую тунику. Он будто перешагнул через пространство и оказался в кругу присутствующих.

Президент и остальные летали по залу, как рыбы, пытаясь вздох-

нуть побольше воздуха, неестественно двигая руками и ногами.

Неизвестный сделал жест рукой, и все замерли на месте, продолжая оставаться как бы в невесомости. Но это была только иллюзия, которую создавал свет.

— Разрешите приветствовать вас, господа, от имени народов планеты Флорентиды, которая находится невозможно далеко от вас, жителей Голубой планеты, на обратной стороне Солнца. Цель моего виртуального визита — растущее чувство тревоги за вашу и нашу планеты. Дело в том, что пятьдесят тысяч лет тому назад у вас, как вы говорите, на Земле, произошел страшный коллапс. Война с применением оружия огромной разрушительной силы.

В итоге ваша цивилизация была уничтожена. Но пострадали и мы. Потому что мы с вами находимся на одной оси и вращаемся вокруг Солнца с абсолютно одинаковой скоростью, на абсолютно одинаковом расстоянии от него.

Вселенная состоит из одного и того же строительного материала. Везде есть все то, что и на наших планетах. Но разумная жизнь есть только у нас с вами в нашей галактике. Пятьдесят тысяч лет назад, когда мы находились где-то на одном уровне развития цивилизации, был нанесен сокрушительный удар и вам, и нам. Из-за вашей войны у нас активизировались вулканы, начались наводнения. Произошло глобальное изменение климата. Вы спросите, почему?

После войны скорость движения вашей планеты упала на три километра в час, нарушился процесс синхронизации. Произошли смещение оси и коррекция орбиты. Потребовалось десять тысяч лет, чтобы все встало на свои места.

Но с тех пор мы постоянно ведем замеры вашего биологиче-

ского поля. Производим тестовые замеры его возбуждаемости. Это является главным признаком агрессии и снижения интеллекта. Сейчас такой территорией, со сниженным интеллектом и повышенной агрессией, является ваша страна. И вы вызываете ответную реакцию. Вы на грани катастрофы. Остановитесь. Иначе мы вас будем мочить в сортире! Так у вас, кажется, говорят, когда хотят принудить к миру. Мы не позволим, чтобы такая трагедия повторилась дважды. Любите вашу Землю. Из глубин космоса результаты вашего труда на Земле видятся пока еще как плесень. Много надо времени, чтобы из этой плесени

выросли цветы. Надо быть разумными и понимать, что люди и страны — не хозяева Земли. Они всего лишь одни из ее обитателей, она — ваш дом. Так любите его и всех в нем живущих. Я знаю, вы хотите спросить о Боге. Я вам отвечу. Бог везде! Будьте благоразумны. Не вынуждайте вас наказывать. Благоразумия и процветания вам... люди.

Свет погас так же внезапно, как и зажегся. Пропал и Эвон — человек без волос и во всем белом.

Все оказались сидящими в своих креслах. Эффект от неожиданного выступления

оглушил и ошеломил присутствующих. Каждому казалось, что это произошло только с ним одним. Президент замер на трибуне, облокотившись на нее всей худощавой фигурой. Казалось, он на ней лежит.

К нему подбежали Дженифер Джонс и руководитель протокола: — Что с вами? Как вы?

— Спасибо, все хорошо! Что-то привиделось, и слабость. — Он поднял голову. Увидел собравшихся в малом зале людей, и ему стало все ясно. Время изменилось, теперь в жизни этих людей все будет измеряться тем, что было до этого события и что будет после.

Окончание следует.



Александр БРЮХАНОВ

Добрый день, я, Александр Брюханов, родился в Санкт-Петербурге в 1956 году, где и живу. Образование высшее техническое, работаю менеджером, печатаюсь с 1984 года. Сейчас печатаюсь практически во всем, где печатают юмор...

ПТИЧКУ ЖАЛКО

Последние дни зимы заглядывали в окна солнечными зайчиками.

Начальник оторвался от бумаг, снял очки, протер их, потом снова надел и посмотрел на посетителя, нахохлившегося, как ворона:

— Что там у вас?

Посетитель тут же, как фокусник из шляпы достает кролика, вынул из портфеля пачку бумаг, положил перед начальником, вложил тому в руки авторучку и вкрадчиво произнес:

— Подпишите, пожалуйста, вот здесь, — и улыбнулся.

Начальник поправил очки, словно это был его главный рабочий инструмент, и удивленно произнес:

— Что это?

Посетитель улыбнулся еще шире:

— Это разрешение на строительство домиков для птиц...

Начальник вновь нервно начал протирать очки:

— А разве надо разрешение?

Посетитель, улыбаясь еще шире, пояснил:

— Так домик же многосемейный.

Наконец начальник надел очки и нахмурился:

— А почему ваш домик в центре города на территории парка?

Посетитель сел вальяжно и развел руками:

— А где же еще ему быть, чтобы радовать жителей центра? Пора уже нам позаботиться о пти-

цах — приблизить их, так сказать, к себе, тогда и они раскроются и подпустят вас к себе ближе. Много ли в центре вы видели птиц? Надо сделать для них что-то хорошее.

Начальник напряженно прочитал поданные ему бумаги, и брови его постепенно поднялись над дужками очков:

— А зачем вам для птиц гектар земли?

Посетитель, не переставая улыбаться, вздохнул:

— Во-первых, птицам нужен простор. А во-вторых, мы еще построим бассейн для птиц, игровую площадку — пусть птицы играют, несколько кормушек, стоянку, если они постоять захотят... И вы поймите, птицы очень благодарные создания и долго помнят тех, кто сделал им добро. К тому же и для ваших птиц там всегда найдется место.

Начальник вытер пот, внезапно выступивший на лбу:

— Ладно, так и быть, подпишу из любви к птицам, но учтите, я приеду и все проверю.

Он встал, собрал с маленького столика, на котором стоял кофейник, крошки, подошел к открытому окну, вытянул руку и подманил:

— Гули, гули, гули...

Лето вступило в свои права. Автомобильное море тихо плавало над городом.

Начальник шел, задрав голову, вдоль стен внезапно выросших в парке многоэтажных домов и то и дело охал.

— Стойте, стойте, не торопитесь, — поддерживал его за руку весенний посетитель, чтобы начальник не упал в незарытую траншею с какими-то проводами.

Начальник вытер платком пот со лба, посмотрел ничего не понимающими глазами на давешнего посетителя:

— Это что? Вы же говорили, домик для птиц! Где птицы и что это за дома?

И начальник снова задрал голову. В небе парили чайки. Весенний посетитель подвел начальника к будке охраны и показал на висящую там клетку с попугаем.

— Сейчас только попугай на месте.

Начальник показал на построенные дома:

— Вы хотите сказать, что там тоже птицы?

Весенний посетитель улыбнулся так широко, как только умел:

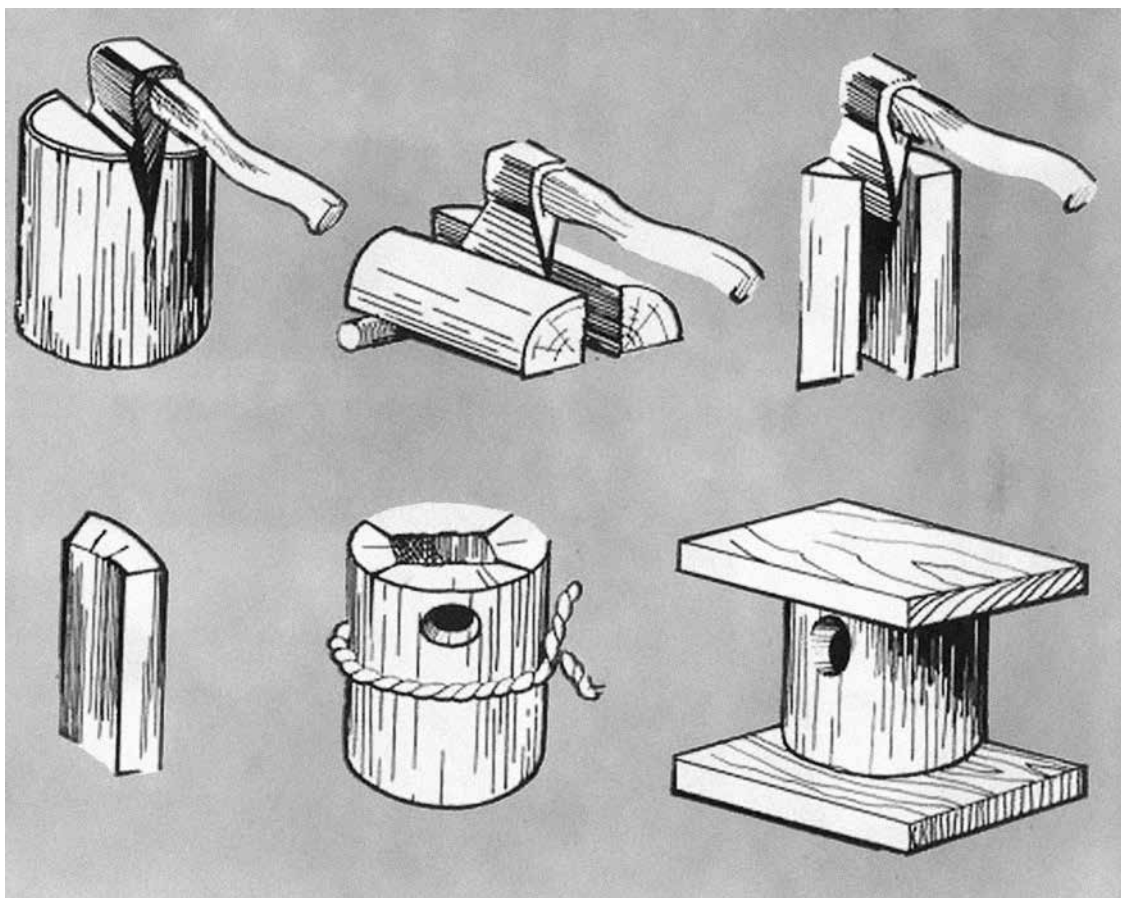
— Ой, там птицы такого высокого полета, что нам с вами и не снилось. Кстати, птицы просили передать, что приглашают вас посетить места зимовки птиц — в Египте или Турции — на выбор...

В это время попугай в клетке встрепенулся и хрипло проорал:

— Птичку жалко, птичку жалко, птичку жалко...

Начальник, взмахнув черными рукавами как крыльями, тяжело побежал по стриженому газону, хрипло выкрикивая:

— Кар, кар, кар...





А Вы как думали? — «на всякий роток не накинешь платок». Не ваша беда, что пословицы смысл не поняли, а беда ваша в том, что семь раз не отмеривши отрезали.

...Это тебе «не шухры-мухры», «не то, что с боку-припеку», — «все чин-чинарем»... Да неувязачка вышла. Словосочетание «во щи», в этой поговорке, пишется слитно — вощи. Теперь понятно? Нет.

Пока суть, да дело... о! и я о том же: суды, да дела судебные оставим М. Тарасенко, редактору еженедельника, — поговорим о поговорке. Произошло что-то «из ряда вон выходящее» — надо скорее меры какие то предпринять, а человек, к примеру, пытается рассказать, что к тому привело, да как дело было «до того как...», а ему: «Пока суть, да дело — некогда, поспешать надо, потом выяснять будем»...

И охота себя «курам на смех» выставлять?

«Зарубите себе на носу»: «что записано пером — не вырубить топором... «на те, небоже, что нам негоже».

Лично Марианне: «Мели, Емеля, твоя неделя» (да, ей же надо растолковать, а то все «шиворот-навыворот» норовит: говори сколько хочешь, все знают, что ты несешь вздор) и еще: «Слышал звон, да не знаешь где он» — употребляется о том, кто сам недостаточно знает, о чем говорит.

«Хорошо смеется тот, кто смеется последним», только смеяться совсем не хочется: «Как беден наш язык! / Пожалуйста, говорите по-русски!»*

Альбина Тер

Галка ГАЛКИНА:

Все правильно, Альбина Батьковна! Не в бровь, а прямо в глаз! Убили наповал. Уничтожили и прах рассеяли над океаном.

Но ведь и то дело, что слово не фунт изюму: выскочит — не поймашь. А ты не плюй супротив ветра, потому как пригодится воды напиться!

Язык языку весть подает. Язык языку ответ дает, а голова смекает: чего и как!

А ежели не смекает, то на словах — что на саях, а на деле — что на копылэ.

И смех и грех!

Рана от рогов заживает, язвы от языка не-а!

Смешно, потешно разговаривать про ночешно. Про то Ожегов писал, кажется, а может, не писал, кто его ведает, лешего.

Словом, прощельги эти, лингвисты с филолухами, напрокудили, а мы, простые люди, теперь разгребай эти, понимаешь, конюшни!

По мне так лучше: как слышится, так и пишется. Как чешется, так и хочется.

А не хочется, так семь раз отрежь не в бровь, а в глаз!

И не об чем больше говорить!

Или — не говорить!

* Орфография и грамматика оригинала.

Проказник* ГЕО, человек-альбатрос

ЭСКАЛАТОР

- ❖ Я вчера читал Бодлера,
выбегая из вольера!
- ❖ Я вчера читал Камю
и теперь себя корю!
- ❖ Я вчера читал Дюму,
ничего там не пойму!
- ❖ Увлекаюсь я Духлесом,
подружился с райсобесом!
- ❖ Я вчера читал Бианки
и нашел в лесу поганки!
- ❖ Я вчера читал Золя
и встречал зарю, шаяля!
- ❖ Я вчера читал Стендаля,
оторвусь теперь едва ли!
- ❖ Я вчера читал «Му-Му»
и попал на Колыму!
- ❖ Запретили вдруг «Каштанку»
за сплошной разгул и пьянку!
- ❖ Стал булгаковским котом
иль каким другим скотом...

PHOTOSTOP

© Фото Игоря МИХАЙЛОВА



* Мужик-проказник
работает и в праздник (народная мудрость).



Фаза месяца:

Бледно да ярко!

ЭКСКАВАТОР

- * Я чапаевцем бы был,
Анку б в гости б заманил!
- * Я б тимуровцы пошел
в темноте и нагишом!
- * Я б в театре выступал,
но наехал самосвал!
- * Я пошел бы в рецензенты,
получал бы комплименты!
- * Я пошел бы в повара,
выдавал бы на-гора!
- * Я пошел бы тихим шагом
удавиться за оврагом!
- * Я пошел служить бы в ВОХР,
красить луг в единый охр!
- * Привели меня в ОПОП
строить доты, рыть окоп!
- * Возвратились попугаи,
всех девчонок испугали!
- * А веселый гамадрил
в зоопарке львов взбодрил!

SMS'ка, посланная на Сахалин:

Хорошо!



Инна КАБЫШ

Продолжение. Начало в № 2 за 2015 год

САША ПЛЮС ТАНЯ

Пушкинский Сальери пытался поверить алгеброй гармонию, что сделать невозможно, как и поверить алгеброй художника, создающего эту гармонию, ибо, как сказал другой пушкинский герой, всякий талант неизъясним. И все же. Как получился, в частности, такой талант, как Паша183? Какие сошлись здесь гены, слились крови? Как это было?

Пашина мать Татьяна Борисовна Беспятова родилась в 1963 году в Москве на Делегатской улице. В 1981 году здесь построят музей декоративно-прикладного искусства: бывают странные сближения. Таня проживет на Делегатской до восьми лет: здесь она пойдет в школу и проучится первый класс. Москва 60-х, и Делегатская в том числе, — место патриархальное. Соседи знают друг друга, ходят друг к другу в гости. Двор — это целый мир: мужчины играют в домино, мальчишки — в футбол, девочки — в классики и дочки-матери. Здесь цветут золотые шары и даже есть голубятня. Во дворе растут шампиньоны, которые Таня собирает, а бабушка Наталья Александровна, дворянка, в свое время окончившая институт благородных девиц, жарит. Никому не приходит в голову, что этим можно отравиться. А еще во дворе есть качели, тарзанка и «штаб» в дупле большого тополя. Неподдалеку располагается детский парк с большим количеством скульптур в духе времени: пионер с барабаном, пограничник с собакой, девушка с веслом. Таня с ними дружит. Зимой дорожки в парке заливают водой, и дети катаются на «снегурках» до тех пор, пока рейтузы на коленках не задеревенеют. С отцом, страстным фотографом, Таня ходит в ботанический сад. Отец и дочь по оче-

реди снимают деревья, цветы, уток. Еще одно любимое место прогулок — окрестности Театра Советской армии. Там тоже есть парк и пруд. Но больше нравится само здание театра — архитектурой, величием. Что и говорить — большой стиль. Здесь потом Таня будет гулять с сыном Пашей.

Скоро старые дома начнут ломать. Дети, разумеется, в восторге: в поисках сокровищ они лазают по выселенным квартирам. С высоты, а может, наоборот, из провала XXI века это кажется невероятным: дети сами, без провожатых, ходят в школу, где и в помине нет никаких охранников, сами возвращаются домой, разогревают на плите обед, делают уроки и бегут на улицу. Улицу любят. Возможно, эта любовь по наследству достанется Паше183, ярчайшему стрит-арт-художнику. Что касается его матери, то она стала рисовать с трех лет. Рисовала, как все дети, дома с красными крышами, зверей, цветы. А еще — принцесс. Причем с прическами и в нарядах определенной эпохи. Откуда трехлетний ребенок мог знать историю моды? Он с этим родился. Как и с умением шить. Таня не помнит, чтобы кто-нибудь учил ее искусству кройки и шитья. Наверное, это было наследственное: мать Тани Зинаида Григорьевна, будущая бабушка Паши183, работала модельером-конструктором в недавно открывшемся общесоюзном Доме моделей на Кузнецком мосту вместе со Вячеславом Зайцевым. Самым лучшим подарком для дочери были разноцветные лоскутки, которые мать приносила с работы. Но если рисовать и шить Таня умела всегда, то читать и писать ее научила бабушка, та самая, окончившая институт благородных девиц. Мать отца. Отец же, Бо-



Таня Беспятова, 1966 год

рис Валентинович, работал на заводе счетно-аналитических машин (САМ). Уже тогда, в 60-е годы, он говорил, что такие машины скоро будут у всех. Он ушел из жизни в 1990 году, когда его внуку, будущему Паше183, было семь лет, так что он не дождался до того дня, когда Паша САМ собрал мощнейший авторский компьютер р183.

Завод САМ дал Борису Беспятову новую квартиру — на Преображенке, куда семья и переехала. Квартира была трехкомнатная, на четверых: Бориса Валентиновича, его жену Зинаиду Григорьевну, его мать Наталью Александровну (в девичестве Панову) и дочь Таню. О, благословенные советские времена, когда государство давало своим гражданам бесплатные квартиры, когда в русском языке не было слов «ипотека» и «риелтор». Таня пошла в новую, а по сути старую и обшарпанную школу № 392 (эта школа еще всплывет в биографии ее сына), где проучилась второй класс. В 1972 году через дорогу построили школу № 376, она была ближе, и Таня перешла туда. Туда же тремя годами позже придет мальчик по имени Саша Пухов. Он родился в том же 1963 году в доме 1/15 на Котельнической набережной. (Не отсюда ли мотив высоток на полотнах его сына?)

Не все знают, что элита жила в центральной части этой высотки, а в «крыльях» располагались коммуналки. Здесь до двенадцати лет жил Саша с матерью Лидией Алексеевной Пуховой и бабушкой Раисой Сергеевной. Кроме них, в квартире жили еще тридцать три человека. Это тоже примета советского быта.

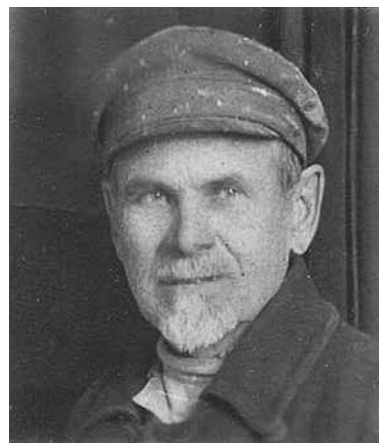
Лидия Алексеевна работала в конторе с длинным названием «Союзглавнефтькомплект» (она-то дала ей новую, двухкомнатную, квартиру на Преображенке в монументальном доме, прозванном в народе «Бастилией»). Лидия Алексеевна родила сына от Георгия Ивановича Еманова, руководителя музыкального коллектива, в котором играла на гитаре в свободное от работы время. Родители Саши не были официально зарегистрированы, но мальчик отца знал и общался с ним. По желанию матери Саша окончит музыкальную школу по классу фортепиано, но никто из сверстников — ни в школе, ни во дворе — не будет об этом знать: Саша музыку не любил и на публику никогда не играл. Может, единственный смысл девяти лет, проведенных за инструментом, в том, что Саша Пухов передаст по наследству своему сыну музыкальный слух. Но в отличие от отца Паша183 музыку будет любить. Она станет частью его художественной системы. Интересно (тут я приоткрою завесу тайны), что в том же 1975/76 учебном году, что и Саша Пухов, в школу на Халтуринской улице перейду и я. Только он придет в начале учебного года, а я — в середине.

Как я оказалась на Преображенке? Это очень короткий, длиною в три года, период моей жизни. В 1969 году погиб мой отец: попал под поезд. Ему был тридцать один год. Через четыре года мама вышла замуж. «Мама вышла замуж» — так, кстати, назывался фильм В. Мельникова, снятый в 1969 году. У меня, как у героя Н. Бурляева, появился отчим. Это теперь я понимаю, что Иван Михайлович не был ни злодеем, ни подлецом. Впрочем, и тогда я ненавидела его, если так можно выразиться, всем сердцем не за то, что он подлец, а за то, что он занял место отца. В фильме В. Мельникова хорошо показано, как «колбасит» подростка от перемен, произошедших в жизни матери. В кино герой Н. Бурляева в конце концов осознает, что у матери есть своя жизнь, и смиряется со сложившейся ситуацией. Но ему шестнадцать. Мне же было двенадцать лет. Дистанция огромного размера. В моей жизни все вышло не так, как в кино. Иван Михайлович был вдовцом и воспитывал дочь Ларису, мою ровесницу. Они с матерью радовались: как хорошо получается — девочки будут подругами. Какое-то время после маминой свадьбы

мы продолжали жить на два дома: мы с мамой в Коммунарке, теперь ставшей Москвой, а тогда бывшей Подмосковьем, а Иван Михайлович с Ларисой на Преображенке. Иван Михайлович работал в Госплане, занимался автоматизированными системами управления, то есть примерно тем же, что и отец Тани, только на другом уровне, и ему после второй женитьбы дали трехкомнатную квартиру на улице Просторной, в доме № 14, той самой «Бастилии», где годом ранее получила квартиру мать Саши Пухова. Таким образом, Таня, Саша Пухов и я оказались соседями, а потом и одноклассниками. Но последнее — позднее.

А зимой 1976 года мы с Ларисой пошли в шестой класс школы № 376. Это был шестой «Б» класс, где училась Таня (Саша Пухов уже полгода учится в параллельном). Между тем жизнь нашей семьи складывается драматично. Родственники Ивана Михайловича нашептывают: смотри, как бы мачеха не обидела сиротку. Он зорко следит за тем, сколько ложек сметаны кладет в борщ Ларисе моя мать, какой кусок курицы дается его дочери. Если отчим вдруг кажется, что Ларисе чего-то недодали, он делает внушение матери. Та, боясь прослыть злой мачехой, дает Ларсе «пожирней и погуще». Но я ревную, объявляя матери то бойкот, то голодовку. Бедная мама оказывается меж двух огней. Я пропадаю в школе. Здесь у меня любимая классная руководительница — Жанна Олеговна. Она преподает биологию и на классных часах, заливаясь слезами, читает нам «Белого Бима». По утрам я провожаю ее от дома до школы, после уроков — из школы домой. Здесь у меня любимый физик — Лев Семенович — умница и интеллект. Я дружу с хулиганкой Джинной (ее мать — почтальон, и я помогаю разносить почту) и Таней, которая хорошо рисует и делает иллюстрации к сочиняемой мной повести об учительнице Марианне Сергеевне (подозрительно похожей на нашу классную). Впрочем, я дружу со всеми, кроме Ларисы. Я не люблю бывать дома. Мама это видит. Ей за меня страшно, ей кажется, что я заболела, уйду, умру. Мама решает развестись. Подруги отговаривают: «Думай о себе. Такой муж: зарплата, квартира, дача...» Но мама думает обо мне. Уже в следующем, 1977 году, она разводится с отчимом, и они размещают шикарную трешку в «Бастилии» на две «двушки». В одну переезжает отчим с Ларисой, в другую — я с мамой. Так я на всю оставшуюся жизнь оказываюсь в Текстильщиках.

До восьмого класса Таня и Саша учатся в параллельных классах и практически ничего не знают друг о друге. После восьмого многие, как тогда было принято, уйдут в ПТУ (профессионально-



Федор Матвеевич Котов

технические училища), а оставшихся распределяют в два девятых класса: Таня и Саша окажутся в одном, девятом «А». Классный руководитель Тани Жанна Олеговна станет и Сашинной классной. Впрочем, совсем скоро она уйдет в декретный отпуск, и класс (на один год, в десятом Жанна Олеговна вернется) возьмет пожилая учительница литературы Александра Павловна.

Впрочем, наши герои этих учительских перестановок почти не замечают — она замечают друг друга. В 1978 году (когда Таня и Саша уже учатся в одном девятом классе) умрут Танины бабушка и дедушка по матери — Мария Ивановна и Григорий Федорович Котовы. «Они жили долго и умерли в один день»: так бывает не только в книжках. Жизнь фантастичнее любых книг и, во всяком, жестче. Эти бабушка и дедушка живут в семье Тани два года: их возьмут в Москву из дома под Рязанью в 1976 году после того, как в 1975-м умрет Танина бабушка по отцу — Наталья Александровна (та самая, из института благородных девиц). Григорий Федорович Котов был сыном Федора Матвеевича Котова (прадеда Тани и прапрадеда Паши 183), в свою очередь бывшего иконописцем.

Федор Котов — личность колоритная. Родившийся в 70-х годах позапрошлого века, он прожил без малого сто лет. Был членом артели «Богомазы», ходившей, как это было принято на Руси со времен Андрея Рублева, от храма к храму и выполнявшей художественные заказы. В частности, Федор Котов владел искусством фрески (живописи по сырой штукатурке) и иконописи (рисунку яичной темперой на кипарисных досках). К сожалению, его работ увидеть нельзя: неизвестно, в каких именно храмах он писал фрески, а что касается икон, то они хранились в доме, выстроено-

ном Федором Матвеевичем для себя и четверых своих детей неподалеку от Рязани. Но после его смерти, а потом и смерти его сына Григория Федоровича в доме никто не жил, и он стал легкой добычей воров. Воры не только опустошили, но и, если можно так выразиться, надругались над ним, оставив после себя разбитые бутылки, испорченные подушки, следы грязных сапог на постельном белье. Унесли посуду, чугунные утюги, швейную машинку. Холодильник уцелел только потому, что не пролез в окно. Иконы пролезли. Мы не можем оценить художественную ценность работ Федора Котова, но с большой долей уверенности можем сказать, что он передал по наследству своему правнучку Паше 183 художественный талант. И не только талант, но и посыл. Ведь что такое фреска и икона. В первом случае это то, что написано на стене, а во втором — то, что является стеной (иконостас). И еще. Это то, что написано не для ценителей живописи, а для прихожан. Но ведь и Пашина любимая поверхность — стена. Его граффити, на мой взгляд, — те же фрески. Да, это иная техника. Да, это светские сюжеты. Но важнее другое — их общий посыл. Пашины граффити тоже обращены к первую очередь к, позволю себе такой неологизм, *прохожанам*. А распятые пророки и Алёнки-мадонны на его холстах? Чем не переосмысление иконы? Существует семейная легенда о том, что перед самой войной Федор Матвеевич в особой манере написал свой портрет и повесил в амбаре. Его невестка, приняв портрет за икону, всю войну молилась перед ним, прося о том, чтобы ее муж вернулся с войны. И он вернулся.

А мы вернемся в 1978-й, а точнее, в 1978/79 учебный год. Как уже было сказано, в этом учебном году Таня и Саша заметили друг друга. Немного раньше, зимой 1977 года (в середине седьмого класса), мы с мамой переезжаем в Текстильщики, и я иду в школу № 654 — в двух шагах от дома. Это знаменитая образцово-показательная школа. Директором здесь — Анатолий Давыдович Фридман. Говорили, что, будучи совсем юным, он ездил в Переделкино к Пастернаку — показывал свои стихи. Стихи Пастернак раскритиковал, и Фридман, пережив этот удар, поступил в педагогический и стал учителем литературы. К тому времени, когда я пришла в школу № 654, он вел в ней еще и театральную студию.

Отношения в новом классе не заладились. Моих одноклассников раздражали моя начитанность, «идейность», мои стихи. В состоянии холодной войны с классом я доучилась до конца седьмого. Кстати, ко мне сюда приезжала Таня. Она по моей просьбе нарисовала два портрета — Инессы

Арманд и Жанны Лябурб, о которых я делала доклад на уроке истории. А в восьмом начались одновременно три сюжета. Меня выбрали комсоргом — специально, чтобы посмотреть, как я буду трепыхаться, оказавшись во главе класса, который бойкотирует все мои инициативы. Меня пригласили в театральную студию. В тот год ставили «Соду-солнце» — по фантастической повести Михаила Анчарова, где я играла Джоконду. А еще я решила худеть. Это был обычный комплекс девочки-подростка, недовольной своей внешностью: в больнице, куда я попаду через год, таких, как я, называли «балеринами». Это был страшный год. Меня травмировали хотя и менее художественно, но не менее жестоко, чем героиню книги «Чучело», которая тогда еще не была написана. Мама пошла к директору с просьбой разобраться в ситуации и защитить ее дочь. Но Фридман ответил, что занимается не отдельными учениками, а школой в целом (понятно, почему он был плохим поэтом). Тогда мама заявила, что забирает меня из школы. «Вы об этом еще пожалеете!» — сказал ей Фридман. «Это вы еще пожалеете!» — ответила мама и хлопнула дверью. Мама действительно забрала мои документы и отравила меня в пионерский лагерь «Голубая звезда», а сама начала поиски новой школы. Она так боялась, что я снова попаду туда, где надо мной будут издеваться, что решила вернуть меня на Преображенку: пусть придется ездить, но там будут нормальные одноклассники и любимые учителя.

Между тем, находясь в лагере, я продолжала сидеть на диете и, когда в августе вернулась домой, производила впечатление человека, вернувшегося не из пионерского, а из концентрационного лагеря. Мама поняла, что меня опять надо спасать — на этот раз от меня самой, и заметалась в поисках больницы. Но пока 1 сентября 1978 года я пришла в девятый класс 376-й школы. Там было много перемен. Во-первых, новый классный руководитель — пожилая учительница литературы Александра Павловна. Помню, что ее любимым выражением было «Без плана можно только бредить» (это о сочинении) и что она никогда не приносила на уроки тексты: все программные произведения она знала наизусть. А во-вторых, появились новые ученики: к нам попал Саша Пухов. Так я, Таня Беспятова и Саша Пухов стали одноклассниками, и буква у нас поменялась: мы стали девятым «А».

А еще в классе появился совсем новый ученик — Дима Борсук. У него была аналогичная моей история (его, блестящего физика и любителя Достоевского, тоже гнобили одноклассники), и его родителям кто-то посоветовал 376-ю школу, притом что жил он от Преображенки так

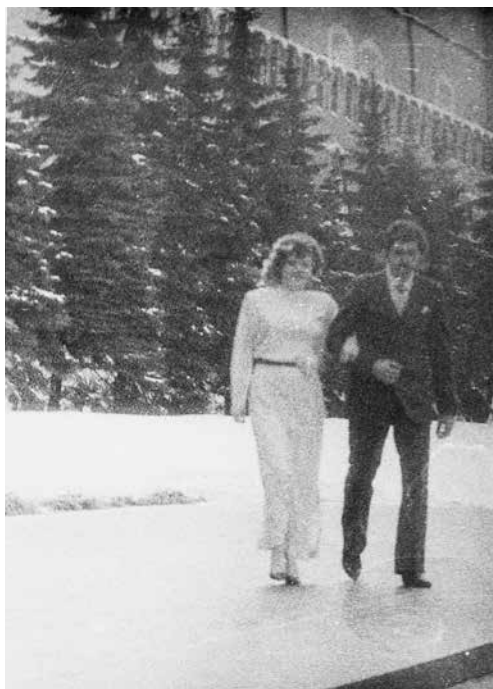
же далеко, как и я, — где-то на Алексеевской. Как-то раз, встретив меня в трамвае, Дима предложил ездить в школу вместе. Я согласилась. Но ездить пришлось недолго: 25 сентября меня положили в психоневрологический диспансер. Вернусь я только через три месяца, накануне нового, 1979 года. В этом году Таня и Саша заметят друг друга. Как это произойдет? Саша Пухов дружит с Димой Безукладниковым. Они вместе с шестого класса. Вместе оканчивают восьмой и попадают в один девятый. Иначе и быть не могло: они то, что называется «не разлей вода», «двое из ларца», «сиамские близнецы» — высокие, широкоплечие, большие. Одноклассники в шутку называют их «шкафами». «Шкафы» сидят за одной, еле-еле вмещающей их партой. Вместе проводят перемены. Вместе осваивают профессию лудильщика в УПК (учебно-производственном комбинате). УПК — это, как бы мы сейчас сказали, инновация советской школы. Один день в неделю — вторник — девятиклассники вместо школы проводят в этом самом УПК, осваивая разные, в основном рабочие, специальности. Кстати, многим это потом пригодится. Саше и Тане, учившейся на чертежницу, — в частности. (Мне не пригодится: какой из меня паяльщик!) Интересно, как это потом аукнется в их сыне: друзья будут отмечать, что Паша183 не только фонтанировал идеями, но и знал, как воплотить их технически.

В какой-то момент Таня начинает замечать, что ее из УПК провожает очень большая (точнее, двуединая) фигура. Фигура пока нема, как Герасим. Но вскоре кто-то из ребят, пользуясь отъездом родителей, устраивает вечеринку. И тут происходит судьбоносное. Девятиклассники образца 1978/79 года играют в «ручеек», и, играя, наши «сиамские близнецы» впервые разделяются. Саша выбирает в «ручейке» Таню, а потом — один! — провожает ее домой. С этого дня провожания становятся регулярными (как в той, ставшей тогда знаменитой на всю страну песне Алексея Дидурова: «...и девочка, которой нес портфель»). Дружба Пухова и Безукладникова переживает серьезные испытания. Саша (теперь вдвоем!) с Таней ходят в кино: по многу раз смотрят культовые фильмы тех лет — «Розыгрыш» и «Школьный вальс». Потом к ним добавится «Вам и не снилось», в героях которого наши герои увидят себя: родители с настороженностью будут следить за их крепнувшей день ото дня дружбой. Но до этого еще целый год.

А пока... Если Саша влюблен и понимает это, то Таня просто позволяет ухаживать за собой мальчишке-однокласснику. Самой же ей пока гораздо интереснее с Сергеем Пашоликовым —

парнем, который гораздо старше ее. Он уже студент (кстати, театрально-художественного училища). Разгораются нешуточные страсти. Однажды, подозревая, что Сергей находится в гостях у Тани, Саша выдернет из забора кол и будет поджидать своего соперника. Танина мать, Зинаида Григорьевна, увидев Сашу в окно, примет соломоново решение: оставит Сергея ночевать. Кровопролития удастся избежать. Но по-настоящему наши герои встретятся в десятом классе, точнее, на его пороге — 31 августа 1979 года. Перед этим они не видятся все лето. В августе Таня находится с родителями в подмосковном санатории. Путевка кончается 7 сентября: родители решают остаться до конца срока, а дочь отправляют в Москву: нехорошо опаздывать, все-таки впереди выпускной класс. Таня приезжает в пустую городскую квартиру и отправляется в булочную за хлебом. Туда же мать отправляет Сашу. Наши герои встречаются, и Таня впервые видит в своем однокласснике мужчину — сильного, красивого и — по уши влюбленного. Начинается новый учебный год, в котором вместо тандема Пухов — Безукладников возникает новый — Таня плюс Саша: они сидят за одной партой, он провожает ее из школы. А когда зимой Таня болеет ангиной, Саша бежит к ней на каждой перемене (благо школа через дорогу), и во время одной из них происходит окончательное сближение. Это была большая перемена.

Впрочем, новый учебный год — 1979/80 — принес много нового всем нам. Из декрета возвращается Жанна Олеговна. Александра Павловна уходит на пенсию, а место учителя литературы занимает Александра Михайловна, которая была Таниной классной в четвертом и пятом классах. Надо отдать ей должное: видя мою страстную любовь к литературе, и в частности к Маяковскому, она предлагает мне провести несколько уроков в нашем классе: «Ты это знаешь лучше меня!» Может, это станет последней каплей при выборе мной профессии. Перефразируя Маяковского, стихи и педагогика как-то объединились в голове. Класс у нас вообще был звездный: Таня рисовала, Дима Борсук был талантливым физиком, Андрей Апухин — химиком, Саша Потапов — футболистом, я писала стихи. Учителя уважали наши таланты. Помню, как-то в конце четверти, когда решалась итоговая оценка, я пришла к учительнице математики Ирине Аркадьевне и вместо того, чтобы доказывать какую-то теорему, стала читать свои стихи. Ирина Аркадьевна внимательно выслушала и, вздохнув, сказала: «Ладно, ступай, пиши дальше» (совсем как лицейский учитель Пушкина Бурцов). И поставила мне четыре.



В этом же году из заграникомандировки возвращается Лев Семенович, два года работавший в какой-то развивающейся стране: физика на английском. Поскольку его место занято, он ведет у нас астрономию. Он явно симпатизирует мне. Я же влюблена в школьную знаменитость Сашу Потапова — футболиста «Локомотива». В этом году вообще такая мода — отличницы влюблены в троечников: барышни и хулиганы. Я свою любовь тщательно скрываю. Для того чтобы быть ближе к объекту своей любви, я дружу со всеми мальчиками класса. Они частые гости у меня в Текстильщиках. Как-то накануне 8 Марта мальчики дарят мне купленного в складчину бронзового Маяковского, точную копию памятника Кибальникова. После уроков вся компания едет ко мне. Ребята привозят сухое вино, мама печет пирог с яблоками. Саша Потапов поет под гитару «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Зашедшая за солью старушка соседка осматривает компанию и, остановив восхищенный взгляд на Саше Пухове, восклицает: «Молодой Бальзак!» Он, действительно, похож. Ближе к вечеру раздается звонок в дверь: приехали разгневанные одноклассницы. Как же так — в праздничный вечер я увела всех кавалеров (не объяснять же им было, что мне нужен всего один!). Они объявляют мне бойкот. Мальчики, конечно, остаются, но праздник испорчен. Потом все парочки, разумеется, помиряются, но бойкот продолжится до самых выпускных экзаменов.

В оставшиеся до конца года три весенних месяца образуются такие расклады: Таня и Саша (порушенный тандем Пухов — Безукладников заставляет Безукладникова ближе сойтись с Борсуком, отец которого геолог. В итоге Безукладников увлечется геологией, поступит в Геологоразведочный институт и спустя несколько лет найдет месторождение золота), Лиля и Вова, Дима и Лена, я и Саша Потапов. Так сильны любовные токи, пронизывающие класс, что Жанна Олеговна волнуется, как бы чего не вышло. И она таки права. Правда, «выходит» не у тех, кто на виду: в конце мая оказывается беременной наша одноклассница Лена П., вроде ни в какой любви не замеченная. Но любовь, как оказалось, была. Просто на стороне. С Леной все обходятся крайне гуманно (никаких бичующих комсомольских собраний и педсоветов): ей дают справку об освобождении от выпускных экзаменов и аттестат. (В конце мая, сразу после последнего звонка, Лена сыграет свадьбу с отцом своего будущего ребенка, а в августе у нее родится сын. Первый ребенок в нашем классе.)

Все-таки завтра была не война, а олимпиада. В связи с олимпиадой нам уплотняют график экзаменов: хотя бы мы поскорее сдали выпускные и вступительные экзамены и уехали из Москвы. Москва наводнена милицией: милиционеры находятся буквально за каждым кустом. В конце мая мы сдаем английский, 1 июня — сочинение. Я пишу «Образ рабочего в современной литературе». А 6 июня отправляюсь к памятнику Пушкину на Страстном. Там по традиции читают стихи. И я читаю — «Евгения Онегина». А когда, вся такая высокая и прекрасная, около одиннадцати вечера, возвращаюсь домой, на меня с понятной целью нападает современный рабочий. Но не из литературы, а из какой-то братской республики. Я отбиваюсь и кричу, за соседним кустом оказывает милиционер (до сих пор помню его имя — Виктор), который меня спасает. Потом будут медэкспертиза, уголовное дело, допросы, очные ставки, суд. А пока, на следующий день, нужно сдавать математику. В школу звонят из милиции и просят проявить ко мне снисхождение в связи с пережитым стрессом. (Звонить будут перед каждым экзаменом.) За мной на своей машине приезжает Лев Семенович. По дороге в школу я со слезами говорю о том, что кругом обман, вот он какой, оказывается, современный рабочий. На что Лев Семенович возражает: «А современный милиционер?» Я молчу: действительно, милиционер — молодец. Точь-в-точь дядя Степа из книжки. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Увидев меня в синяках и кровоподтеках, девочки отменя-



ют бойкот, а Дима Борсук решает мой вариант работы по математике — я только переписываю.

Лето-80 окажется насыщенным и для меня, и для всей страны: суд, вступительные экзамены, олимпиада, похороны Высоцкого. Я проваливаюсь на экзаменах в Институт культуры, Таня — в Технологический, Саша Пухов — в Саратовское военное училище. Таня и Саша своим провалам только рады: не нужно расставаться. Таня весь следующий год работает художником-оформителем в гостинице «Молодежная», Саша — тем самым лудильщиком в конструкторском бюро «Восход» (названия-то какие: «Молодежная», «Восход» — «вся жизнь впереди, надейся и жди», как пелось в популярной в то время песне). Каждую свободную минуту они вместе. А в следующем, 1981 году, оба поступают: Таня в свой Технологический (в это время здесь преподает моделирование Слава Зайцев, но она поступает на факультет декоративно-прикладного искусства), а Саша — на рабфак Энергетического института.

Танины родители оставались большими любителями подмосковных санаториев: на ноябрьские праздники 1982 года они опять были в одном из них, и в распоряжении наших влюбленных оказалась Танина трехкомнатная квартира. Грех было терять время: Паша183, в отличие от героя песни Высоцкого, который час своего зачатия «помнил неточно», мог с уверенностью сказать, что его зачали в один из тогда красных дней календаря, а

именно — 7-го. (И те и другие родители с самого начала против союза своих детей. Но в это время выходит фильм по повести Г. Щербаковой «Вам и не снилось», и наши герои черпают силы у Юли и Романа.) Таня и Саша счастливы: они мечтают о ребенке, непременно сыне. Для него уже и имя готово. Узнав о Таниной беременности, родители (и ее, и его) смиряются, и 12 марта следующего, 1983 года играют свадьбу. На свадебных фотографиях жених и невеста ослепительно молоды (им по двадцать лет). Гости — те мальчишки-одноклассники, кто в это время не в армии. Меня на этих фотографиях нет: я уже замужем, мне не до бывших одноклассников, к тому же живу я в центре и ни с кем из «преображенцев» не встречаюсь даже случайно. Фотографии очень плохого качества: Дима Хозиков не доложил какой-то реактив. В результате они не черно-белые, а серые, смазанные. С трудом различимы силуэты Кремлевской стены и Могилы Неизвестного Солдата, куда молодые возлагают цветы (зато незаметны ни беременность невесты, ни флюс жениха), а также фигуры одноклассников, среди которых второй «шкаф», теперь уже навсегда отделившийся от своего товарища. Свадьбу играли в кафе «Печора», было по-настоящему весело: «юность любит радость». Через пять месяцев, 11 августа 1983 года, у молодой четы родится мальчик. Его, как и было задумано, назовут Павел. В честь Павки Корчагина (чье «дело», как известно, «подвиг»).

Окончание следует.